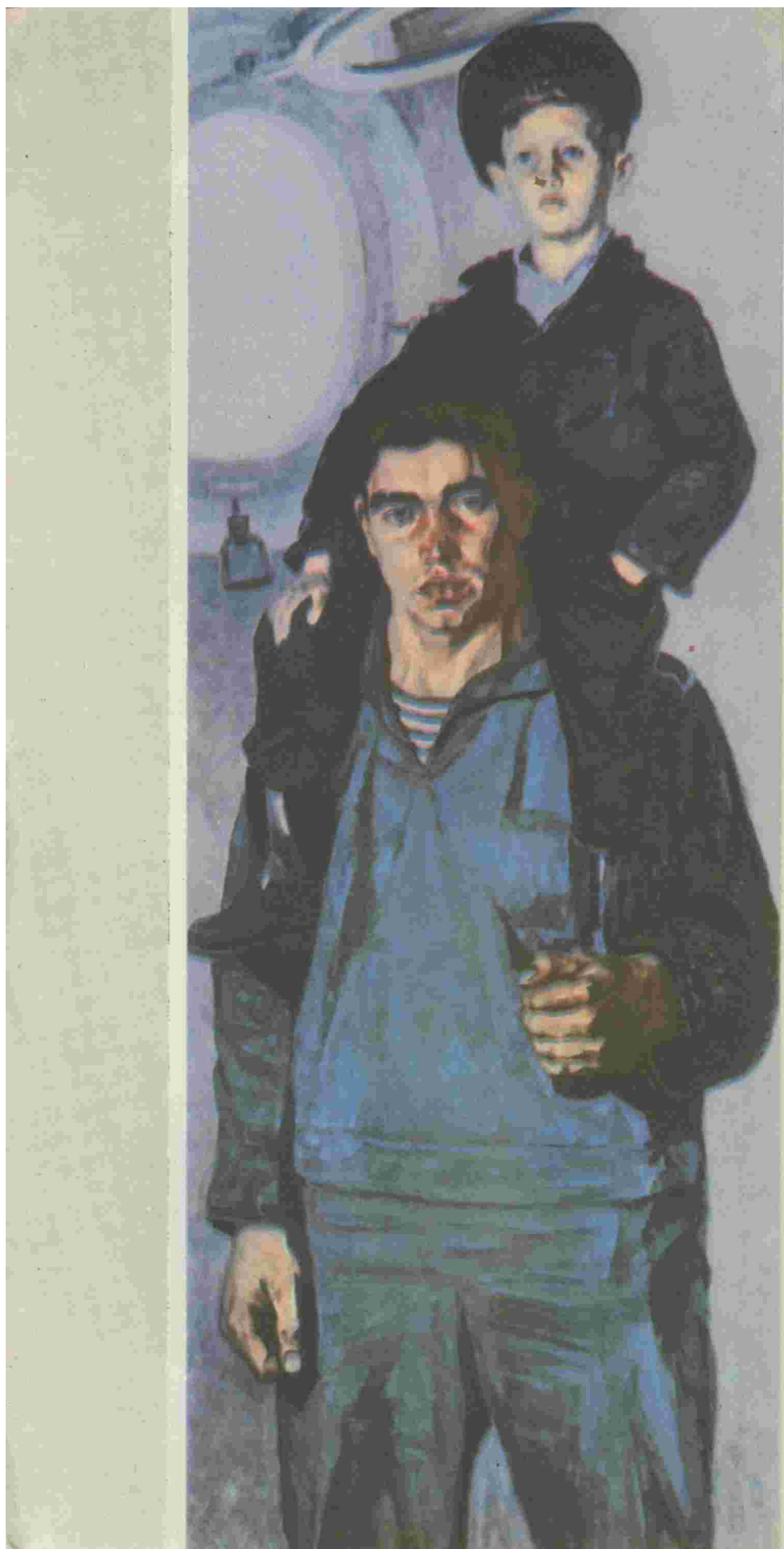




ЮНОСТЬ

2

1966



А. МИХАЙЛОВ

Моряки



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

ФЕВРАЛЬ

1966

2

[129]

ГОД ИЗДАНИЯ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Муса ДЖАЛИЛЬ. Ночь. Тюрьма. Иншар. «Не для того из вечной тьмы...» Стихи	16
Анатолий РЫБАКОВ. Каникулы Кроша. Повесть	17
Михаил ЛЬВОВ. Поэты Победы. «Был па- роход наш белый...» Стихи	55
Игорь ЖДАНОВ. «Мне снятся фиолетовые чащи...» Стихи	55
Александр НИКОЛАЕВ. На Курской дуге. Стихи	56
Сергей ДРОФЕНКО. Святые горы. Зима. Дерева. Бескорыстие. Песенка о На- таше. Стихи о тишине.	56
Владимир БРИТАНИШСКИЙ. Дом. Рерих. «Копилки многолетний свет...». «Взаи- мопонимание людей...». «Не поселятс- я ли олени...». «Мы топор и лопату кла- дем про запас...» Стихи	58
Виссарион СИСНЕВ. Кивиток. Рассказ.	60
Григорий ГЛАЗОВ. «Наш полк ворвался за полночь в деревню...» Госпиталь. «Как странны прихоти воспомина- ний...» Прощание. Стихи	69
Визма БЕЛШЕВИЦА. Беатриче. «Не ходи- те, женщины, на берег прогуливать- ся...». «Я до дна испила осень Салац- гривы...» Гунарь СЕЛГА. На плотках. Ле- тят пчелы в сторону Елгавы. Детство. Руки крестьянина. Ояр ВАЦИЕТИС. Си- ний рассвет. Стихи. (Переводы с латышского Г. Плисецкого и Н. Злотникова)	70

ПУБЛИЦИСТИКА

И. СТРЕЛЬБИЦКИЙ. Двенадцать дней од- ного года. Рассказ о беспримерном подвиге комсомольцев-курсантов в битве под Москвой	3
Александр СТЕЛЬМАХ. Сколько лет до города. Владимир Штерин. «Там, где я работаю». (Думы накануне пар- тийного съезда)	65
Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ. В предок- тябрьские дни 1917 года	72

Владимир АМЛИНСКИЙ. История нор- мального мальчика	82
Владислав ШИРЯЕВ. Летопись «неуны- вак»	86
Александра ГУСЕВА. У могилы учитель- ницы	91

ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

Иван КУПЦОВ. Художник взялся за перо.	77
СРЕДИ КНИГ	
Маленькие рецензии и аннотации	94

ПОЧТА «ЮНОСТИ»

«Любовь и будни» (Отклики на письмо аспирантки Инны Н. из Новосибирска).	96
---	----

НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

Я. БУТОРИНА. Эстонские графики в по- иске	99
--	----

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕН- ЦИИ

* Сергей ВАСИЛЬЕВ. Полет на Гомель. * Владимир ФЛИНТ. Я видел гнездо стерха	100
---	-----

СПОРТ

Н. САМОЙЛОВ. На приз «Юности»	103
Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. Тамара, Андрей и Наташа дают интервью	105
Игорь НЕМУХИН. Радость гонки	106

«ПЫЛЕ СОС»

М. АЗОВ, В. ТИХВИНСКИЙ. Басни с про- писными истинами	109
Каков вопрос — таков ответ! (Из пе- реписки Галки Галкиной)	110
И. ВИНОГРАДСКИЙ, О. МИЛЯВСКИЙ. Жи- вая очередь (юмореска)	110
Л. МАРТАШВИЛИ. Инфаркт	111

На 1-й и 4-й страницах обложки — гравюра В. ТЕРЕЩЕНКО.

Портреты Анатолия Рыбакова (стр. 17) и Виссариона Сиснева (стр. 60) — худ. В. КРАСНОВСКОГО.

Художественный редактор И. Бронников.

Технический редактор Л. Зябкина.

Оформление Г. Решетина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 10525. Подп. к печ. 10/II 1966 г. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 378. Заказ № 3583.

Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бум. л. 3,68. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



● **И. С. Стрельбицкий,**
генерал-лейтенант артиллерии запаса



РАССКАЗ

О БЕСПРИМЕРНОМ ПОДВИГЕ
КОМСОМОЛЬЦЕВ-КУРСАНТОВ
В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ



Когда «юнкеры» отбомбились и ушли на запад, на том месте, где бомбы ложились почти одна в одну, несколько минут еще висело низкое бурое облако. Потом оно поредело, и тогда снова стал виден дот — плоская белая черепаха.

Гитлеровцы не прятались. Они как высыпали четверть часа назад из рожи, чтобы посмотреть на работу «юнкеров», так и стояли теперь вдоль всей опушки: ждали, оживет ли советский дот. Дот молчал.

Между немецкими орудиями (их здесь было полтора десятка, все новенькие — разбитые сразу оттащивали назад, чтобы не омрачать боевой дух новоприбывших) стояли и танкисты и пехота. Все пристально всматривалось в дот. Он был на виду. Пре-

жде его закрывали дома села Ильинского, но они выгорели, открыв и речную пойму, и двадцать три подбитых танка на ней, и дот на противоположной стороне речушки, которую даже как-то неудобно было называть водным рубежом — настолько она была невелика.

Дот молчал. Вчера он еще вел дуэль с батареями, но сегодня огрызался лишь изредка — видеть, на исходе были снаряды. Последние два выстрела оттуда раздались час назад. Одним из них сорвало гусеницу

На снимке: вид из амбразуры Алешинского дота.
Фото П. Носова.

с танка, от другого танк вспыхнул. Двадцать третий — он еще слабо дымился.

Немецкие офицеры, на всякий случай прячась за полуобрушившуюся кирпичную стену школы, рассматривали дот в бинокли. Несколько уцелевших жителей Ильинского слышали, как они пытались уговорить эсэсовца в танкистском шлеме, но тот в ответ только отрицательно мотал головой. Тогда один из офицеров подошел к зенитной батарее. Длинные стволы опустились, наводчики прицеливались тщательно. Зап! Снаряды взметнули землю рядом с дотом, а один огненным шаром полыхнул на железобетоне.

Гитлеровцы радостно загадели.

Снова принялись наводчики к прицелам. Зап! Потом снова зап!... Целились в зияющее темное отверстие — амбразуру. Целились, как в тире. Огненные шары лопались на поверхности дота, и вдруг глухой взрыв, словно из-под земли. И сразу же еще, еще...

Из дота повалил дым.

Опушка ответила восторженным ревом. Эсэсовец побежал в рощу, и почти сразу оттуда выполз танк, следом второй, третий... Они вытягивались в одну колонну. Пехота, разбираясь по подразделениям, шла через пожарище, через луг к реке.

Они шли вперевалку, «завоеватели» Франции и Польши, вчерашние «герои» Африки, мечтающие завтра хозяйничать в Москве, шли, подоткнув полы шинелей за пояс, чтоб не мешали шагу. Сотни вымученных, отменно знающих свое дело людей-автоматов. Шли, ввинная тяжелыми, солдатскими сапогами взрыхленную снарядами землю Подмоскovie. Казалось, нет силы, что смогла бы остановить их...

И вдруг раздался выстрел. Одинокий орудийный выстрел. Он бы остался незамеченным, не оказался исключительно удачным: головной немецкий танк вдруг рвануло столбом пламени. Еще от одного снаряда взметнулась земля на обочине дороги.

Остановилась танковая колонна. Остановились изумленные солдаты. Что это? Разве мертвые стреляют?..

И тогда, как ответ на все вопросы, раздался еще выстрел. Из винтовки. Этот звук немцы хорошо знали — звук выстрела русской трехлинейной винтовки. И один из автоматчиков — он уже спустился к самому берегу — неловко плюхнулся в воду.

Это было несерьезно: против танков — с винтовкой...

Но прошло пять секунд — ровно столько, чтобы перезарядить винтовку и прицелиться, — и после второго выстрела еще один солдат покатылся по земле.

— Вперед! — орали гитлеровские офицеры.

И снова били по доту прямой наводкой зенитки, двинулись вперед танки, потянулись к разбитой амбразуре десятки дымных строчек — трассирующих пуль...

✱

Это — было.

В октябре 1941 года.

В 130 километрах от Москвы,

1

Это не повесть, а воспоминания. О нескольких днях моей жизни. Я считаю своим долгом о них рассказать, и вот почему.

Мне пришлось повоевать. Четыре войны. В последней узнал все: попал в окружения и выходил из

них, отступал, наступал, участвовал в битвах, равных которым не было в истории человечества... Но когда меня спрашивают, что запомнилось больше всего, отвечаю, не колеблясь: те несколько октябрьских дней, когда горстка юношей остановила рвавшиеся к Москве части немецкого 57-го моторизованного корпуса.

Теперь это история. Нынешней осенью ей исполняется двадцать пять лет. Четверть века. Но и спустя четверть века этот подвиг не поблек, не утратил своего величия.

Мощная, обладающая огромной инерцией, гитлеровская военная машина, бронзой кулак из сотен новейших танков, на пути которого все выпихивалось бомбами, снарядами, минами, сзади подпираемый тысячами и тысячами опытных, увешанных автоматическим оружием солдат, — эта машина вдруг забуксовала, остановленная старенькими пушечками, которые можно было по пальцам перечесть, «максимами» и трехлинейными винтовками.

Впрочем, необходимая деталь: винтовки были в руках у московских и подмосковных комсомольцев; они же стояли у пушек. И чудо свершилось. Чудо свершили они.

Я, старый советский солдат, начавший свою военную «карьеру» в гражданскую войну, имею право называть их сынками. Да как же иначе? Большинству было семнадцать-восемнадцать лет, реже двадцать, хотя были такие, что уже успели окончить техникумы и институты, как теперь их называют, молодые специалисты.

Помню, как в страшный, тяжелый день 15 октября ко мне на КП примчался один из них — взъерошенный, глаза горят, трофейным автоматом размахивает от возбуждения.

— Товарищ командир! — орет. — Как там интересно!.. Танки горят! Столько сразу! Бегите смотреть... И тут же умчался.

Помню, все его звали Гогой. Фамилию забыл. Думаю, он понимал, что эта танковая атака, удайся она фашистам, стала бы для всех нас губительной. Но едва атаку отбили, он уже забыл об опасности, он уже смотрел иными глазами: «Как интересно!» Что с них было взять: мальчишки!

И почти все — комсомольцы.

Почти, потому что остальные были коммунистами.

Было для них еще одно общее: все они были курсантами двух училищ подмосковного города Подольска: артиллерийского и пехотного. Будущие командиры Советской Армии не посрамили чести русского воина. Даже на картах Гитлера все эти дни в районе Ильинского боевого участка регулярно отмечалось: «Podolsk. Zwei Offizierschulen»¹.

2

Начальником Подольского артиллерийского училища меня назначили за месяц до описываемых событий. Я только что прибыл с фронта и новые обязанности представлял довольно туманно. Помню, как в первый же день меня поразила — это ощущение так до конца и не изгладилось — какая-то детскость лиц многих курсантов. Было среди них немало таких, кто еще ни разу не брился, не работал, никуда не ездил без папы и мамы. И вот через три, самое большее через четыре месяца они пойдут в бой, да еще во главе артиллерийского взвода... Будут бороться с танками... Найдут ли они в себе достаточно сил и му-

¹ «Подольск. Две офицерские школы» (н. е. м.).

жества? Смогут ли обрести умение? Успеют ли набраться опыта и такта? Ведь им предстоит командовать людьми, старшими, чем они...

Впрочем, мне и самому было только восемнадцать, когда в разгар гражданской войны я учился на Киевских курсах артиллерийских командиров.

Что можно успеть за месяц? Я уже имел боевой опыт, представлял, как должна действовать противотанковая артиллерия в современном бою. А в училище обучали по старинке, больше налегали на теорию.

Помню, придя на стрельбы впервые, я удивился: на полигоне на каждое орудие вел атаку всего один танк. Но ведь на фронте все было иначе. На фронте обычными были массированные атаки, когда на каждое орудие шли 4—5 танков. Я предложил курсантам задачу: отбивать атаку нескольких танков, — ни один из них не смог с нею справиться. Выработав на занятиях привычку стрелять по одной цели, они в лучшем случае справлялись с двумя. Остальные танки «противника» поражали расчет.

Пришлось на ходу перекраивать программы, больше внимания уделять практическим занятиям, стрельбам. Нам помогали: снимали с фронта и присылали в училище лучших противотанкистов, отличившихся в боях с фашистами. Как потом нам пригодился их опыт, еще не запечатленный ни в одном из печатных руководств!

Запомнился приезд в училище командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенанта П. А. Артемьева. Он был усталый, замотанный, но ведомости последних боевых стрельб изучал внимательно. Остался доволен.

— А как у вас с материальной частью? — поинтересовался он затем.

С материальной частью было плохо. В училище остались только учебные орудия. Из них двенадцать еще могли ограниченно стрелять боевыми снарядами, но остальные... Мы вкладывали в них винтовочные стволы и стреляли винтовочными патронами, чтоб хоть как-то имитировать артиллерийскую стрельбу.

— Плохо, — согласился Артемьев, — но я хочу вам посоветовать... Подумайте, может быть, и эти удастся как-то приспособить... Они должны стрелять.

Я изумился, почувствовав в словах генерала какие-то особые, встревоженные нотки.

— Как! Вы хотите их забрать у нас?

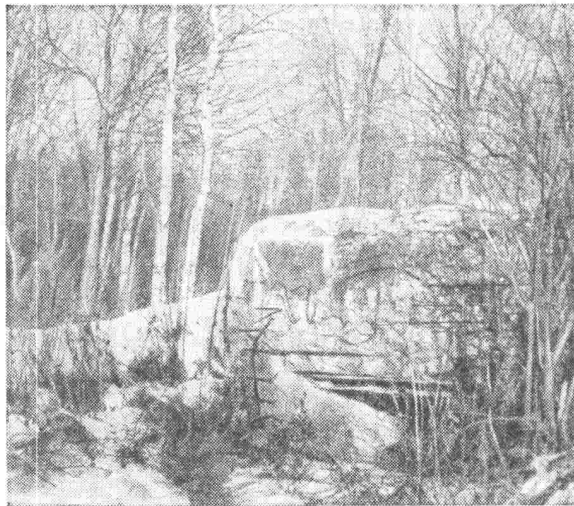
— Нет. Но они должны стрелять, полковник. Спешите.

Мы спешили. Курсанты занимались в три смены. Разболтанные пушки не выдерживали и одна за другой выходили из строя. Но опытные мастера-оружейники бессонными ночами колдовали над этими развалами, которым уже давно было место на свалке металлолома. И наутро оказывалось, что стрелять из них все еще можно.

Каждое утро мы с тревогой вслушивались в сводки Совинформбюро. Тяжелые бои шли на юго-западе. Западный фронт в те дни, в общем, стабилизировался. Мы успокаивали друг друга, но внутренне готовились к новым тяжелым испытаниям. И все-таки беда грянула внезапно. Она пришла с обычным телефонным звонком. Я поднял трубку. На другом конце провода говорил заместитель командующего округом.

— Стрельбицкий? — Генерал торопился, это чувствовалось по голосу. — Немедленно объявляйте боевую тревогу. Формируйте столько батарей, сколько соберете годных орудий. Остальных курсантов берите с собой как пехотинцев с винтовками и пулеметами.

Понять, что произошло, было нетрудно, да и генерал тут же объяснил. Противник прорвал Западный



Так выглядит сегодня один из дотов Ильинского боевого участка.

фронт. В прорыв вошли огромные механизированные соединения. Большая танковая колонна наступала по Варшавскому шоссе на город Юхнов. И под Юхновом и дальше, до самой Москвы, не было войск, которые были бы способны удержать эту лавину.

3

В таких условиях оставалось одно: мобилизовать все, что есть, но во что бы то ни стало задержать противника на пять — семь дней.

«Все, что есть...» А было очень мало. Настолько мало, что пришлось поднять по боевой тревоге оба подольских училища и поручить им самую ответственную задачу: сдерживать врага до тех пор, пока удасться сосредоточить и развернуть остальное «все, что есть».

Это была крайняя мера. Решиться на нее было нелегко: все понимали, что курсанты военных училищ — золотой фонд для развертывания армии. Но другого выхода не было.

Командиром сводного отряда назначили начальника пехотного училища генерал-майора В. А. Смирнова, меня — его помощником и начартом. Мы решили, что, пока основные наши силы будут закрепляться на главном рубеже — в районе села Ильинского, где заблаговременно были построены железобетонные доты, навстречу врагу нужно выслать передовой отряд. Небольшой, но мобильный, он должен был задержать продвижение гитлеровцев, вынудить их брать каждый километр, каждую высотку, каждый ручеек с боем.

— Значит, так, — распорядился генерал Смирнов. — Передовым отрядом будет один батальон моего училища. Для усиления дадим им пару орудий.

— Как, только два? — изумился я. — Что могут сделать две пушки? Да танки их мигом сожгут!..

— Ну, мои ребята тоже не лыком шиты. У них и гранаты и бутылки...

Тут я должен заметить, что уже тогда знал истинную цену бутылкам с зажигательной смесью. Они не всегда достигали цели. Я высказал свои соображения генералу, после чего с передовым батальоном

мы отправили не две пушки, а артдивизион из двух батарей. В него вошли лучшие орудия, какие только были в училище, батареи укомплектовали курсантами-комсомольцами. Я знал, на что их посылаю, и они это знали: в комсомольские расчеты передовых батарей шли только добровольцы, лучшие из лучших — желающих было в несколько раз больше, чем требовалось.

Они знали, что им предстоит: силой своего умения, хитрости, ловкости, может быть, ценой своих жизней затормозить казавшийся неудержимым стремительный натиск стального чудовища. Врагу нельзя было позволить с ходу ударить по нашей, пока еще не существующей обороне. По собственной крови пусть подползет к ней...

«Противник должен быть задержан на пять — семь дней».

Пять — семь дней...

С какого числа им вести отсчет? С шестого октября, когда на рассвете на берегу Угры, в нескольких километрах от Юхнова, курсанты дали первый бой фашистам? Или, может быть, с одиннадцатого, когда удар приняла наша оборона под селом Ильинским?

С какого ни считай — этот боевой приказ выполнен.

5 октября было воскресенье. Ко многим курсантам приехали отцы, матери, братья и сестры. И вдруг — боевая тревога... Она распахнула незримые ворота, и война, до тех пор далекая, хоть к ней их и готовили ежедневно, ежеминутно, ворвалась в их жизнь. Боевая тревога, как водораздел, прошла между ними и теми, кто оставался.

Я помню, как искренне радовались ребята, как говорили друг другу: «Ну, высылаем мы фашистам!» А я уже знал, что такое война. Я отгонял от себя невольную аналогию и все-таки нет-нет да вспоминал, как на заре Советской власти точно в такой же атмосфере на борьбу с бандами атамана Зеленого собирались киевские комсомольцы. Тот же возраст, тот же энтузиазм... Наш отряд киевских курсантов почти всю дорогу шел с ними вместе. Потом отряды разделились. И лишь спустя несколько дней мы узнали о трагической судьбе молодых киевлян. Мало кто из них владел оружием, к тому же бандиты застали их врасплох. Похватали. После пыток и надругательств их выводили на крутой берег Днепра и, связав колючей проволокой, сбрасывали в реку.

Это было в Триполье...

...«Нет, такое не может повториться», — уверял я себя. Хотя вооружены курсанты были и не лучшим образом, своим оружием они владели отлично. К тому же каждый из них был без пяти минут офицером. И командир у них был боевой — капитан Я. С. Росси́ков.

Когда передовой дивизион уже был готов к отправке — снаряды нагружены, пушки прицеплены и боевые расчеты на местах, — Росси́ков подошел ко мне с рапортом.

— Берегите ребят, — сказал я ему тихо и совсем не по-уставному. — Помните, вы должны не только сдерживать гитлеровцев, но и сберечь ребят. Нам с вами еще предстоит сделать из них офицеров.

Я знаю, это во мне говорила простая человеческая слабость. Может быть, потому, что все не мог прогнать из памяти Триполье; к тому же отцы и матери этих ребят все еще не ушли, все еще стояли вокруг бортов автомашин, и каждый с надеждой смотрел

на своего... Но позади была Москва, а впереди — немецкие танковые дивизии. И эти мальчишки...

Об этом не хотелось думать. Я взглянул в глаза командира дивизиона и увидел, что он думает о том же. Но когда он отдал честь и тоже тихо ответил: «Вас понял, товарищ полковник», — я уже знал, что на него можно положиться.

5

Подольск — Малоярославец — Медынь — Мятлево... На рассвете 6 октября на западной окраине деревни Стрекалово курсанты наткнулись на каких-то наших бойцов. Собственно, воинским подразделением это назвать было трудно, поскольку «солдатам» было по шестнадцать-семнадцать лет. Вооруженные главным образом трофейными автоматами и пулеметами, они вели перестрелку с немцами. Командовал ими начальник парашютно-десантной службы Западного фронта капитан И. Г. Старчак.

Потом уже мы узнали их историю. Ребята были из разведывательной школы. Комсомольские активисты из оккупированных фашистами наших западных областей, они готовились к разведывательной работе в глубоком немецком тылу. У Старчака они проходили парашютное дело. И вдруг известие о глубоком прорыве немцев... Старчак знал, что дорога на Москву открыта. Он принял на себя командование и оседлал с ребятами Варшавское шоссе...

Они продержались сутки. Целые сутки! Как много это значило в те дни! Сотни комсомольцев погибли на тех немногих километрах, которые отделяли Юхнов от реки Угры. Каждый трофейный автомат, каждый пулемет добывался кровью. Но сутки были выиграны. Сутки, которым не было цены...

Старчак обрадовался подмоге.

— Ну, ребята, теперь-то мы покажем фашистам! Глядите, — объяснял он Росси́кову, — впереди деревушка Красный столб. Там немцы. Выбьем их оттуда, займем оборону по берегу Угры. Пусть под нашим огнем попробуют строить переправу! Мост-то мы подорвали.

Так и сделали. Батарею семидесятишестимиллиметровых пушек капитана В. И. Базыленко поставили на закрытую позицию у Стрекалова; сорокапятки лейтенанта Т. Г. Носова должны были повзводно прямой наводкой поддерживать атаку пехотных курсантов. Наконец сигнал. В атаку!

Мне довелось видеть немало атак. Не раз и самому пришлось пережить тот момент, когда из окопа, который в эту минуту кажется самым безопасным на земле местом, поднимаешься в рост навстречу неизвестному. Я видел, как идут в атаку и новобранцы и опытные воины. Так или иначе, но каждый думает об одном: победить и выжить! Но те курсанты...

Я не видел именно той атаки, но через несколько дней я с этими ребятами дрался плечом к плечу и ходил в атаку вместе с ними. Ни до этого, ни после я ничего подобного не видел. Хорониться от пуль? Оглядываться на товарищей? Но ведь у каждого на устах одно: «ЗА МОСКВУ!!!»

Они шли в атаку так, словно всю предыдущую жизнь ждали именно этого момента. Это был их праздник, их торжество. Они мчались стремительные — не остановишь ничем! — без страха, без оглядки. Пусть их было немного, но это была буря, ураган, способный смести со своего пути все.

Но все же иногда это бесстрашие оборачивалось иной стороной. Случалось, оно приводило к чрезмер-

ным потерям. К жертвам, которых можно было избежать. Сказывалась неопытность командиров и курсантов, сказывались и наши ошибки в системе воспитания. Мы твердили ребятам со школьной скамьи в мирное время, что героизм и храбрость несовместимы со стремлением сохранить свою жизнь. И вот некоторые гибли только потому, что, повинуясь ложному стыду, вовремя не укрывались от осколков в окопчиках или в рельефе местности.

И все-таки лихая смелость и бесстрашие — это не заменишь ничем.

Я думаю, до тех пор гитлеровцы ничего подобного еще не видели. Атака на деревушку Красный Столб их ошеломила. Побросав оружие, ранцы, они стремглав бежали по всему участку, бросались в Угру и, выбравшись на свой берег, мчались дальше, к Юхнову.

На берегу курсанты остановились — впереди бушевали разрывы: противник уже опомнился и спасал свою пехоту огнем заслоном. Три гаубичных дивизиона и пять минометных батарей. Курсанты попытались пробиться раз-другой. Не вышло. Тогда стали окапываться — и как раз вовремя. В небе появились фашистские штурмовики и бомбардировщики, огневой вал перекатился на наш берег. К счастью, противник, по-видимому, полагал, что имеет дело с крупными силами, сосредоточившимися в лесу. Главный удар был нанесен по окрестным рощам, где никого не было.

Потом гитлеровцы пошли в атаку. Больше полка пехоты и десять танков. Пришло время сказать свое слово курсантам-артиллеристам. Батарея Базыленко выкашивала вражеские цепи прапелелью, батарея Носова ударила в упор по танкам. Гитлеровцы залегли, и тут курсанты бросились в контратаку. Один против пяти! Но, честное слово, напора этих ребят не смог бы выдержать никто.

Танки бездействовали, артиллерия тоже: и те и другие боялись поразить своих. Наконец гитлеровцы побежали.

Каких огромных усилий стоило нашим командирам удержать курсантов от преследования врага, которое было бы для них гибелью!

В этом бою противник потерял свыше трехсот солдат и офицеров убитыми, несколько десятков сдались в плен, три танка и броневик догорали в поле.

Правда, и у нас погибло немало, еще больше было раненых. Всего из строя выбыло около ста комсомольцев.

Среди пленных оказался один пожилой обер-лейтенант. Пока Россиков его допрашивал, он все вытягивал шею, пытаясь разглядеть, где же стоят крупные силы русских. Видимо, реденькая цепь курсантов — щуплых мальчишек в не по росту больших шинелях — не внушала ему доверия. Раз противник идет в атаку на крупные силы, значит, он по меньшей мере так же силен, — в этом рассуждении была своя логика.

Так же рассуждало, видимо, и немецкое командование: снова и снова бомбили пустынные рощи возле Стрекалова... Их буквально выкашивало квадрат за квадратом...

Потом опять появились танки — на этот раз их было больше, они шли не только в лоб, но и охватыва-



Н. М. Иванов.

ли фланги, — следом пехота. Принять бой — значит неминуемо полечь здесь всем, значит еще до конца дня если не эти, то другие танки уже будут в Ильинском. А там — сами видели! — никакой обороны. Неужели придется отступать?..

Тяжело отступать даже опытному воину. А каково, если воинам всего по семнадцать-восемнадцать лет? Да еще если всего час назад они видели, как враг бежит от них без оглядки... Ведь они помнят: каждый их шаг назад — это шаг к Москве...

Из тыла к Стрекалову подошла полуторка со снарядами, из кабины выскочил начальник политотдела училища, батальонный комиссар Георгий Михайлович Суходолов и прямо к Старчаку с Россиковым:

— Что пригорюнились, командиры?

— Кажется, пора отходить, — опустил бинокль Старчак. — А как это ребятам скажешь? Ведь здесь столько их товарищей полегло!.. Они поклялись друг другу, что не отступят...

Конечно, можно просто дать приказ об отходе — и приказ будет выполнен. На то и армия. Но тут случай особый.

— Как думаете отходить? — спросил батальонный комиссар.

— Мы решили так: артиллерия движется перекастами, поорудийно, сдерживая фашистов огнем. А пехота тем временем отступит к реке Извери — очень удобный рубеж для обороны — и там окопается, — показал по карте Россиков.

— План хорош, — одобрил Суходолов. — Так и сделаем. Только соберите мне на пять минут всех комиссаров и политруков. Надо объяснить ребятам, что не велика честь полечь всем в одном бою. Важнее сдерживать немцев еще несколько суток, а это смогут только живые.

6

Как мы мечтали той осенью о дождях, о низких тучах! Но было ясно и безветренно, леса стояли багровые от неопавшей листвы, и над самыми кронами деревьев ревели моторы фашистских штурмовиков и истребителей. Они преследовали курсантов день за днем, охотились подчас даже за одиночными бойцами. Не успевала одна группа отбомбиться и отстреляться, а уж на смену летела новая. И так с утра и до вечера. К сожалению, наша авиация в те дни не смогла прикрыть нас от воздушного врага.

И на земле бой не утихал. Пушки почти непрерывно меняли позиции. Пока один расчет стрелял, другие перекачивали орудия на новое место. Когда машинами, когда и руками. Не перекачишь вовремя — немецкие минометы тут же накроют.

Опасней всего приходилось, когда надо было подерживать контратаки курсантов огнем прямой наводкой. Однажды чуть не остались сразу без двух пушек: только выехали автомашины на удобный бугорок, как противник накрыл их минометным залпом. Люди живы, но машины горят. И на одной из них — снаряды горой... Тут уж не до героизма, всех.

7

курсантов с буторка будто дуло ветром. Один лишь человек там остался — секретарь партбюро дивизиона, политрук Николай Михайлович Иванов. Остался потому, что знал: если сейчас пехота не получит поддержки артиллеристов, совсем плохо ей придется.

— Ребята, спасай снаряды!..

Услышали. Увидали: лезет политрук на пылающую машину. Сам он неамного их старше — недавно в партии. Неужели не боится?.. А что сумел один — сумеют и другие.

В несколько секунд разгрузили машину, другие в это время отцепили орудия, покатали их следом за пехотой. Огонь!..

Не всегда везло. В первый же день, еще возле Угры, взводу сорокапятки лейтенанта П. А. Карасева пришлось задержаться на одной позиции дольше, чем было возможно, — выручали отбивавшуюся из последних сил пехотную курсантскую роту. Противник накрыл минометами. Упал, чтобы больше не встать, наводчик комсомолец Толя Логинов — это он накануне знакомил товарищей со своей женой; они ждали ребенка... Осколки не миновали и остальных комсомольцев: заряжающего Стеганцева, замкового Суслова, другого наводчика — Васю Сапожникова, подносчика снарядов Володю Пилаца, воронежца Ваню Баранова (у них во взводе было двое Барановых — «большой» и «маленький»), который успевал быть и подносчиком снарядов, и замковым, и заряжающим. И он тоже не вернулся из-под Угры...

Ранены были все номера во взводе, но Вася Сапожников продолжал наводить, а к прицелу другого орудия наводчиком встал Володя Пилац, и взвод продолжал сражаться!

Гитлеровцы с каждым днем все наращивали давление. Отряд отступал. Но какое это было отступление: горстка курсантов и десантников с восемью пушками — перед частями механизированного корпуса!

Дорогой ценой платили курсанты за выигранные дни, и каждый час был богат героикой.

Под Кувшиновкой поднял комсомольцев в атаку старший полстрок Постнов. Там, под артиллерийским и пулеметным огнем, его и похоронили.

Под Мятлевым уже раненный накапуне Вася Сапожников прикрывал с товарищами по оружию отход курсантов. Даже когда комсомольца ранило снова — пулей в ногу, а затем осколком в спину, — он продолжал наводить 45-миллиметровку. Но потом угодило в живот. Он умер на руках товарищей и был похоронен там же, возле Мятлева, на опушке...

А как сложилась судьба москвича комсомольца Валентина Баранова? В свои семнадцать лет он был помощником командира огневого взвода. В Медыни противотанковыми гранатами пробивал дорогу через засаду фашистских автоматчиков. Потом, оказавшись отрезанным от своих, ушел к партизанам...

Успел ли выехать с машиной раненых курсант из той же батареи Богалин? Его ранило из крупнокалиберного пулемета в плечо...

А что стало с Витей Бессоновым, Лешей Скнарным, Мишей Коганом?

Много свежих могил оставили в те дни курсанты на Варшавском шоссе. Многие с тяжелыми ранами прямо из боя попадали в автомашины, затем в санитарные поезда — их увозили прочь от Москвы, от фронта... Жив ли кто-нибудь из вас сейчас? Помните ли вы тех, кто сражался рядом с вами под Медынью и Юхновом, на берегах Извери, Шапи и Медынки?

Отзовитесь!

Только на пятые сутки отошли курсанты на главный рубеж — Ильинский боевой участок.

Еще за два дня до этого, в перерывах между бомбежками, мы слышали доносившиеся с запада звуки орудийных выстрелов и разрывов снарядов. И вот ребята проходят по мосту через речку Выпрейку. Из-под пилоток, из-под шинелей — бинты, бинты, бинты... Воспаленные глаза, почерневшие лица. Каждому из них сейчас можно дать по крайней мере тридцать лет. Валяются с ног от усталости, но держатся. Какая-то уверенность и лихость в них появилась. Гренадеры!

Комсомольцы...

Вот один остановился возле обочины, оглядывает наши позиции. А на них действительно смотрит страшно: бомбами буквально выпахано все вокруг, воронки — одна в одну. Да разве тут что-нибудь могло уцелеть?

— Ну и досталось же вам!..

Это нам-то досталось! А то, что сами выбрались из ада, так это уже им стало в привычку. Их уже почти ничем не удивишь!

С рапортами подходят капитан Россиков и комиссар дивизиона политрук Иванов. Привели, оказывается, все восемь пушек. Небольшой ремонт — и все снова пойдут в дело. Вот это чудо из чудес. Как они хитрились?.. Но ребят погибло много.

Николай Михайлович Иванов отрапортовал и сел в стороне, закрыв лицо руками. Начполитотдела Суходолов стал успокаивать его — сам еле говорит, с горлом что-то. Мол, политрук, не отчаивайся, главное, что не зря погибли, дело-то сделано...

— Все понимаю, — говорит, — но как вспомню их... Из двухсот, что первыми выехали, сейчас только тридцать осталось. Да и то, по чести, всем место в госпиталях. Остальные — из подкреплений. Какие ребята! Знаете, к чему все эти дни сводилась политраббота? Чтоб от стихийных контратак их удерживать! Чтоб в лоб на танки не шли! Чтоб хоть немного думали о себе!.. Какие ребята!

Дело свое они сделали. Удивительное даже для опытных военных дело. Ведь когда основной отряд пришел к Ильинскому (это был великолепный маршбросок: шестьдесят километров в сутки с полной боевой выкладкой), здесьшний боеучасток почти не был приспособлен к обороне. Правда, женщины и подростки копали противотанковый ров, но немецкая авиация так и не дала им закончить его. Еще раньше тут было построено две линии железобетонных дотов, но доты тоже не были завершены. Толщина железобетона, рассчитанная на прямое попадание авиабомбы в четверть тонны весом, могла удовлетворить кого угодно. Но у дотов не было броневых щитов к дверям и, самое главное, к амбразурам. Когда мы глянули на эти доты впервые, то даже ахнули: амбразур были столь велики, что разорвись снаряд снаружи, и то осколки полетят внутрь. Кстати, во время боев наши опасения подтвердились. Штурмуют доты, противник воспользовался именно этим их недостатком.

Само собою разумеется, ни пушек, ни пулеметов в дотах не было. О маскировке их тоже пока никто не думал. И об окопах — тоже. Все еще предстояло сделать.

И чтобы мы это успели, чтобы участок стал действительно боевым, чтобы мы могли остановить здесь фашистов, — ради этого не щадили своих жизней на бесконечно длинных километрах между Юхновом и Ильинским московские комсомольцы.

С чем мы прибыли в Ильинское? Лучшие пушки были отданы передовому отряду капитана Росикова. Нам остались совсем изношенные. По этому поводу на первом же привале состоялся любопытный разговор. Ко мне подошли начальник политотдела Георгий Михайлович Суходолов и два комиссара батарей.

— Товарищ полковник, — обратился Суходолов, — в батареях только и разговора, что мы идем на фронт с орудиями, из которых и стрелять-то нельзя.

— Так уж и вовсе нельзя? Скажите, — обратился я к одному из комиссаров, — сколько снарядов выдержат ваши пушки?

— Командиры взводов считают, что пять-шесть выстрелов удастся сделать из каждого.

— Так что же, лучше оставить их в Подольске, а самим идти против танков с винтовками?

— Не-ет! — улыбнулся начполитотдела. — Наши пушки еще послужат!..

Надо сказать, я велел захватить с собой все имеющиеся запчасти, да и орудийные мастера у нас были прекрасные. Такие, что даже на ходу смогли бы устранить любые неисправности и повреждения. И эти мастера нас очень выручали.

С этого мы начинали. Но даже таких пушек было мало. Выручил все тот же Артемьев — командующий Московским военным округом. В отличие от некоторых начальников, после стольких-то печальных уроков все еще рассуждавших по старинке и ставивших стрелковым дивизиям без артиллерии задачи задерживать танковые соединения, Артемьев понимал, что решающее слово против танков скажут не гранаты и бутылки с горючей смесью, а пушки, в особенности стреляющие прямой наводкой. Правда, ничего нового нам предложить не могли — все было уже на фронте. Но поискали по арсеналам — и вот уже появился дивизион трехдюймовых пушек образца 1900 года. Затем дюжина французских орудий, неизвестно как оказавшихся в арсеналах. Эти были еще древнее, но мы и им были рады: все-таки и на второстепенных направлениях теперь у нас стояла какая-то артиллерия.

Наконец прибыл 222-й зенитный артполк. Это были уже современные пушки, их мы также решили использовать для борьбы с танками.

Всего к 10 октября наша противотанковая оборона насчитывала свыше пятидесяти пушек. Как их расположить?

Один из начальников предложил: равномерно по всему фронту, на всех танкоопасных местах. Если б мы пошли на это, на километр обороны приходилось бы всего четыре-пять орудий. Смогут ли они остановить массированную танковую атаку? Опыт первых месяцев войны говорил, что немцы прежде всего пытаются мощными танковыми клиньями прорваться вдоль шоссе. Я предложил новую по тем временам — и обычную теперь — группировку противотанковых средств: свыше сорока орудий с наиболее надежными по выучке расчетами расположить в опорных пунктах трехкилометровой полосы вдоль шоссе и на всю глубину нашей обороны. Это даже



Г. М. Суходолов.

при нашей бедности составило бы большую плотность на один километр.

Решение как будто само собою разумеющееся, однако мне пришлось затратить немало усилий, чтобы «пробить» его. Но именно оно помогло курсантам выполнить приказ Ставки.

С утра и до вечера, как только улетали, отбомбившись, фашистские самолеты (видимо, противник давно понял, что здесь ему готовится «встреча», и не жалел бомб), курсанты копали блиндажи, окопы, ходы сообщения, запасные позиции для орудий. Многие работы велись в непосредственной близости от шоссе. А по нему круглые сутки шли (разбегаясь во время налетов по придорожным рощам) беженцы и отходили остатки частей, потрепанных или вовсе разбитых в предыдущих боях. Шли роты, батальоны, а чаще — отряды из разных дивизий. Почти

все — с оружием. Шли усталые, измотанные, измученные.

Вряд ли они знали, что своим спасением от плена, а возможно, и гибели они потом будут обязаны комсомольцам-курсантам, самоотверженное мужество и умение которых сдерживало и укрощало натиск 57-го немецкого механизированного корпуса. Их ничто уж не интересовало. Нужно было время, чтобы прошло такое состояние.

А пока...

Я боялся, что отход этих частей усложнит и без того сложную моральную ситуацию. Мы оставались одни. Оставались, чтобы отсюда уже не сойти... Кажется бесспорным, что это должно было вызвать мрачность и ожесточение у ребят, снизить их боевой дух. Но вышло наоборот. Уж такие были эти комсомольцы! «Ага, — говорили они, — фашист, наверно, думает: всех побью. Так пусть попробует побить нас. Посмотрим, кто кому обломает зубы!..»

Ожидание боя, конечно, сказывалось. Ребята были чрезвычайно веселы, глаза блестели лихорадочно, а уж что до шуток — никогда столько не слыхал их!..

Некоторые наши офицеры все порывались остановить какую-нибудь роту, посадить в окопы. Ведь у нас и с пехотой было негусто! Я не рекомендовал этого делать, хорошо зная, что такое деморализованная часть.

10 октября боевое охранение сражалось с немцами уже почти на линии главной обороны. Разведка докладывала, что фашисты подтягивают и сосредоточивают на подходах крупные силы. Наутро ожидался штурм.

Уже вечерело, и белесое солнце спустилось до верхних кромок далеких березовых рощ, когда к нам приехал секретарь ЦК, МК и МГК ВКП(б), член Военного совета Московского округа А. С. Щербаков. Пока в землянке запасного полка собиравались командиры и комиссары, я рассмотрел его. Он выглядел осунувшимся и постаревшим.

— Я приехал предупредить вас, — растягивая слова, медленно говорил Щербаков, — дальше этого рубежа немца пускать нельзя. Некуда! Так партия требует... Если вас окружают — и тогда оставайтесь на своих позициях. Вы должны удерживать их любой ценой! Пока остается хоть один человек... Окружат — сражайтесь в окружении. За вами — Москва. — Он об-

вел всех нас взглядом и устало продолжал: — Кой у кого уже в привычку вошло кричать: «До последнего человека!..», «Умрем, но не пропустим!..» А чуть враг прижмет — оставляют ему шоссейные дороги и уходят в леса, потом пробиваются из окружения... Теперь, друзья, этого не должно быть! — повысил он голос. — Пока есть хоть один патрон, хоть один снаряд — бейтесь. Так и передайте всем курсантам: не выходить из окружения... Родина просит их. Партия просит их...

Этот день закончился для нас печальной вестью: погиб капитан Россиков. Случилось это так.

После присоединения к основным силам его дивизион был расформирован, причем одну из батарей — капитана Базыленко — поставили для обороны шоссе, а другую — 45-миллиметровых пушек — отправили на север, в подкрепление соседнего 1064-го стрелкового полка. Командовал ею капитан Россиков, комиссаром у него был политрук Иванов.

Командир полка, предполагая, что противник будет наступать через деревню Зеленино, направил батарею туда. Курсанты были уверены: там стоит своя пехота. А попали в засаду.

Фашисты открыли огонь не сразу. Они терпеливо дождались, пока последняя автомашина с пушкой на прицепе въедет в деревню. Потом разок ударили — сразу со всех сторон — и предъявили ультиматум: сдавайтесь.

Положение было безнадежно. Прямо в лоб колонне наведена пушка. Отовсюду нацелены пулеметы и автоматы.

Неужели конец? Такой бесславный — у такой славы батарей... у ребят, которые, подбив на шоссе очередной немецкий танк, шептали: «Что, гад, получил Москву?..», — у комсомольцев, которые поклялись, что скорее умрут, чем отступят...

— ЗА МОСКВУ!..

Фашисты — вот они, рядом. Перемахнуть через борт, сорвать с плеча винтовку и дослать в ствол патрон — дело секунд, мгновений. А ненавистные серо-зеленые шинели — вот они, рядом. В них можно попасть не целясь. Это здорово, что можно стрелять не целясь. Пусть сам чувствуешь горячий удар вражеской пули или осколка, но и тот, в серо-зеленой, тоже рухнул...

То ли спасла мальчишеская молниеносная реакция, то ли фашисты не ждали сопротивления, не верили в него, то ли сбывшись суворовские слова «Смелого пуля боится». Выстрелы ударили с обеих сторон почти одновременно. Первыми же были убиты капитан Россиков и его помощник старший лейтенант Костогрыз. Но об этом ребята узнают позже, а пока идет гранатный бой, и фашисты его не выдерживают. Уже политрук Иванов организует круговую оборону, прикрывает лейтенанта Карасева с несколькими комсомольцами: они уже отцепили уцелевшие две пушки и поворачивают их. Держись, фашист!

И карабин в умелых руках хорош. Вон курсант Зернов — автоматчиков, как орехи, щелкает! Розовые щеки побледнели, прицеливается спокойно — и не поверишь, что ему только семнадцать, — глядите, десятиго кладет!..

Плохо, мины сыплются. Одна в одну. Грохот, визг железа, осколки секут воздух. Наводчик Портной еще не успел занять своего места — по шинели кровь ручьем. И тут же вторая рана. Но от орудия его не оттянешь, уже наводит. Огонь! И почти одновременно бьет второе, где наводчиком Ермолов. Гитлеровцы, орудийные номера, — кто уцелел, бросились от

своей пушки врассыпную. И вовремя. От прямого попадания ее будто смело. Точен глаз курсанта!

А вот уж и третья пушка оживает. Это ингуш Сушко, молодой литератор, точными выстрелами выковыривает пулеметчиков. А ведь весь уже изранен!.. Потом, встретившись с Суходоловым, он поделится: «Столько впечатлений! Такие люди! Вернусь домой — напишу книгу в сорок печатных листов».

...Батарея пробилась к своим. Погибших и раненых товарищей курсанты положили в кузова автомашин и всех вывезли. Пушки ятаились к реке, огрызаясь меткими выстрелами. Эта батарея и потом не подвела: на ее участке немецкие танки так и не смогли прорваться. Кстати сказать, Иванов прихватил с собой двух пленных офицеров.

Первые три дня боев... Их приятно вспоминать. Дни поражений гитлеровцев на этом участке. Пленные офицеры рассказывали, что начальство все время требовало: «Вперед! Вперед! Немедленно взять Малоярославец!» — и вот одна за другой их части — танковые, мотопехота, артиллерия — в лоб накатывались на нашу оборону, но оставались на подходах. Мертвые танки, мертвые пушки, мертвые солдаты...

Особенно нелепо в эти дни действовала фашистская артиллерия. Нам как раз подбросили подмогу — 64-й тяжелогогаубичный полк и дивизион 517-го артполка.

Обычно события развивались следующим образом (видеть все это можно было в бинокль). Начиналось с того, что из леса выезжала немецкая, например, гаубичная батарея. Красиво разворачивалась в боевой порядок, будто на учебном плацу; но еще не успевали вражеские артиллеристы снять орудия с передков, как рядом уже возникали разрывы наших 152-миллиметровых снарядов. Через пять минут, когда огневой налет кончался, на том месте можно было видеть только трупы и разбитые орудия.

И так раз за разом.

Неоценимую помощь получали мы в эти три дня и от дивизиона реактивных минометов — «катюш», появившихся на этом участке фронта впервые. Особенно запомнился первый залп.

Разведка сообщила, что в редкой березовой роще, верхушки деревьев которой просматривались с нашего наблюдательного пункта, скопилось много пехоты, автомашин, бронетранспортеров и танков противника. Видимо, он собирал кулак для решающего удара. Командир дивизиона прикинул расстояние. Далековато... Но если выехать на наш передний край — получится в самый раз. Решили рискнуть.

Это был смелый маневр. Установки развернулись и выстроились на голом поле. Гитлеровцы отлично их видели, но педантично продолжали обстреливать заданные цели. Залп! И вот с чудовищным грохотом над вершинами берез выросло коричневое облако. Показались разбегающиеся во все стороны солдаты. А в лесу все что-то рвалось и рвалось.

Немецкая артиллерия постепенно затихла. Создавалась странная тишина. Больше в этот день фашисты не пытались идти в атаку. А пленные даже спустя несколько дней рассказывали, какое ошеломляющее впечатление произвел на них этот первый залп.

«Малочисленные части Малоярославецкого боевого участка оказали стойкое сопротивление 57-му моторизованному корпусу. Тогда немецкие танковые части обошли Малоярославецкий боевой участок с севера и нанесли удар на Боровск»¹.

¹ История Великой Отечественной войны, т. 2, стр. 245.

Немецкое командование, все эти дни проявлявшее непонятное упорство в стремлении разбить нас фронтальным ударом, предприняло наконец фланговый обход. В этот же день, 14 октября, поступили сведения и с юга. Там, возле деревни Митрофаново, колонна танков с десантом автоматчиков переправилась через Выпрейку и устремилась на север, намереваясь выйти на Варшавское шоссе у нас за спиной и тем самым отрезать от Малоярославца.

Узнав об этом, я приказал командиру реактивного дивизиона немедленно отступить в тыл в сопровождении взвода курсантов. Мы не имели права рисковать «катюшами». Отходили и некоторые другие части.

Курсанты остались. Когда потом кольцо замкнулось, я понял, что мы остались одни. Одни в окружении. Приказа на выход из окружения не было.



Комсомольские вожакИ—лейтенант И. Ходнев, младший политрук В. Коротчаев, лейтенант И. Холод.

11

Продержаться — эта мысль теперь стала единственной.

Продержаться...

Мы оседали шоссе, и каждый день, пока мы шоссе удерживаем, мы можем считать себя победителями. Победителями, какой бы ценой это ни было достигнуто.

А платили мы сполна. Над оборонительным участком целый день стоял гул: бомбардировщики засыпали бомбами каждый подозрительный клочок земли, на каждый выстрел нашего оружия летела сотня ответных снарядов. Немецкая артиллерия крушила наши окопы, блиндажи и огневые артиллерийские позиции. Наших уцелевших батарей оставалось все меньше.

Но когда после двух-трехчасового перерыва фашисты снова шли в атаку, их встречали неизменно меткие выстрелы курсантских пушек и пулеметов: комсомольцы демонстрировали отличную выучку. И снова горели танки, и снова бугры за Выпрейкой устилались телами убитых и раненых гитлеровцев. Очередная атака захлебывалась.

Да, немецкие танки вышли в наш тыл и захватили шоссе едва не до самого Малоярославца. Что из того? Пока мы сидели в Ильинском, пока удерживали под огнем только этот небольшой отрезок шоссе, все остальные успехи гитлеровцев оказывались мнимыми: ведь окольными путями по бездорожью могли пройти только танки, вся остальная техника стояла, и сделать с этим что-либо фашисты были не в силах.

Но и нам час от часу становилось труднее. Одна за другой замолкали пушки. Потом выяснилось, что вышедшие в тыл немецкие автоматчики захватили наш полевой склад с боеприпасами и продовольствием, а у нас к этому времени уже не было даже самого маленького резерва, чтобы хотя бы попытаться отбить боеприпасы. Потом пришла весть о гибели полубатареи, которой командовал политрук Левин...

Эта полубатарея вместе с ротой курсантов из пехотного училища прикрывала наш оборонительный

участок на Калужском направлении. Пока там стоял стрелковый полк, курсанты еще могли держаться. Но потом пехота отошла. Комсомольцы заняли круговую оборону и еще целый день сражались, отвлекая значительные силы гитлеровцев. Когда же те подтянули танки и бронетранспортеры и стало ясно, что бой скоро превратится в бессмысленное избиение — шоссе проходило в нескольких километрах севернее, — решили пробиваться к товарищам.

Курсанты-пехотинцы пошли на прорыв. Артиллеристы их прикрывали, но самим выбираться было уже поздно: машины горели, почти все ребята были ранены...

Гитлеровцы окружили батарею и предложили курсантам сдаваться. Комсомольцы ответили точными выстрелами пушек. Запылали бронетранспортеры. А пушкари во главе с Левиным, воспользовавшись смятием гитлеровцев, перекатали пушки на новую позицию — на окраину деревни — и здесь заняли круговую оборону.

И еще несколько часов шел бой. Только возле ближайших домов валялось свыше полусотни фашистских трупов. Наконец пушки замолчали. Гитлеровцы рассудили, что либо кончились снаряды, либо уже некому стрелять, и вызвали броневики. Две бронемашин, непрерывно стреляя из пулеметов, медленно двинулись к позиции курсантов. Ближе, ближе... Вот в этом доме были курсанты... И вдруг из сарая в упор грянул выстрел. Броневику запылал. Второй отпрянул назад, ему вслед не стреляли — что-то случилось с затвором пушки, он не открывался.

А тут новая беда: пламя от горевшей бронемашин перенеслось на дом, запылали соседние дома и сарай. Не сгорать же живьем! Левин собрал уцелевших комсомольцев. Стремительным ударом пробился подальше от пожара, к стоявшему отдельно дому. Забаррикадировались там. У всех немецкие автоматы — было чем драться. Но драться не пришлось. Немцы подтянули гаубичную батарею и прямой наводкой разнесли дом в щепы. Ночью единственный уцелевший курсант очнулся от холода, дополз до своих и рассказал о последних часах жизни товарищей.

11

Неужели никто больше не уцелел из этих героев? Неужели нет никого в той деревне, кто бы помнил об этом бое?

Кто знает о судьбе отважной девушки-комсомолки, санинструктора батареи, которая вместе с курсантами отражала натиск фашистов?

Отзовитесь!

12

В тот же день, 14 октября, противник стал применять против наших дотов новую тактику. О ней рассказал мне помощник начальника политотдела училища по комсомольской работе младший политрук В. Коротчаев. Он прибежал ко мне на КП, почти не прычась от миа, и чуть не плакал от отчаяния.

— Товарищ полковник, немцы расстреляли два дота!..

— Как?

— Прямой наводкой бьют. Из зениток. По амбразурам!..

Я этого опасался. И поэтому все время, пока наши тяжелые батареи могли бороться с немецкой артиллерией, выезжающей на прямую наводку, нацеливал их главным образом на это. Но теперь тяжелых пушек почти не осталось. Эффективно противодействовать гитлеровцам нечем. Те это поняли и немедленно использовали.

— Что с гарнизонами дотов?

— Погибли...

Картина была ясна. Видимо, противник сперва разметал снарядами маскировку, оголил железобетон. Потом стал бить по амбразурам. Ведь достаточно внутрь дота попасть самому маленькому снаряду — осколки изрешечат все, а взрывная волна умертвит тех, кто уцелел от осколков.

Я представил те минуты, когда немецкие снаряды стали врываться на лобовой части дота. Мои ребята сами были артиллеристами и поняли, что пришел их смертный час. Но ведь они поклялись: «Умрем, но не отступим!» И вот их нет...

Если бы наши доты имели бронированные щиты и двери, их решение стоять до конца было бы оправданным. А что делать в теперешних условиях? Есть ли выход?

И я тут же отдал приказ: если враг переходит на поражение по доту из орудий прямой наводкой — выкатывать пушку на запасную позицию рядом с дотом.

Приказ под копирку переписали и разослали с посыльными. Но не прошло и получаса, как ко мне привели взятого в плен немецкого обер-лейтенанта; в полевой сумке его уже лежал один из экземпляров приказа.

— Где курсант, у которого вы отняли документ? — спросил я.

Обер-лейтенант выразительно провел ладонью под подбородком. Зарезан!..

С первого дня нам приходилось бороться с переодетыми лазутчиками. Противник засылал их к нам в тыл во множестве. Они нападали на одиночные машины, на часовых, на уединенные посты и отдельные орудийные и пулеметные гнезда. Борьба с ними отнимала много сил у курсантов.

15 октября враг продолжал нажим. Он постепенно все стягивал петлю окружения и методично расстреливал наши доты. Но теперь это у него получалось менее удачно: как только немецкие артиллеристы переходили на поражение, наши выбирались наружу, а после попадания в амбразуру возвращались. И все начиналось сначала.

В полдень, после очередной бомбардировки, над самыми вершинами деревьев пролетел самолет и сбросил листовки. В них было написано: «Доблестные красные юнкера! Вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл: Варшавское шоссе наше почти до самой Москвы. Через день-два мы войдем в нее. Вы настоящие солдаты. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эта листовка будет служить вам пропуском».

С едой у нас было еще сравнительно неплохо, хуже оказалось с теплой одеждой, — собираясь по боевой тревоге в большой спешке, мы не запаслись теплым бельем, а жечь костры было нельзя: немецкие минометчики были мастерами своего дела. Но больше всего тревожила судьба Москвы.

И все же надо отдать должное ребятам — у них хватило мужества, чтобы с юмором комментировать листовку.

В подразделении еще посмеивались над листовкой, когда мы услышали рокот танковых моторов. Но теперь он приближался не с запада, со стороны реки, а с востока.

Неужели свои?

Вот показался головной танк, за ним второй, третий... Целая колонна. На переднем развевается знамя. Красное знамя! Ребята стали вылезать из окопов, из дотов. Наши! Наши идут на выручку!..

И вдруг крик через всю поляну:

— Да это же фашисты!

Только теперь все увидели кресты на бортах машины. Расчеты мигом заняли места, и почти одновременно несколько пушек встретили танки смертоносной сталью.

На самой удобной позиции стояло орудие лейтенанта Мусеридзе. Семнадцатилетний наводчик Синюков попал в фашистский танк с первого выстрела, да так удачно, что танк сразу запылал огнем. Но курсант не рассчитал отката орудия и окуляром прицела его ударило в глаз. Стрелять он больше не мог, и его место занял комсомолец Юрий Добрынин. Вот вспыхнул еще один фашистский танк. Вот снаряд угодил в автомашину с боеприпасами — огромный взрыв метнулся над шоссе.

Но уже с танков, с бронетранспортеров был высажен десант. Автоматчики крались от дерева к дереву — все ближе к артиллерийским позициям. Под березой установили станковый пулемет, и уже трассирующие пули стучат по броневому щиту пушки. А по сторонам, совсем рядом рвутся снаряды: пристреливается один из танков...

Юрий наводил прицел хладнокровно. Выстрел — чуть в сторону. Выстрел — подпрыгнула и рухнула береза, придавив и пулемет и пулеметчиков. Теперь — по танку...

Бой длился не больше семи-восьми минут. Только один танк успел удрать назад. Другой, шедший в голове колонны, пытался на максимальной скорости промчаться через наши позиции, но возле Сергеевки комсомольцы его встретили дружным залпом. Трудно было определить впоследствии, кто подбил танк, — в его корпусе нашли с десяток попаданий наших снарядов.

Всего было уничтожено четырнадцать танков и десять автомашин и бронетранспортеров, из них шесть танков и две бронемшины подбил комсомольский расчет Юрия Добрынина.

Позже Военный совет округа объявил ему благодарность; тогда еще редко награждали орденами и медалями.

Бой не прекращался всю ночь.

Звуки автоматной стрельбы могут многое сказать опытному уху. Замерзая в окопчике, кутаясь в шинели и стараясь хоть как-то растормошить, согреть друг друга, мы с Суходоловым прислушивались к ночному бою, обменивались мыслями. Судя по всему, немецким автоматчикам удалось просочиться между дотами в наши боевые порядки. Если бы на КП прибыл в эти часы свежий человек, он непременно решил бы, что училища уже сняты врагом, что вот-вот он начнет забрасывать гранатами командный пункт. Но нам-то эти ночные звуки говорили совсем об ином. Комсомольцы держались. Несмотря на то, что у немцев был огромный численный перевес, что они смогли разобщить гарнизоны дотов, комсомольцы держались! И мы верили: придет утро, а шоссе все еще будет нашим. И гитлеровцы еще не раз обломают зубы о стойкость курсантов.

Сохранились написанные спустя несколько дней после этих боев воспоминания батальонного комиссара Андропова, находившегося в доте на главном направлении. Вот эти страницы. Они позволяют почувствовать обстановку, в которой сражались курсантские гарнизоны.

«15 октября. За день — 14 налетов фашистских бомбардировщиков. В каждом налете участвуют 23—27 самолетов. В перерывах — почти непрерывный обстрел из минометов и орудий. Очевидно, фашисты решили, что если не могут уничтожить нас, то хоть подавят нас морально, расслабят наши нервы, сделают нас неспособными к упорному сопротивлению.

Бомбы и снаряды рвались так густо, что вокруг нас вся земля превратилась в глубоко вспаханное поле. Пехотные подразделения, занимавшие промежутки между дотами, отведены куда-то в тыл... Около 9 часов вечера зажигательными снарядами из танков фашисты подожгли дома позади наших дотов. Горящие постройки по-дневному осветили всю местность.

«К чему бы это было?» — подумал я. Ответ дали сами немцы. На шоссе, на огородах, за домами, в тылу наших дотов десятки немецких автоматов полосовали пространство трансирующими пулями. До батальона пехоты и автоматчиков где-то просочились и зашли нам в тыл. Несомненно, фашисты проникли, что у нас нет прикрытия пехоты в интервалах между дотами, воспользовались этим и решили блокировать доты и уничтожить их гарнизоны.

Девять человек гарнизона нашего дота заняли круговую оборону: три человека во главе с лейтенантом Деремьяном у орудия, шесть человек вместе со мной расположились в траншее... Прячась за плетнями и в кустах шиповника, автоматчики открыли по нашей траншее сильный огонь.

С непривычки мои ребята немного растерялись. Вобрали головы в плечи, плотно прижимаются к сырой стенке траншеи. Это бывает. Командую: «Огонь!» — ведь выстрелы рассеивают чувство страха. Так и случилось. Со стороны шоссе к оврагу ползло с десятком автоматчиков. Оттуда им было легко забросать нас гранатами. К тому же конец траншеи выходил в овраг. Подобравшись, гитлеровец мог первой же очередью из автомата вдоль прямой траншеи всех нас расстрелять. Но огонь остановил врага. Комсомолец Григорьянец без передышки опорожнил диск легкого пулемета. Положение, однако, создавалось критическое.

С фронта, пользуясь скрытым подступом и темнотой, к амбразуре дота проникла группа фашистов. Три гранаты, брошенные ими в амбразуру, ударившись о щит орудия, разорвались не в доте, а снаружи,

но орудие вышло из строя, был разбит противооткатный механизм. Ребята не пострадали, но их так оглушило, что они абсолютно ничего не слышали.

Нас была горстка по сравнению с оравой гитлеровцев, окруживших дот со всех сторон. Как бы мы стойко ни отражали их натиск, мы, несомненно, были обречены на гибель. Но мы оказались не одиноки, и из глубины обороны подошло подкрепление — наши товарищи курсанты. Огнем пулеметов, гранатами, винтовками и мощным «ура!» гитлеровцы были опрокинуты и обращены в бегство. Ободренные подмогой, мы тоже стали действовать смелее и уверенней.

16 октября началось необычно. Мы привыкли встречать наступление дня ураганом огня и стали, визгом мин и гулом моторов самолетов. А тут полнейшая тишина. Неужели враг замыслил какое-то коварство?..

В доте успел побывать ружейный мастер Евстратов. Он быстро и ловко устранил неисправности в ручном пулемете, но исправить орудие не смог. Пришлось перестраиваться. Я отдал приказ Деремьяну: «Подготовить больше дисков, установить пулемет на место орудия... Пулеметчиками назначаю Григорьянца и Болдырева. Дот будет пулеметным».

В полдень появились танки. Один из них подошел к соседнему доту и в упор стал бить из пушки по амбразуре. Дот отвечал пулеметным огнем; видимо, пушка отказала. Выпустив 6—8 снарядов, танкисты уверились, что дот подавлен. Нас они не обнаружили. Танкист открыл люк, вылез из башни и пошел к доту. Сдерживая волнение, я нажал на спусковой крючок. Танкист переломленным мешком плюхнулся на землю. Тут же, со стороны Ленехинского дота, слева, послышался несусветный галдеж и многоголосьный рев. Повернув туда голову, я увидел человека двадцать гитлеровцев. Они бежали, размахивая автоматами и гранатами. Видимо, они и теперь не подозревали о существовании нашего дота и без опаски мчались прямо на нас. Подпустив на 20—25 шагов, Деремьян встретил их тройкой противотанковых гранат. Оглушительные взрывы покрыли звериный рев изувеченных бандитов.

Было ясно, что теперь, уже зная о нашем существовании, гитлеровцы попытались провести против нас планомерную атаку на уничтожение. Все приготовились, но вместо атаки по доту стало жарить орудие. После нескольких снарядов, разорвавшихся вблизи дота, следующий угодил внутрь. Смертельно ранены Сидоренко и Григорьянец. Наводчик Болдырев со стоном полз на четвереньках. Лицо его — сплошная кровавая масса, один глаз вытек. Деремьян и Крючков подхватили его и отнесли в землянку.

Один за другим снаряды рвались в доте. В нескольких метрах от нас падали куски орудийного щита, осколки.

Из состояния оцепенения вывел меня комсомолец Гнездилов, бывший студент Московского университета. Бледный, размахивая руками, он что-то кричал мне (за выстрелами и взрывами ни слова нельзя было расслышать), потом вдруг короткая шинель Гнездилова уже мелькнула в доте... В то же мгновение там лопнул снаряд... Гнездилов был разорван на куски.

Теперь нас осталось, способных бороться, пять человек...»

Когда 16 октября взошло солнце, все вокруг было белым — выпал снег. Теперь нашим по-настоящему серьезным врагом стали не только снаряды и пули фашистов, но и холода.

Кольцо неумолимо сжималось. Чтобы раненые не

попали в лапы врага, их еще раньше перенесли в землянки командного пункта. Но и там уже не хватало места.

Бой не прекращался. В критические минуты мы посылали отделения и даже взводы курсантов, чтобы освободить блокированные доты и батареи. Не всегда эти операции проходили успешно, и мы несли большие потери. Поредели наши ряды. Много свежих могил бугрилось на поле. Мне запомнился семнадцатилетний курсант Куршин, отчаянной храбрости юноша, и другой курсант — Кретов; в ночном бою они спасли своих товарищей.

Противнику удалось подавить почти всю первую линию дотов, однако с теми, что находились у самого моста и шоссе, он ничего не мог поделать, упорно лез на штурм и всякий раз нес большие потери.

Тогда гитлеровцы стали бить по дотам прямой наводкой из тяжелых зенитных орудий. Прежде всего по тому доту, который стоял возле самого моста и с рассказа о котором мы начали эти свои воспоминания. Немногие уцелевшие свидетели видели это. Видели, как после попадания что-то рвануло в доте, как оттуда повалил дым. Видели, как двинулась вперед танковая колонна и пехота. Потом видели, как мертвый дот «заговорил» снова...

Во второй половине дня к нам приполз раненый курсант Дорожкин. Он был внешним наблюдателем дота, которым командовал комсомолец лейтенант Алешкин. Этот дот замаскировали очень искусно: по виду обычный крестьянский дом, но внутри сруб был железобетонный артиллерийский полукапонир.

Дот Алешкина считался одним из самых результативных. Его гарнизон уничтожил несколько танков и не меньше сотни фашистов. Гитлеровцы никак не могли обнаружить этот дот, и потому, случалось, алешкинцы расстреливали врага даже в спину. И вот теперь мы узнаем, что и этот дот подавлен: сруб подожгли, сам дот был заброшен гранатами. Весь гарнизон, за исключением Дорожкина, погиб...

Под вечер обстановка стала вовсе критической. Взводы, которые я посылаю к переднему краю, теперь не могли пробиться даже на позиции нашего второго эшелона. А немецкая пехота все лезла и лезла в атаку на последнюю линию нашей обороны — вокруг КП. Казалось, вот-вот осилит. Но реденькая цепочка курсантов встречала их гранатами, автоматными очередями, последние уцелевшие пушки — картечью в упор... И фашисты не выдерживали.

Когда уже почти совсем стемнело, наблюдатель доложил с вершины березы, что колонна танков уже перешла речку и движется по шоссе: очередная попытка прорваться.

Чем остановить фашистов? Ведь, по моим данным, все, что могло противостоять врагу вдоль шоссе, уже было подавлено. А те жалкие пушечки, которые уцелели возле КП, если и могут подбить танк, так только прямой наводкой. А отсюда до шоссе километра полтора. Далековато.

Что же предпринять?

Я лихорадочно искал решение, а сверху (в перерывах между разрывами немецких мин) наблюдатель продолжал докладывать:



— А танков-то сколько было побито! И за рекой и здесь, — рассказывает очевидица тех событий Евдокия Власовна Чистякова.

— Танки прошли речку... Двигаются через Ильинское. Наших там не видно... Входят в Сергиевку... Проходят мимо разбитой зенитной батареи...

И вдруг сверху послышалось вооруженное:

— Ура! Ура! Кто-то подбил сразу два танка! А вот и еще загорелся! Еще один... — Курсант так свесился вниз, что чуть не падал. — Товарищ полковник, немецкие танки разворачиваются и уходят к речке...

Где вы, неизвестные герои? Выжили ли хоть один из вас? Где вы, творившие чудеса, сотворившие невозможное?

Отзовитесь!

15

Как ни стараешься припомнить последние часы в виде упорядоченной, последовательной цепи событий, ничего не получается. Усталость, бессонные ночи, постоянное нервное напряжение брали свое. Я помню, как ходил, отдавал распоряжения, выслушивал рапорты; как отбивались гранатами от фашистов, просочившихся через последнюю линию обороны почти к самым землянкам; как ходили в контратаку... Каждое событие воспринималось до нереальности отчетливым. Но мы не теряли самообладания.

Краски ночи были болезненно-контрастны, дня — тоже. Все предметы казались слюдяными... Чтобы говорить, ходить, думать, просто выслушивать людей, — необходимо было максимальное напряжение всех сил.

Что это говорит разведчик?.. Повтори громче! А, с тылу по всей окружности нас блокируют немецкие танки? Нельзя вырваться?.. А кто собирается пробиваться отсюда? Мы не собираемся. Мы будем стоять. До конца. Это наш долг...

Уже очевидно, что конец близок. Но партия велела стоять до конца. Значит, так надо...

А сегодня в роще вовсе светло. Почему бы это? Может, потому, что на деревьях не то что листьев — почти ветвей не осталось?

Подошел Суходолов. Он только что из подразделения, которое защищает самый уязвимый участок нашей обороны — опушку рощи перед противотанковым рвом. Гитлеровцам удобно во рву готовиться к атаке. Они снова и снова терзают снарядами и минами опушку, потом вдруг — атака. За утро их было уже три. Но я спокоен за ребят. Это самый взрослый народ из всех курсантов — все с высшим образованием, все комсомольцы. И командует ими политрук Щурин.

— Что у них новенького? — спрашиваю Суходолова.

— Щурин тяжело ранен, — мрачно говорит Георгий Михайлович.

— Как так? — встревожился я.

— Недавно отбивали очередную атаку. Совсем их мало оставалось — со Щуриным восемнадцать человек. Гитлеровцы полезли пьяные: «Рус, сдавай!» Не менее сотни. Щурин видит, не сдержат — и поднял своих в контратаку...

Сколько раз за эти дни я слышал такое, а все не могу привыкнуть. Восемнадцать человек против сотни пьяных, озверевших убийц... Горстка против толпы... Но я-то видел, как такая горстка бросается в атаку.

Щурин, сам недавний выпускник МГУ, преподавал в нашем училище историю партии, учил курсантов на примерах героев партии, гражданской войны. И вот, когда пришло время идти в бой, он доказал, что слова у коммунистов не расходятся с делом.

— Чем у них кончилось? — спрашиваю.

— Отбили гадов. Но Щурину не повезло — в горло ранили. Когда Сережа Забаркин выносил его с поля боя, по ним открыл огонь немецкий автоматчик. И ранил Щурина еще раз.

— Плохо...

— Автоматчика снял курсант Аристов — может быть, помните, художник из Серпухова. А Забаркин перевязал политрука. Я его как раз застал за этим. Приказал: спаси Щурина, чего бы это ни стоило. Это твое комсомольское поручение.

— Думаете, справится?

— Не сомневаюсь...

...И вот уже новые дела. Атака с другой стороны. Но и ее отбивают. Все время думаю: почему фашисты больше не пытаются пробиться танками по шоссе? Больше не хотят рисковать машинами? Вероятно, так. А ведь нам сейчас просто нечем было бы их задержать. Попросту нечем. Крепко же мы их победили!

Меня отвлекают от этих мыслей: двое курсантов подводят незнакомого сержанта-пехотинца. Тот ранен, сам стоять не может, пытается доложить:

— Товарищ полковник... нас пробивалось к вам семеро... вот добрался... получите пакет с приказом... Приказ...

Я лихорадочно вскрываю конверт, читаю пляшущие перед глазами строки: «приказываю... вывести вверенные подразделения... училищ для продолжения занятий...»

16

Потом были тяжелые дни — выходили из окружения.

Потом продолжалась война. Трудная, долгая. И те курсанты, что пробивались к своим, уже через несколько месяцев снова сражались с фашистами во главе противотанковых взводов и батарей. А жизнь противотанкиста коротка — не всегда в единоборстве с танком ему удается выйти победителем. Не случайно бывалые солдаты говорили, что сапер и противотанкист ошибаются только раз в жизни.

Что я знаю о тех ребятах еще?

Знаю, что почти все, кто вернулся в училище, в те же дни подали заявление о вступлении в партию. В числе первых были лейтенанты Павел Александрович Карасев и Ирадион Илларионович Мусеридзе, курсанты Сергей Забаркин, Лебединский, Бычков, Лебедев, Перфильев...

Я старался назвать здесь все оставшиеся в моей памяти фамилии участников этих боев: и тех, кто уце-

лел, и тех, кто пал, чтобы вечно жить в памяти людей.

Я бы не хотел, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто атаки фашистов на Малоярославецком направлении отбивали одни только курсанты. Нет, рядом с ними, воодушевленные их стойкостью и героизмом, дрались красноармейцы артиллерийских дивизионов, полков и стрелковых рот.

Здесь — только малая толика того, что мне удалось сохранить в памяти и найти в документах тех дней о великом подвиге комсомольцев под Москвой. Остается много неизвестных героев, и автор рассчитывает, что читатели помогут восстановить их имена.



Ильинские школьники разыскивают героев-курсантов. Сегодня на линию обороны они пришли с одним из них — подполковником С. Н. Забаркиным. Он приехал сюда — посмотреть на памятные места. В углу: Забаркин-курсант.

Нелегко сейчас собирать материалы о тех нескольких октябрьских днях. Мало осталось живых участников этой героической эпопеи. Их следы теряются в госпиталях и на полях сражений — под Сталинградом, на Курской дуге, под Корсунь-Шевченковским, под Будапештом. Но ведь есть же они! Те, благодаря кому моторизованный корпус немецкой армии увяз, не дойдя до Москвы. Те, благодаря кому именно на этом направлении задержали фашистов дальше всего от Москвы.

Где же вы, друзья?

Отзовитесь! Напишите мне в адрес журнала «Юность». Героические подвиги комсомольцев-курсантов, как и всех участников беспримерной битвы под Москвой, должны быть установлены во всей полноте.

К КОМСОМОЛЬЦАМ МОСКВЫ, ПОДОЛЬСКА, МАЛОЯРОСЛАВЦА!

Открыта еще одна, ранее малоизвестная героическая страница Великой Отечественной войны.

Редакция «Юности» обращается к вам, комсомольцы Москвы, Подольска, Малоярославца! Увековечим память комсомольцев-курсантов, которые стояли насмерть у стен Москвы и ценой своих жизней задержали врага на своем рубеже, выполнив свой долг перед Родиной!

Пусть курсантские позиции станут заповедным историческим местом, полем-музеем. Пусть молодежь под руководством ветеранов этой славной битвы бережно восстановит доты, окопы, блиндажи. Пусть отряды пионеров-следопытов пойдут по следам героев, по следам тех, кто сейчас жив, и тех, чьи имена остались лишь в памяти людей.

Пусть каждый сегодня помнит, что сделали они для нас!

МУСА ДЖАЛИЛЬ



Исполнилось шестьдесят лет со дня рождения замечательного татарского поэта Мусы Джалиля, чей воинский и гражданский подвиг стал символом беззаветного мужества и верности Родине.

Книги Джалиля, его пламенные патриотические стихи, переведенные на языки многих народов мира, давно уже нашли признание всех людей доброй воли, борцов за свободу, мир и счастье человечества.

Творчество Джалиля и его героическая жизнь служат для нас вечным примером душевной чистоты и отваги.

Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит...

— писал поэт в фашистском застенке.
Бессмертный подвиг Джалиля, его песни снискали высокую признательность народа. Он удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза, а его стихи отмечены Ленинской премией.

Здесь мы печатаем три стихотворения Мусы Джалиля, ранее не переводившиеся на русский язык.

Ночь. Тюрьма

Ночь. Тюрьма. Тишина, хоть вой!
Темень, темень — не видно ни зги.
Словно маятник, часовой
За стеной отбивает шаги...



Я к последним письмам твоим
Возвращаюсь опять и опять:
То, что небом дано двоим,
И застенок не может отнять.
Ты мне пишешь: «До боли души
Я тоскую, надеюсь и жду...
Поскорее, любимый, спеши!»
Я встаю и к тебе иду.
Стража, стены — мне все нипочем.
Дух не сломен, и кровь горяча.
Я б к тебе прорубился мечом.
Только нет у меня меча.

Смертный ветер навевал беду.
Торжествуют мои враги.
«Поскорее! Надеюсь и жду...»
Ты прости, если я не приду...
Ночь. Тюрьма. За стеной шаги.

Иншар

Забудется и Мензелинск и этот ветровей —
Поземки шелковистое журчанье.
Останется лишь взгляд из-под бровей,
Твоя улыбка и твое молчанье.
Девчушка, в вечных хлопотах с утра,
Ты обрела во мне родного брата.
Как часто мне казалось: вот сестра,
Моя сестра, а вовсе не Азата.
Тобой держался дом, его уют, тепло.
Ты никогда без дела не слонялась.
Я помню, всем усталостям назло,
В час отдыха над книгой ты склонялась.
И думал я, верней, мечтал, чудак
(Любой джигит о мальчишке мечтает),
Пусть будет дочь, и пусть она вот так,
Как ты, Иншар, всю жизнь воспринимает.
Тогда полегче будут времена.
И все ж,

Идя своею легкою дорогой,
Пускай она растет, как ты растешь,—
Веселой, работающей, быстроногой!
Иншар, Иншар! В стихах не рассказать
Всего, чем ты меня приворожила.
Мне о тебе роман бы написать.
А то и два. Ты это заслужила.
Я напишу, поверь мне.
А пока вот стих тебе. И вот моя рука.
Прощай, сестренка!..
В черный, тяжкий год
Свела судьба нас на одно мгновенье.
Я уношу в душе любви сладчайший плод,
Дозревший от разлуки дуновенья.
Останусь жить — увидимся с тобой.
А коль умру
(На то война, родная),
Ты слез не лей. Ты лучше песню пой,
С улыбкой доброй брата вспоминая.

25/XI.41. Мензелинск.



Не для того из вечной тьмы
Мы к свету поднялись.
Не для того по-братски мы
В одну семью слились.
Не для того свободы стяг
Впитал наш пот и кровь,
Чтобы сегодня злобный враг
Во тьму нас свергнул вновь!
Жесток и жгуч народный гнев.
Дрожи, фашистский сброд!
Когда душа его в огне,
Безжалостен народ.
Твоей вины, кровавый пес,
Ничто не обелит,
И тот пожар, что ты принес,
Тебя испепелит!

1941.

Перевод З. ЛЕОНИДОВА.

● Анатолий Рыбаков

Рисунки Б. Жутковского.



КАНИКУЛЫ КРОША

Мальчик пристально вглядывается вдаль. Что видят его глаза? Таинственные образы проносятся в детских мечтах, подобно песням птиц. Но что мы сделали для того, чтобы королевство фантазии стало рядом с нами навсегда.

Нэцкэ, Мальчик с книгой,

Я опишу события, происшедшие в нашем доме. События, происшедшие вне нашего дома, я тоже опишу.

Писать я буду от первого лица. Так это называется в литературе — писать от первого лица. Вместо «он» говорить «я». Не «ему» надавали по шее, а «мне» надавали по шее.

Мою книгу отредактируют — пусть, мол, читатель думает: ее написал настоящий писатель. Если этого не делать, то одни книги будут читать, а другие нет. А если отредактировано, то читают всех подряд и никому не обидно.

В моей книге будет несколько героев. Все они живут в нашем доме. Я хорошо знаю жильцов нашего дома: в нем прошла моя сознательная жизнь. С десяти лет. Теперь мне шестнадцать.

Только Костя живет на другой улице. Немного таинственный тип. Пройдет по двору со своим чемоданчиком, и все. А в чемодане боксерские перчатки. Костя — боксер, черненький, худенький паренек.

ПОВЕСТЬ

2. «Юность» № 2.

Я познакомился с Костей, когда Везн и Игорь были как раз во дворе. И я тоже был как раз во дворе. Смотрел, как Везн обтирает свою «Волгу». Игорь ощупывал свой подбородок и тоже смотрел, как Везн обтирает машину. Перед этим Игорь получил в подбородок и теперь, заботясь о своей внешности, его ощупывал. За что и от кого получил, я расскажу потом.

Везн показал на запасное колесо.

— Подыдем?!

Игорь был занят подбородком. Я помог поднять колесо и затянул гайку на держателе.

— Почему тебя зовут Крош? — спросил Везн.

Мне опять, в который раз, пришлось объяснить, что меня зовут Сергеем, а Крош — это прозвище, сокращенное от моей фамилии Крашенинников. В школе всегда сокращают фамилии, тем более такую длинную, как моя. Вот и получилось Крош.

Объясняя это Везну, я подумал, что он, наверно, не читал повесть «Приключения Кроша» — там об этом подробно рассказано.

Тут появился Костя, и мы познакомились.

— Прокатимся? — спросил меня Везн.

— С удовольствием, — ответил я.

— Где Нора? — спросил Везн.

— Вот она идет, — ответил Игорь, массируя подбородок.

Нора в черных чулках. На эти черные чулки мне



противно смотреть. И голос у нее хриплый от курения.

Игорь кивнул на меня.

— Крош тоже поедет.

— Тебе жалко? — спросил я.

— Разве я что-нибудь сказал? Нора, разве я что-нибудь сказал?

Нора пожала плечами и отвернулась.

Нора и Игорь ушли из десятого класса будто бы для того, чтобы заработать производственный стаж. На самом деле им лень учиться. Нора расхаживает в черных чулках, а Игорь околачивается на «Мосфильме», снимается в массовках. Ему это за производственный стаж все равно не зачтут.

Мы мчались по Садовому кольцу. Из троллейбусов на нас смотрели пассажиры. Везн похож на молодого профессора: виски с проседью, белая рубашка с закатанными рукавами, узкие брюки, черные туфли. Нора сидела рядом с ним, как герцогиня. У Кости было медальное, бесстрастное лицо боксера, который не жмурится, когда его лупят по морде. Игорь трепался, будто бы брат собирается подарить ему своего «Москвича». Я просто ехал.

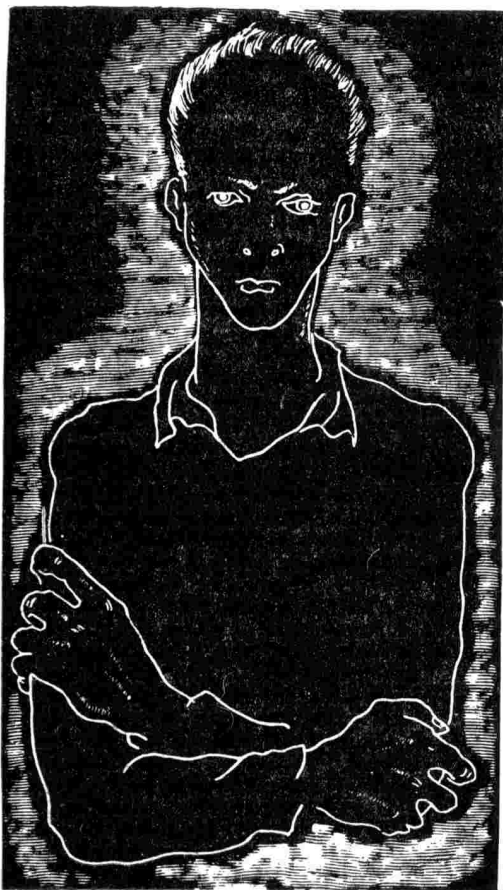
Везн — искусствовед. Я терпеть не могу искусствоведов: они мешают слушать музыку, прерывают ее

на самом интересном месте. И когда по радио человек что-то там бормочет невнятным голосом, то невозможно ни читать, ни заниматься... «Фредерик вошел в гостиную и сказал... Лаура печально покачала головой... Ах, Фредерик...» Муть!

Но Везн — искусствовед по изобразительному искусству, а это совсем другое дело, искусствоведы по изо не мешают слушать музыку. Кроме того, Везн коллекционер, собирает предметы искусства. И хотя я с ним встречался только во дворе, он мне казался яркой личностью. Игорь и Костя выполняли какие-то его поручения и напускали такой таинственности, что меня распирало от любопытства. Это была та сторона жизни, которую я еще не знал. Другие стороны жизни я знал хорошо, а эту еще слабо и хотел познакомиться.

Мы свернули с Садового кольца и остановились в переулке возле улицы Горького. Везн обернулся и посмотрел на Костю и Игоря. Те, не говоря ни слова, вышли из машины. А мне Везн улыбнулся. Но его улыбка означала, что я должен остаться. Я остался.

Мы сидели молча — я, Везн и Нора. Потом Везн и Нора перебросились несколькими фразами. Поскольку они говорили тихо, я не стал прислушиваться.



В девятом классе за Норой ухаживал артист эстрады, скандал был на всю школу. Норина бабушка, заслуженная общественница, вызвала к себе бюро комсомольской организации, я был тогда членом бюро. Сначала мы не хотели идти, но потом пошли, приняв во внимание возраст бабушки и ее заслуги перед общественностью.

Мы стояли перед бабушкой, как провинившиеся школьники. Нора сидела на диване, курила сигарету и стряхивала пепел в горшок с цветами. Если кто сбивается с пути, говорила бабушка, то виноват коллектив: недосмотрели. Когда бабушка была молодой, было по-другому... А у нас слаба воспитательная работа, и мы недосмотрели за Норой... И вот, пожалуйста — артист эстрады... А у артиста жена и ребенок, кажется, даже не один, а двое...

— Нора, сколько у него детей?

— Один, — спокойно ответила Нора, стряхивая пепел в горшок с цветами.

Бабушка сказала, что родители Норы — занятые люди, заслуженные артисты, и она, бабушка, тоже занятый человек, пишет мемуары о Станиславском и других выдающихся личностях. Мемуары эти имеют громадное значение для воспитания подрастающего поколения. И, не воспитывая Нору, мы мешаем

ей воспитывать подрастающее поколение. Вот какой бенц старушка нам выдала.

Но еще больший бенц она выдала директору эстрады. Такой она ему выдала бенц, что бедного артиста эстрады услали на длительные гастроли в Ферганскую область.

Такая петрушка произошла с Норой этой зимой. Вернулись Игорь и Костя. Ни слова не говоря, сели в машину. Везн включил мотор. Снова по Садовому кольцу мы помчались обратно, домой.

Во дворе Везн сказал:

— Зайдем к нам.

2

Портреты, портреты, портреты... Вельможи в кафтанях с кружевными жабо и кружевными манжетами, царские генералы в раззолоченных мундирах, дамы с высокими прическами, тетки в сапогах и чепчиках, купцы в шубках, похожие на великого драматурга Островского, девочки с бантиками, мальчики в бархатных костюмчиках...

Тесно стояли шкафы, буфеты, конторки, секретеры, бюро, диваны, козетки, ломберные столики. На потолке люстры. Все это, как объяснил Везн, старинное и ценное. На двух креслах даже натянуты веревочки, как это делается в музеях, чтобы на кресла не садились. Меня удивило, что Нора, Игорь и Костя усадились на таком ценном диване. Нора даже взобралась с ногами. Я думал, что этой мебелью пользоваться нельзя. Оказывается, можно. Нельзя сидеть только в креслах, перевязанных веревочкой: они сложенные.

Нора курила. Игорь перебирал магнитофонные ленты, Костя перелистывал книгу. Здорово устроились, ничего не скажешь.

В застекленном шкафу стояли на полках крохотные фигурки из дерева, камня, фарфора. Это — эццэ, японская миниатюрная скульптура, я видел их в Музее восточных культур.

— В моей коллекции есть уникальные экземпляры.

Сказав это, Везн снял с полки несколько фигурок и поставил на стол. Они изображали крестьян, монахов, всадников, детей, маски, цветы, птиц, зверей, рыб...

Я бездарен в живописи. Нравится, не нравится — вот все, что я могу сказать. Но почему нравится или не нравится — сказать не могу. В натюрмортах, пейзажах, во всяких абстракциях я не разбираюсь совершенно. Мне нравятся картины, где изображены люди. Моя любимая картина в Третьяковке — это «Крестный ход» Репина. Помните мальчика с костью? Сколько радости и надежды на его лице, как он весь устремлен вперед — сейчас произойдет чудо, он выпрямит спину, бросит кость и будет такой, как все... Вот это мне нравится! А как положены краски и как распределен свет — в этом я не разбираюсь.

Везн взял в руки фигурку старика с высоким пучком волос на голове и длинной редкой бородой. Одной рукой старик придерживал полы халата, в другой сжимал свиток. Фигурка была величиной всего с мундштук, и все равно было ясно, что этот старик — мудрец. Что-то вечное было в его лице, в длинных морщинах, в худом, истощенном теле. Его высокий лоб, скошенные монгольские глаза выражали спокойную и мудрую пронзительность. Много нужно затратить труда, чтобы вырезать из дерева такую крохотную выразительную фигурку.

— Мудрец? — спросил я.

— Мудрец, — ответил Везн, любящая фигуркой, — работа великого мастера Мивы первого из города Эдо, восемнадцатый век, вишневого дерева... Для профана она ничто, но знаток ее оценит.

Мне стало немного не по себе: в сущности, я тоже профан.

— Искусство принадлежит тому, кто его любит, понимает и отстаивает, — продолжал Везн. — Человек, сохранивший для нас «Слово о полку Игореве», сделал не меньше того, кто это «Слово» написал. Шлиман, открывший Микены, превосходит его создателей: они строили город, подчиняясь необходимости, он открыл его, ведомый любовью к искусству. Что было бы с русской живописью без братьев Третьяковых?

В ответ я напомнил слова Пушкина:

— «Чувства добрые я лирой пробуждал» — вот что главное.

— Что я говорю?! — злорадно произнесла Нора. Эта реплика означала, что Нора предупреждала Везна: я не подхожу для их компании. Это меня не удивило: мы с Норой терпеть не можем друг друга.

— Крош, ты баптист, — объявил Игорь.

— Но это сказал Пушкин!

— Пушкин жил сто лет назад. Каменный век.

— Дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно, — сказала Нора.

— Задираемся? — неодобрительно заметил Везн.

— Мы любим Кроша, давай поцелуемся, Крош, — сказал Игорь.

— Не шурши! — предупредил я его.

— Попробуйте одеваться, смотрит солнышко в окно... — продолжала Нора, — в лесу раздавался топор дровосека...

— Дружба не терпит подобных шуток, — сказал Везн, — а без дружбы нет человека. Одиночку сокращают, в коллективе человек нивелируется. Тройки, четверки, пятерки — вот кто покоряет мир.

— Три мушкетера... — сказал я.

— Ремарк! — сказал Везн. — Но герои Дюма покоряли мир, герои Ремарка обороняются от него.

— Три танкиста, три веселых друга, — пропел Игорь.

— Чувства добрые... — снова заговорил Везн. — Самое доброе чувство — дружба. Есть только одна убежденность — в своем товарище, только одна вера — в прекрасные творения человека. Все проходит — идеи, взгляды, убеждения, — а эта фигурка будет жить вечно. Ее держали в руках цари и полководцы, писатели и философы. Если бы время не стирало отпечатков пальцев, можно было бы по ней создать дактилоскопический альбом многих великих людей. Научись мы создавать скульптурные портреты людей по отпечаткам пальцев, они были бы точнее, чем создаваемые по черепу.

Черт возьми, может быть, эту фигурку держали в руках Наполеон или Бальзак, какой-нибудь микадо или братья Гонкуры. Замечательная идея! Странно, что Везн так буднично ее высказал. Нора и Игорь спокойно сидели на диване, Костя молча перелистывал журнал.

— Может быть, отпечатки пальцев все же останутся, — сказал я, — совсем крошечные, незаметные, но с помощью сверхмощного электронного микроскопа их со временем удастся обнаружить.

— Возможно, — согласился Везн, — но и без того старинная вещь рассказывает о многом. Собирая произведения искусства поучительно. Каждая фигурка — эпопея, ее розыски — тоже эпопея. Собирающие — это гигантский труд и медные деньги. Впрочем, — Везн как-то особенно посмотрел на меня, — мы живем в век новой алхимии, и медь иногда превращается в золото.

Я не совсем понял, что он хотел этим сказать.

— Собирачество — это соревнование, — продолжал Везн, — мы, собиратели, хорошо знаем друг друга и свои поиски держим в секрете.

На этот раз я понял, что он хотел сказать.

— Я не трепач.

— Я нуждаюсь в помощниках. Вот Костя помогает и Игорь. Хочешь, и ты будешь помогать?

— С удовольствием.

— Мир искусства обогатит тебя духовно, поможет стать культурным человеком. Ты хочешь стать культурным человеком?

— Хочу.

— На одну удачу приходится двадцать неудач. Но на мелкие расходы ты всегда заработаешь.

Наверно, я здорово покраснел. Получать деньги за помощь, за услугу! Но, с другой стороны, надоело обращаться к маме за каждым гривенником. И мне необходим магнитофон.

— У тебя не должно быть секретов от твоих родителей, — продолжал Везн, — но и не обязательно

им все рассказывать. Каждый имеет право на личную жизнь.

Логично. Ведь я не все рассказываю своим родителям, как и они мне, — каждый имеет право на личную жизнь.

— Мои родители не вмешиваются в мою личную жизнь, — сказал я.



А для меня дружба — дело естественное, я никогда не думал о тройках и пятерках. Конечно, большая компания чересчур громоздка — один хочет туда, другой сюда. Но вопрос в том: для чего тройки и пятерки? А в коллективе человек все не нивелируется, коллектив — это моральная категория. Так надо было ответить: «коллектив — моральная категория». Но, как всегда, умная мысль пришла мне в голову, когда спор уже был окончен.

Но я понимал также, что по этим словам нельзя судить о Везне. Судить о человеке надо по всем его мыслям, во всяком случае, по главным мыслям. А главное в Везне — это любовь к искусству. И, как всякий увлеченный человек, он несколько одностороннен, считает, что предмет его увлечения — это главное.

К Норе тоже надо быть терпимее: женщина все-таки.

Что касается Игоря, то он трепло. «Пушкин — каменный век». Сказал тоже! У меня сердце щемит, когда я читаю Пушкина, слово даю! «Прими собранные пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных... незрелых и увядших лет ума холодных наблюдений и сердца горестных замет...» Кто еще мог так сказать? Только Пушкин!.. «Как часто в гсрестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе...» А?! «Блуждающей судьбе...»

Но Игорь не лишен чувства юмора, а чувство юмора — это главное, без юмора нет человека. После Пушкина самые мои любимые книги — это «Мертвые души», «Бравый солдат Швейк» и «Золотой теленок». Их я могу перечитывать и перечитывать. Чехова я тоже могу перечитывать и перечитывать, обхо-хочешся, честное слово! Но у Чехова рассказы, а я говорю о романах. Как-то мы играли в игру: какие десять романов вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Я назвал «Войну и мир», «Мертвые души», «Красное и черное», «Бравого солдата Швейка», «Тихий Дон», «Золотого теленка», «Трех мушкетеров», «Утраченные иллюзии», «Боги жаждут» и «Кожаный чулок». Я бы еще назвал, но можно было только десять. А вот если бы меня спросили, чье собрание сочинений взял бы я с собой на необитаемый остров, я бы ответил: Пушкина! Собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина я бы взял с собой на необитаемый остров.

Больше всех понравился мне в этой компании Костя. За весь день он не проронил ни слова: ни во дворе, ни в машине, ни на квартире у Везна, а вот понравился больше всех. Чудесный парень, боксер, а не задается, не пользуется своей силой. Мне нравятся такие молчаливые ребята.

Есть люди, у которых все на виду, с ними просто и ясно. Но есть и другие — загадочные, они всегда занимают мое воображение. Бывает, что человек с виду загадочен, а при ближайшем рассмотрении оказывается дураком. Но в данном случае этого не было. Было в Косте что-то таинственное, даже трагическое. Я чувствовал это тогда, когда он прохо-

дил по двору с чемоданчиком в руке. И то, что он все время молчал, только укрепило это чувство.

Когда на следующий день мы с Костей отправились выполнять поручение Везна, мне было приятно идти с ним по улице, сидеть рядом в вагоне метро. Все думают, что он обыкновенный худенький паренек, а он боксер-перворазрядник, может так двинуть, что от человека останется одно воспоминание. В дверях вагона стояли какие-то нахалы, мешали входу-выходу, один даже задел Костю плечом. Я думал, Костя сейчас их раскидает, но он ничего, спокойно прошел мимо. Меня поразила его выдержка. Впрочем, в дверях могли стоять тоже боксеры-перворазрядники, а то и мастера спорта.

— В учебнике древней истории, — сказал я, — нарисованы всякие амфоры и вазы. Не думал, что мне придется этим заниматься.

Костя ничего не ответил. Сидел, несколько развися (привык в такой позе отдыхать между раундами), с бесстрастным выражением на медальном лице.

— Интересная мысль — создавать живой портрет по отпечаткам пальцев, — продолжал я. — У тебя нет книг по дактилоскопии?

— Долго?

— Что долго?

— Трепать языком будешь долго?

Мрачный тип! Не слишком большое удовольствие иметь с ним дело. Нет, уж пусть Везн дает мне самостоятельные поручения. Сегодняшнее поручение выполняю с Костей, а следующее — только самостоятельно.

Мы вышли из метро на Арбатской площади и пошли по Гоголевскому бульвару. Костя молчал, только изредка говорил: «Туда, сюда, сюда, туда».

Я остановился.

— Ты эти «туда-сюда» брось! Куда мы идем?

— На Сивцев Вражек, — процедил он сквозь зубы.

На Сивцевом Вражке он показал мне серый дом.

— Подымешься на третий этаж, квартира восьмая, два звонка, Елена Сергеевна. Скажешь, от Владимира Николаевича. Передашь ей этот пакет, она тебе даст другой. Повтори.

— Повторение — мать учения, а кто отец?

Довольный тем, что поставил его в тупик, я положил пакет в карман и вошел в подъезд. Пакет был совсем крошечный, казалось, в нем лежит катушка с нитками. Но я знал, что там нэцкэ.

Женщина с крашеными волосами и папиросой в зубах провела меня в комнату, плотно закрыла дверь, повернулась ко мне спиной, посмотрела, что в пакете, спрятала его в шкаф и передала мне другой пакет, тоже с нэцкэ. Потом проводила меня до двери и посмотрела, нет ли кого на лестнице. Все это не вынимая папиросы изо рта.

— Теперь куда? — спросил я Костю, очутившись на улице.

— На Плющиху.

На Плющихе дверь мне открыл толстый молодой человек в очках. Челюсти его так и ходили взад-вперед. Я подумал, что он жует резинку, но он сделал глотательное движение, рыгнул, и я понял, что это не жевательная резинка. В комнату он со мной не заходил, взял пакет и захлопнул за мной дверь. И лестницу не осматривал, видно, не боялся конкурентов.

Я вернулся к Косте. Он сказал:

— Сейчас поедем в один дом. Разговаривать буду я, а ты слушаешь.

Я хотел ответить, что у меня нет охоты разговаривать ни с ним, ни с кем бы то ни было. Но ничего не сказал.

На Комсомольском проспекте нас встретил Игорь.



Скосил глаза на Костю и сказал: «Все в порядке». Я не спросил, что именно в порядке, решил вообще ни о чем не спрашивать. Видно было, что Костя и Игорь не склонны разговаривать. Вообще-то Игорь болтун. Но сейчас они не были склонны разговаривать.

Игорь остался на улице. Мы с Костей вошли в большой двор нового дома. В глубине стоял старенький деревянный флигель из тех, что остаются после сноса старых домов.

И комната, в которой мы очутились, тоже была старая. Потолок неестественно высок, занавески темные, тяжелые, вытертые, мебель изношенная, скучная. На всем лежала печать уныния, оскудения.

И хозяйка комнаты тоже была старая, тяжелая. Мне жаль толстых старух: они совсем беспомощны. В ее искательном взгляде было что-то унижительное, мне даже стало неудобно, будто я делал что-то нехорошее. А ничего плохого я не делал. И Костя не делал. Он рассматривал нэцкэ.

Фигурка изображала двух человечков, нищих музыкантов, со скуластыми монгольскими лицами, узкими щелочками глаз и приплюснутыми носами. Крохотная деревянная скульптура размером со спичечный коробок, не больше. Музыканты шли сквозь дождь и ветер, их лохмотья развевались, желтые лица были опалены солнцем. У одного человека рука лежала на крошечном барабане. По выражению их лиц, по растянутым рта́м было видно, что они поют нечто жалобное, однообразное, привычное. Вечные скитания, вечные лишения... Ножки крохотные, голова большая, щеки отвислые, видна только одна рука, пропорции нарушены именно так, чтобы подчеркнуть их выразительность. Просто удивительно, как все это удалось передать на таком крохотном кусочке дерева.

— Сколько вы хотите за нее? — спросил Костя.

— Мне говорили, она стоит пятьдесят рублей, — нерешительно ответила старуха.

Я вытаращил глаза... Неужели эти фигурки ценятся так дорого?

Костя поставил фигурку на стол.

— Вам надо ее оценить.

— Мне трудно ездить в антикварный.

— Пошлите кого-нибудь.

— Мне некого послать... — Старуха жалко и искалочно смотрела на Костю... — А сколько бы вы дали?

— Раз вы так дорого ее цените, вам надо съездить в антикварный.

— Все же, сколько бы вы дали?

— Один мой товарищ выменял отличную нэцкэ на матрешку, — сказал Костя. — Лучше оцените ее в антикварном.

— Куда я поеду?.. Сколько она, по-вашему, стоит?

— Самое большее — пятнадцать рублей. И то... —

Костя снова взял в руки фигурку. — Я беру ее потому, что собираю работы Томотада или под Томотада.

— Она подлинная, — торопливо проговорила старуха.

— Кто это может доказать? — Костя снова поставил фигурку на стол, — возможно, вам удастся продать ее дороже.

— Хорошо, — вздохнула старуха, — пусть будет пятнадцать...

4

Игорь поджидал нас на улице, и мы пошли в шашлычную. Действовал неизвестный мне и х порядок, мне оставалось подчиняться ему и не задавать вопросов. Когда человек всему удивляется, он выглядит идиотом.

Возможно, фигурка музыкантов не стоит больше пятнадцати рублей. Но неприятно видеть, как люди торгуются, в этом есть что-то базарное, лавочное, что-то от обьегоривания и надувательства — кто кого околпачит. То ли дело в магазине. Висит цена, хочешь — покупай, не хочешь — не покупай, есть деньги — бери, нет — уходи. Больше, меньше — какое это имеет значение? А Костя торговался. И с кем? С несчастной старухой. Должен был сказать: «Мне это дорого» — или еще лучше: «Я подумаю» — и уйти. Мужчине унижительно торговаться.

Когда папа уезжает в командировку, мы с мамой обедаем в столовой. Обычно я заказываю блинчики с вареньем. Меня удивляет, что люди заказывают, например, котлеты с макаронами. Ведь блинчики гораздо вкуснее.

Но Игорь насмешливо спросил:

— Ты в детском саду?

И заказал суп харчо, шашлыки и по сто граммов коньяку «три звездочки».

Чтобы не опьянеть, я навалился на масло. Говорят, что масло образует на пищеводе непроницаемую для винных паров пленку. Я даже где-то читал об этом, только не помню, где...

— Здоров ты масло рубать, — удивился Игорь.

Меня от масла чуть не стошнило, зато мой пищевой был надежно смазан, мне не был страшен никакой коньяк. Я выпил полную рюмку. Пусть Игорь и Костя не думают, что имеют дело с мальчиком.

Игорь сказал наставительно:

— Коньяк надо потягивать. За границей его пьют только после еды, за кофе.

— Ты давно из Парижа? — спросил я.

— Разве это харчо? Разве это шашлык? — продолжал выдрючиваться Игорь. — Харчо надо подавать в горшочках, шашлык надо готовить по-карски.

— Большой знаток, — насмешливо заметил Костя.

Костя разбирается в людях, этого у него не отнимешь. Дело даже не в том, что Игорь хвастает —

он слишком громко разговаривает, как будто не для собеседника говорит, а для окружающих. А окружающим, может быть, неинтересно его слушать, быть может, чужой разговор мешает их собственным мыслям.

Держа руки под скатертью, Игорь разглядывал музыкантов.

— Это вещь! Как положен лак, а! Какой колорит, уникум!

Я бездарен в изо, я уже признавался в этом. Лучше честно признаться, что не понимаешь, чем делать вид, что понимаешь, когда ни черта не понимаешь. И когда люди начинают с умным видом рассуждать об искусстве, меня тошнит. Когда Игорь начинает долдонить: свет, колорит, жанр, — хочется съездить ему по затылку.

— Если ты еще раз произнесешь слово «колорит», получишь по затылку, — предупредил я Игоря.

Он невозмутимо ответил:

— Ты темный человек, Крош, тебе чуждо чувство прекрасного. Ты даже не понимаешь, что это за нэцкэ. Уникальнейшая вещь.

— Откуда ты знаешь?

— Я все знаю, я так много знаю, что мне уже неинтересно жить.

— Эрудит! — усмехнулся Костя.

— Эта нэцкэ говорит о бренности всего земного, — продолжал выдрючиваться Игорь, — были знаменитыми музыкантами, стали нищими, сик транзит глория мунди... Работа Томотада из города Киото. Томотада — второй величайший мастер Японии...

— А кто первый?

— Мива. Мива первый из Эдо. Но мне Томотада даже нравится больше. Посмотри на этих музыкантов, какая работа! Цена ей — верный кусок.

Кусок! Сто рублей! Неужели эта безделушка стоит таких денег? Значит, Костя надул старуху.

— На любителя и все полтора куса, — холодно проговорил Костя.

Этот откровенный цинизм меня возмутил.

— Ты обманул старуху!

— Почему? — невозмутимо ответил Костя. — В антикварном ей дали бы в лучшем случае десятку.

— Итак, мы обманывали старуху?

— В известном смысле да, — сказал Игорь.

— Интересно!

— Попади она на любителя — получила бы больше. А если бы нарвалась на жулика? Что старухе надо? Не пьет, не курит. Когда я ей предлагал десятку, она и то колебалась, — сказал Игорь.

— Ты уже был у нее?

— А кто, по-твоему, разыскал эту нэцкэ? — с гордостью объявил Игорь.

Игорь сбил цену, а потом Костя забрал нэцкэ.

— Вам эта операция не кажется жульнической?

— Нисколько, — ответил Игорь, — что стоила эта нэцкэ старухе? Ничего! Валялась в доме фигурка, кто ее приобрел, когда, где, за сколько — никому не известно. Разве это результат ее труда, энергии? Прежде чем попасть на настоящую вещь, истинный коллекционер затратит месяцы, а то и годы на поиски, потеряет массу времени и денег. Ты хочешь, чтобы он к тому же покупал по высшей цене? Тогда проще пойти в антикварный и купить лучшие коллекции нэцкэ. Но это уже не будет коллекционированием, истинные собиратели так не поступают. Понял, Крош? А если понял, то закусывай. Пьешь, а не закусываешь.

Игорь напрасно беспокоился, коньяк на меня не действовал. Мой пищевод надежно смазан, я мог выпить еще столько же, пожалуйста! Прекрасное

харчо! Прекрасный шашлык! И при всех своих недостатках Костя — славный парень!

— Дернем еще по сто, — предложил я.

Игорь подмигнул Косте.

— Крош гуляет.

— Были бы у меня с собой деньги, я бы вам поставил по сто граммов.

— У Кроша широкая натура, — не унимался Игорь.

— Закусывай, — сказал Костя.

— Я сыт.

Непонятно, как отодвинутая мной тарелка задела фужер. Фужер стоял далеко в стороне... Фужер куда-то поехал, и скатерть куда-то поехала, Игорь с шашлыком поехал вслед за фужером, Костя вслед за скатертью... Вместо них появилась наша квартира, потом старуха, потом еще кто-то, потом была бездонная пустота, потом я снова увидел шашлычную, скатерть, Игоря и Костю с бокалом боржома в руках.

— Выпей!

Я выпил боржом, стало легче, только не хотелось ворочать языком. Что-то мутное подкатывало от живота к горлу, и тогда кружилась голова. Потом откатывало, и становилось легче. Все от харчо и шашлыка. Игорь прав: здесь ни черта не умеют готовить. Харчо надо подавать в горшочках, шашлык нужно жарить по-карски. Не от коньяка же у меня получилось, мой пищевод надежно смазан сливочным маслом. При воспоминании о масле у меня снова подкатило от живота к горлу.

— Сошел с тебя загар, — заметил Игорь.

Костя внимательно смотрел на меня, я ему, кажется, улыбнулся, потом он встал.

— Пошли!

Я попытался сопротивляться, я уже прекрасно себя чувствовал, хотелось только сидеть на одном месте. Но они доставили меня в туалет, где меня как будто вырвало.

Они сполоснули меня холодной водой, даже залили, черти, за воротник, мне стало холодно, захотелось под теплое одеяло, но в туалете теплого одеяла не было.

Мы вернулись в зал. стакан горячего чая с лимоном немного меня согрел, но все равно было мутно и противно. Никогда больше не буду есть харчо, не буду есть шашлык, черт бы их побрал!

— Не огорчайся, Крош, — снисходительно заметил Игорь, — я тоже так начинал.

— У меня не от коньяка вовсе.

— Вот именно, от боржома.

Костя спит на раскладушке в лоджии — крохотном, застекленном балконе. Над раскладушкой висят боксерские перчатки, скакалка, тренировочный костюм, на тумбочке — транзистор «Спидола» и газета «Советский спорт».

Костя спит здесь только летом, зимой он спит в комнате. Половину этой комнаты занимает библиотека: отец Кости конструктор, другую половину — рояль: сестра Кости учится в музыкальной школе при консерватории. Ей двенадцать лет, но она уже сочиняет музыку и упражняется на рояле по восемь часов в день. Упорная.

Прекрасная штука — лоджия. Ощущение — будто висишь в воздухе и видишь всю Москву. И это отдельное помещение. Я мечтаю иметь отдельное помещение. И заняться боксом тоже было бы неплохо.



— Знаешь, Костя, я бы с удовольствием занялся боксом. Просто для самообороны.

Костя промолчал.

— Многих вводит в заблуждение мой небольшой рост. На самом же деле я вовсе не слаб, только не знаю приемов. Я думал овладеть приемами самбо, но теперь вижу, что бокс лучше. В самбо надо входить в соприкосновение с противником, а в боксе стукнул раз и пошел дальше.

— Покажу тебя тренеру.

— Не поздно начинать в шестнадцать лет?

— В самый раз.

Черт возьми, а вдруг тренер найдет у меня данные и я стану настоящим боксером? Может быть, чемпионом среди юношей в своей весовой категории. Колоссально!

— Чем скорее ты покажешь меня тренеру, тем лучше.

— Хоть завтра.

Грубоватый он парень, но ничего, с ним можно дружить.

В лоджию вошел отец Кости. Сел на край кровати, погладил свое колено, посмотрел на нас и улыбнулся. А Костя смотрел в стену и на вопрос отца: «Как дела?» — холодно ответил:

— Ничего.

— Завтра будем испытывать малолитражку. Помучились с ней.

Костя молчал.

— Отличная будет машина, скорость — сто, расход бензина — четыре литра.

Мне стало неудобно: Костя демонстративно молчал.

— Каждый гражданин Советского Союза должен иметь автомобиль, — вмешался я в разговор. — В наш век автомобиль то же самое, что в прошлом веке велосипед. На Западе города задыхаются от избытка автомобилей, но у нас в стране места достаточно.

Отец Кости одобрительно кивал головой и поглаживал свое колено. Большое оно у него, что ли? А на вид здоровый мужчина — высокий, полный, добродушный.

— Ты как думаешь? — спросил он у Кости.

— Мне все равно.

Я поразился такому хамскому ответу. Я тоже бываю в ссоре со своим родителем, но если он дела-

ет первый шаг к примирению, то надо тоже быть человеком.

— Вы в ссоре? — спросил я у Кости, когда мы остались одни.

Костя ничего не ответил.

— Нет смысла ссориться с родителями: все равно приходится мириться.

Костя молчал.

— Твой отец работает на автозаводе?

— Да, — ответил он наконец.

— И мой.

Над раскладушкой висел шкафчик. Костя открыл его, и я увидел там маленькую фигурку.

— Нэцкэ?

— Нэцкэ.

— Покажи.

Мальчик-японец сидел на корточках, на его коленях лежала книга. Но мальчик смотрел не в книгу, а куда-то вдаль, уносился мыслью далеко-далеко. В его лице была такая ясность, чистота, мечтательность, такая радость и утверждение жизни, что просто было непонятно, какими средствами достиг этого художник. И я понял, что передо мной великое произведение искусства.

— Это и есть великий мастер Мива первый. «Мальчик с книгой», — сказал Костя.

— Тоже собираешь?

— Нет. Так одна завалилась. Об этой нэцке ничего не говори Везну. Даже не говори, что ты вообще ее когда-то видел.

— Ладно.

— Смотри!

— За кого ты меня принимаешь?!

6

Во дворе народ толпился у фонтана. Фонтан — центр архитектурного ансамбля нашего двора.

Его ремонтируют каждое лето, до осени, когда запустить фонтан уже бессмысленно. И все равно каждый пуск фонтана — крупное событие в жизни нашего дома. И, конечно, в толпе толкался Шмаков Петр. Мне кажется, что не Шмаков появляется во дворе в момент событий, а события появляются, когда Шмаков появляется.

При виде Шмакова мое настроение омрачилось: новая дружба с Костей вытеснила старую, проверенную временем и испытаниями, дружбу со Шмаковым.

А почему новая дружба должна мешать старой, проверенной временем и испытаниями? Разве мы не можем дружить втроем? Шмаков — прекрасный товарищ и тоже может заняться боксом, у него для этого все данные.

Шмаков обсуждал с пенсионером Богаткиным технические проблемы фонтана. Ничего в этом Шмаков не понимал, но здорово умел разговаривать с пенсионерами, находил с ними общий язык. А на меня пенсионеры поглядывают так, будто обдумывают, съездить мне по шее сейчас или немного погодя.

Я уловил момент, когда пенсионер Богаткин от-
вернулся.

— Слушай, Шмаков, хочешь заняться боксом?

— Зачем?

— Для самообороны.

— От кого обороняться?

— От того, кто нападает.

— Никто на меня не нападет.

— Сегодня я был в шашлычной, с Костей и Игорем, хватили по сто граммов.

— Спекулянты, шайка.

— Уж, во всяком случае, Костя не спекулянт, у него сестра в консерватории.

— Спекулировать можно не только в консерватории, но и в филармонии, — сказал Шмаков Петр. Я не придал значения словам Шмакова. Он не знает, что Костя и Игорь выполняют поручения Везна в интересах искусства. И когда я начинаю с кем-нибудь дружить, Шмаков об этом человеке отзывался скептически. Но его решительный отказ заняться боксом меня смутил: зря Шмаков отказываться не будет, у него есть практическая хватка. И нельзя не признать того факта, что боксом занимается далеко не большая часть человечества.

Дома папа и мама обсуждали поездку по Волге. На днях они уезжают пароходом по Оке, Волге и Каме. Без меня. Я уже два раза плавал — скучища смертная. Один раз еще куда ни шло, но в третий — извините! А папа с мамой любят. Ну и на здоровье!

Я взялся за энциклопедию. У нас их две. Одна — Брокгауз и Ефрон, другая — БСЭ, Большая Советская.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона издана в конце прошлого века. Несмотря на это, она содержит много интересных фактов. Любопытно узнавать, как люди смотрели на мир лет восемьдесят назад — иногда это выглядит довольно курьезно. И видишь, как далеко ушло вперед человечество.

«Бокс — род кулачной борьбы, состоящий в искусстве наносить противнику удары от головы до живота включительно... Состязания часто кончаются кровью и увечьями... Они прекращаются лишь тогда, когда один из соперников отделяет другого так, что последний становится неспособным к продолжению борьбы...»

Если отвлечься от наивного выражения отделает, то в самом определении мало заманчивого. Кровь, увечья, удары от головы до живота... Не обрадуешься! В живот еще куда ни шло, но если долбить человека по кумполу, он в конце концов обалдеет.

БСЭ — современная энциклопедия. Кое-что в ней наворочено в связи с культом личности. Но вряд ли влияние культа личности сказалось на статье о боксе.

«Бокс — вид спорта, кулачный бой... Цель боя — вывести противника из строя ударом в наиболее чувствительную часть тела... нокаутом... Нокаут сопровождается полубессознательным или бессознательным состоянием, наступающим чаще всего в результате удара в подбородок или в живот».

Это определение более научно. Но «удар в наиболее чувствительную часть тела... В подбородок или в живот... Бессознательное состояние...»

Приятно, конечно, стать чемпионом мира или Европы. Но если тебя заставят харкать кровью, будут лупцевать по животу, долбить по кумполу, повергнут в полубессознательное, а то и вовсе в бессознательное состояние, то лучше стать чемпионом по шашкам. Один наш парень стал чемпионом по настольному теннису, тоже все понимает.

Все же неудобно просто так отказаться. Вчера набивался, а сегодня откажусь. И, возможно, бокс не так страшен, как написано в энциклопедии. Я много раз видел бокс по телевизору и не замечал ни увечий, ни крови. Боксеры прыгали друг перед другом, нанося редкие и, по-видимому, не слишком болезненные удары перчаткой. И, может быть, тренер не захочет меня принять: не будет мест или у меня не

окажется данных. Допустим, слишком короткие руки, с короткими руками противника не достанешь, он тебя достанет.

По дороге на Цветной бульвар, где находится спортклуб, я сказал Косте:

— А вдруг не примут?

— Всех принимают.

— Никому не отказывают?

— Только тем, кто учится музыке.

— Почему?

— Могут повредить губы и пальцы. Ведь ты не играешь на саксофоне?

— На саксофоне я не играю... Но думал поступить в джаз ударником.

— И родители должны разрешить, — добавил Костя.

Я сразу успокоился. Если впутывают родителей, значит, возможны варианты.

Некоторое время мы ехали молча, потом я сказал:

— Все время думаю о нэцкэ, что мы купили у старухи. Как-то нехорошо получилось.

— Что нехорошо? — угрюмо спросил Костя.

— В сущности, мы ее обманули, старуху. Конечно, собирательство, риск и так далее... Но уж больно жалко старуху, живет, наверно, на пенсию. Ей бы эти деньги здоровогодились.

— Ты дурак или умный? — спросил Костя.

— То есть?

— В шашлычной за тебя платили? За красивые глаза? И помалкивай.

— Я эти деньги верну.

— Не задержи, — презрительно сказал Костя.

— И никаких ваших нэцкэ больше не желаю знать.

— Никто тебя и не просит.

Троллейбус остановился, и я сошел. Костя даже не посмотрел мне вслед. Ну и черт с ним! Шмаков прав: я попал в компанию спекулянтов. Мир искусства, черт бы их побрал! Собиратели, гении, пижоны несчастные, тунейдцы! Я им при случае выскажу все, что о них думаю. Надо быть принципиальным, принципиальность всегда побеждает, беспринципность проигрывает. Торгаши несчастные, перекупщики!

Домой идти не хотелось, и я зашел в магазин спортивных товаров. На дверях плакат: «Граждане покупатели, вас обслуживают ученики торговой школы». Правильнее было бы написать «ученицы». Почти все продавщицы в магазине — девушки, довольно хорошенькие.

Самая хорошенькая девушка — Зоя, из отдела спортивной обуви. Шмаков целыми днями торчит у ее прилавка, мешает людям примерять кеды. Шмаков убежден, что у него на Зою больше прав, чем у меня: она высокая, а Шмаков считает, что мне должны нравиться маленькие и худенькие. Если мы знакомимся с девушками, Шмаков сразу пристраивается к той, которая повыше. А мне, между прочим, тоже нравятся высокие девочки. Не такие дылды, как Нора, но, во всяком случае, не маленькие. Известно, что привлекают контрасты: брюнетам нравятся блондинки, толстым — худенькие, веселым — серьезные, высоким — маленькие, болтливым — молчаливые. Я много раз объяснял это Шмакову Петру. И вообще оттирать другого плечом — глупо.

Если говорить честно, то больше всех мне нравится Майка. Но Майка уехала на все лето, и перед

самым ее отъездом мы с ней здорово поспорили по поводу одной книги, забыл, как она называется, нескладно очень, я и не запомнил. И писателя не запомнил, неизвестный еще писатель. Неизвестный, а сразу написал книгу о неврастенике. В наш век много неврастеников, вот про одного и написал.

Майка возразила, что у него переходный возраст. А я сказал, что никакого переходного возраста не бывает. Например, один наш парень, Мишка Таранов, сын известного Таранова, написал как-то письмо. «Тому, кто захочет читать» — так озаглавил он свое письмо. Мишка писал, что его отец великий человек, а он, Мишка, ничтожество и не знает, стоит ли ему дальше жить. Развел муру на четырех страницах. Все сказали: переходный возраст, а я Мишке сказал: «Глупо сравнивать себя с отцом. Когда твою отцу было шестнадцать лет, возможно, он был еще большим хлюпиком, чем ты теперь». Эти слова на него здорово подействовали, он сразу переменился, теперь его не узнать. Раньше он даже в футбол не играл, а теперь лучше всех в школе танцует твист.

Майка возразила, что герой книги хочет уйти от суеты, хочет завести хижину в лесу и жить вдаль от людей. В ответ я сослался на Полекутина, самого высокого и сильного парня в нашем классе, мы его зовем Папаша. Он, как только схватит двойку, объявляет, что уйдет в пасечники, пчел будет разводить на пасеке. Я ничего против пасечников не имею, любая работа почетна, но к любой работе надо иметь призвание. Пасечник должен любить всяких там мошек и букашек, а у Папаши чисто технические наклонности. Я привел этот пример в доказательство того, что желание завести хижину в лесу может возникнуть у любого человека и равным счетом ничего не доказывает.

И еще девочкам нравится, когда в книге много блатных словечек. Они это называют «словесными находками». А я не люблю ругательства. Терпеть не могу, когда ругаются, особенно при женщинах и детях. Типу, который ругается при женщинах и детях, я стараюсь заехать в физиономию. В художественном произведении приходится иногда воспроизводить то или иное ругательство: литература отражает жизнь. Но и не следует забывать, что беллетристика — это беллетристика — красивое письмо. В нашем дворе иной раз услышишь такое... Но разве этот беллетристика я должен совать в книгу, которую сейчас пишу?!

Майка сказала, что герой книги — продукт капитализма. Может быть, не знаю. Но мне всегда подозрительно, когда человек оправдывается капитализмом. На сельскохозяйственной выставке один наш парень спер яблоко. На классном собрании этот тип встает и говорит: «Простите меня, братцы, не я виноват, родимые пятна капитализма виноваты». Видали! Откуда у него, спрашивается, родимые пятна капитализма в шестнадцать лет? Он капитализма в глаза не видел.

И еще я сказал Майке, что стэндалевского Жюльена Сореля не отдам за тысячу таких неврастеников. Майка возразила, что Жюльен Сорель — самый обыкновенный обольститель. Я ответил, что если женщина не хочет, чтобы ее обольстили, то никто ее не обольстит. Майка объявила, что я в этом мало разбираюсь. Я сказал, что разбираюсь побольше, чем она. И еще сказал, чтобы она не горячилась, а вспомнила бы последние минуты Жюльена Сореля...

«К счастью, в тот день, когда ему объявили, что пришло время умирать, яркое солнце озарило природу, и Жюльен был мужественно настроен...» Ну

что, все хорошо, — подумал он, — я нисколько не падаю духом...» Никогда еще его голова не была настроена так поэтически, как в ту минуту, когда ей предстояло упасть с плеч...

Майка сказала, что век сентиментальности давно прошел. Я ответил, что термином «сентиментальность» пользуются черствые и бессердечные люди. И в эту минуту я понял, что дружба с Майкой меня ни к чему не обязывает. Тем более, что еще до того, как мы поспорили с Майкой, мне уже нравилась продавщица Зоя из отдела спортивной обуви. Они мне нравились по-разному, Майка — по-интеллектуальному, Зоя — по-другому. А после того, как мы поссорились с Майкой, Зоя стала нравиться еще больше.

Только мешал Шмаков Петр. Не потому, что он оттирал меня плечом, я сам могу оттереть кого угодно. А потому, что Шмакову никто, кроме Зои, не нравился, значит, его чувство было глубже моего. И я не хотел мешать его глубокому чувству.

Сейчас Шмаков тоже стоял у прилавка, оттирал всех плечом и разговаривал с Зоей. На покупателей Зоя не обращала внимания. Надо войти и в ее положение: не очень-то приятно смотреть на чужие рваные носки. Есть субъекты, которые совсем не считаются с тем, что их обслуживает девушка. Конечно, всякая работа почетна. Но будь я директором магазина, я бы на продажу всего мужского ставил продавцов мужчин, на продажу женского — женщин.

— Ты что такой серьезный? — спросил меня Шмаков насмешливо. Так он обычно разговаривает со мной при девушках, хочет показать девушкам, что он взрослый, а я подросток. Остолоп. Терпеть не могу эти жлобские шутики. И я ответил:

— Шмаков, не будь остолопом.

Но если говорить честно, меня обрадовала встреча со Шмаковым. Шмаков действует больше плечами, чем головой, но он никогда не втраивал меня в спекуляции. И, как верный друг, предупредил, что Игорь и Костя — деляги. Но я ему не сказал, что он оказался прав, я знал, что он ответит: «А кого предупреждали?!»

Зоя стояла за прилавком — высокая полная девушка с пушистыми волосами. Когда она проходит по двору, слесари-водопроводчики смотрят ей вслед: так она им нравится. Красивая, ничего не скажешь. Шмаков Петр стоит как истукан и глаз с нее не сводит. А что такого?

Другое дело на катке... Что-то появляется в девочке новое, таинственное, волнующее, щеки покраснелись, глаза блестят. И когда катаешься с ней за руки или зашнуровываешь ботинки — чувствуешь себя мужчиной, тем более, что надо охранять ее от хулиганов. А Шмаков даже у прилавка стоит как истукан, с места его не сдвинешь. И я пошел по магазину один.

Я бродил по магазину, любовался новыми моторными лодками и думал о Везне. Он спросит, почему я не хочу больше иметь с ним дела. А я отвечу: не желаю участвовать в объегоривании старух. Не желаю.

Но, когда я явился к Везну, он спросил меня совсем о другом:

— Как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Я не сразу сообразил, о чем он спрашивает. Потом сообразил.

— Все прошло.

— Неудобно отстать от товарищей,— продолжал Везн.— Тебе простительно, Косте непростительно: спортсмен, боксер. Нельзя пить—значит, нельзя. Так ведь?

— Так.

А что я мог ответить? Боксеру действительно пить нельзя.

— Игорь сбивает Костю,— продолжал Везн,— странный парень, а мог бы, не лишен вкуса...

На Везне был вязаный джемпер и белая рубашка. Он был еще строен и спортивен для своих лет.

— Игорь торопится, суетится, поступает часто необдуманно. Вот эта нэцкэ,— Везн протянул руку к шкафу и снял с полки фигурку музыкантов, ту, что мы купили с Костей у старухи,— Игорь заверил, что нашел оригинал, оказалась копия. И Костя хорош! Я ему велел сначала оценить, он не послушался. Впрочем, каждый может ошибиться, так ведь?

— Так.

А что я мог ответить? Действительно, каждый может ошибиться.

— Потерю на этой афере пять рублей, а то и все десять. У тебя с собой паспорт?

— С собой.

— Попрошу тебя, сдай эту нэцкэ в антикварный. Дадут десять рублей—уже хорошо, могут дать и пять—все равно оставишь.

— Ладно.

— Потом съездишь с Костей в одно место.

— Хорошо.

— Понравился тебе Костя?

— Мы еще мало знакомы...

— Костя—славный мальчик, но у него сложный характер. Этому есть причины, со временем ты их узнаешь. А пока я бы хотел, чтобы вы подружились.

— Если он не против...

— Я думаю, ты способен расположить его к себе,—не спуская с меня пристального взгляда, продолжал Везн,—он кажется угрюмым, на самом деле у него доброе, отзывчивое сердце.

Что я мог сказать? Костя показался мне грубияном, но я могу и ошибиться. Я-то думал, что он надул старуху, а выходит, старуха надула его, уверяла, что это подлинник. Ужасно быть таким подозрительным. А все Шмаков—он внушил мне подозрительность.

— У Кости не родной отец, а отчим,—сказал Везн многозначительно.

Не у одного Кости отчим, ничего в этом особенного нет. Но теперь мне стала ясна холодность Кости в разговоре с отцом, то есть на самом деле отчимом.

— Костя этого не знает и не должен знать,—сказал Везн.

Это уже придавало делу некоторую таинственность. Но почему от Кости скрывают правду? Отец у человека тот, кто его воспитал.

— А зачем это скрывать?—сказал я.—Отец у человека тот, кто его воспитал.

— Отец Кости погиб при особенных обстоятельствах, Костю пришлось записать на отчима.

— Когда Костя узнает правду...

— Он ее никогда не узнает. Об этом знаю только я. Теперь знаешь и ты.

— За меня не беспокойтесь.

— Если ты подружишься с Костей, ты сделаешь доброе дело. «Спешите творить добро»—это сказал Гете. Ты знаешь Гете?

— Мы проходили «Фауста».

— В жизни Кости есть и другие сложности, со вре-

менем ты узнаешь. И я хочу, чтобы он был готов к своему будущему.

Его взгляд вдруг сделался таким задумчивым и печальным, что мне стало жаль и его и Костю, и было стыдно за то, что я подумал о них плохое.

9

В антикварном приемщик равнодушно повертел в руках фигурку музыкантов.

— Поставлю десять рублей.

— Хорошо,—согласился я, радуясь, что Везн теряет всего пятерку.

Я повернулся и увидел Костю.

— Везн сказал, что ты здесь. Поедем в мотель. О вчерашнем ни слова. Благородный парень все-таки.

Я смотрел теперь на Костю другими глазами. Разве не ужасно положение человека, не знающего, кто он такой? Я не допускал мысли, чтобы такое могли скрыть, например, от меня. Лучше знать, чем не знать, пусть даже самое плохое. Это как в драке: если закрываешь глаза, тебя наверняка отлупят. А от Кости скрывали. Я знал про него больше, чем он сам. И это давало мне над ним некоторое превосходство, позволяло быть снисходительным к его недостаткам. Но без заискивания! Сдержанностью показать, что я выше его грубостей.

В автобусе два старичка рыболова рассуждали о язвах. Один говорил, что лучше язва желудка, другой—что лучше язва двенадцатиперстной кишки. Бедняги, дожить до такого разговора! Хотя смешно...

Мотель стоит на пересечении Минского шоссе и кольцевой автострады. При нем станция обслуживания, бензоколонка и буфет.

По шоссе и автострате, вверх и вниз, в разные стороны, шли машины. Освещенное солнцем, все это выглядело живописно, как на картине. Мне понравилась эта оживленная сутолока. Рюкзаки, термосы, удочки, охотничьи ружья в чехлах, раскладушки, сложенные брезентовые палатки, чемоданы... Очень приятно, что вокруг Москвы выстроена такая красивая автострада. Я вообще за то, чтобы каждый гражданин Советского Союза имел собственный автомобиль. Автомобиль в наш век то же самое, что в прошлом велосипед...

Но когда я сказал об этом Косте, он посмотрел на меня, как на идиота.

— Ты уже об этом вчера распространялся...

Он вошел в мотель, а я остался его дожидаться. Сквозь широкие окна было видно, как Костя взял в буфете бутылку воды и сел за столик, где сидел человек, по виду иностранец.

Глазеть в окно было неудобно, и я прошелся по станции. Меня поразила камера для мойки машин. По ней медленно двигался автомобиль, его со всех сторон обмывали веерные души, обтирали большие мохнатые щетки. Двадцатый век! Но когда машина выехала из камеры, мойщица шлангом промыла ее снизу, сгибаясь при этом в три погибели, а потом обтерла машину собственным передником, ругая начальство за то, что не дают обтирочного материала... Это меня порядком удивило. Но потом я решил, что мотель—предприятие новое, переживает трудности и со временем все наладится.

К мотелю подошли старички рыболовы, рассуждавшие, какая язва лучше. Один пошел в буфет, второй остался его дожидаться, сложив рыболовные снасти на ступеньках.

В это время из буфета вышли два подвыпивших парня в клетчатых рубашках. Один ни с того ни с сего ударил ногой по ведру. Все покатилося, рассыпалось...

— Понаставили!

Старичок не слишком удачно расположил свое барахлишко. Но это не повод раскидывать его. Парни хохотали, глядя, как бедный старик ползает по земле, спасая рыболовную снасть, и приговаривали:

— С умом ставь, отец, чтобы люди ноги не ломали.

Тогда я спокойно сказал:

— Вы их нарочно толкнули.

— Что?! — заорал парень и с кулаками бросился на меня. И тут же полетел на землю. Это Костя выскочил из мотеля и нокаутировал хулигана. Второй хулиган бросился на Костю, но я подставил ему ножку, и он приложился об асфальт рядом с первым...

На скандал начали сбегаться люди... Проверещал милицейский свисток... Я хотел еще наподдать него-дям, но Костя схватил меня за руку.

— Бежим!

Мы промчались мимо заправочной станции, обогнули ремонтные помещения, пересекли лесок, выбежали на автостраду и вскочили в отходящий автобус.

Мы позорно бежали. А мы ни в чем не были виноваты. Виноваты были хулиганы, а сволочей надо учить. В таких ситуациях мы со Шмаковым Петром никогда не удираем, а Костя сбежал. Не от трусости: будь он трусом, он бы не нокаутировал хулигана. Видно, у него были причины не ввязываться в историю. Лицо у него было бесстрастно, как будто ничего не произошло. Но я поймал на себе его пристальный взгляд. Удивлен, наверно, тому, как я ловко подставил ножку.

Мы сошли с автобуса возле какой-то дачной платформы. У кассы висело объявление: ввиду ремонта пути следующий поезд пройдет в три с чем-то. Мы купили билеты, спустились с платформы и прилегли на травку. Лежать на травке в холодке довольно приятно. Я люблю железную дорогу, платформы, сверкающие на солнце рельсы, бесконечную вереницу черных, замасленных шпал, хотя именно с железной дорогой связано самое неприятное воспоминание моей жизни.

Это случилось года три назад. Я стоял на платформе. Поезд электрички дал гудок и отошел от станции. И вот когда со мной поравнялся последний вагон, из окна высовывается толстая морда и плюет прямо в меня. Эта хамская, наглая, ухмыляющаяся рожа до сих пор у меня перед глазами. Сознание, что мерзавец трусливо умчался на электричке, я никогда его не увижу, не смогу рассчитаться и его гнусность останется безнаказанной, было так невыносимо, так обидно и оскорбительно, что я чуть не заплакал. А я никогда не плачу: плакать унижительно. Я не плакал, даже когда был грудным ребенком — врачи велели меня бить: во время плача у ребенка развиваются легкие. И когда сукин сын из электрички оплевал меня, я не заплакал, а чуть не заплакал. Даже сейчас, через три года, у меня переворачивается сердце при воспоминании об этом, в груди клокочет ярость, я бы эту гнусную харю разорвал на части, главное, укатил на электричке. Ни с того ни с сего оплевал меня и укатил на электричке! С тех пор я стою на таком расстоянии от поезда, чтобы до меня не мог доплюнуть ни один болван, будь он хоть чемпионом мира по плевкам.

Костя лежал ничком на траве. Не поднимая головы, спросил:

— Ты зачем ввязался в историю?

— Стоять в стороне?!

— Накостыляли бы они тебе.

— Если будем стоять в стороне, хулиганы совсем распояшутся.

— Не пойму: дурак ты или умный?

— Если мы будем обзывать друг друга дураками...

— Зачем ты ходишь к Везну? — неожиданно спросил Костя.

— А ты зачем?

— Мне деньги нужны.

— Зачем тебе деньги?

— Для жилищного кооператива.

— У тебя квартиры нету?

— Это отчима квартира.

Я растерянно пробормотал:

— Ты разве знаешь, что у тебя отчим?

— Знаю.

— Кто-то мне говорил, что они скрывают от тебя.

— Да.

— Они скрывают от тебя, а ты от них? Зачем?

— Объявляю ему, что он мне не отец?

— Отец у человека тот, кто его воспитал. Разве обманывать друг друга лучше?

У Кости сделалось такое лицо, что мне стало как-то не по себе.

— А твоего мнения никто не спрашивает, понял?

— Понял.

А что я мог ответить? Ведь я бестактно вмешался в его личную жизнь.

— Вот и помолчи. — Костя лег опять ничком на траву.

Он сгрубил, а мне было его жаль. В сущности, он благородный парень, не хочет огорчать своих родителей, скрывает от них, что знает правду о своем родном отце. Замкнутый, грубый, но благородный человек, какой-то одинокий, чересчур «сам по себе», жертва собственного характера — вот кто он такой! Когда человек — жертва обстоятельств, тут уж ничего не поделаешь, обстоятельства могут быть черт знает какие, например, человек попал под машину и стал калекой, тут уж все — так калекой и останешься. Но жертва собственного характера? Неужели так трудно переменить характер? Поговорил бы откровенно с матерью, с отчимом, тайна перестала бы тяготеть над ними, исчезла бы надобность жить отдельно и собирать деньги на кооператив.

Костя вынул из кармана нэцкэ. Девочка с куклой. Выражение лица у девочки было такое, как будто она потеряла что-то очень дорогое. Это огорченное выражение было удивительно детским и точным.

Я кивнул в сторону мотеля.

— Там взял?

— Там.

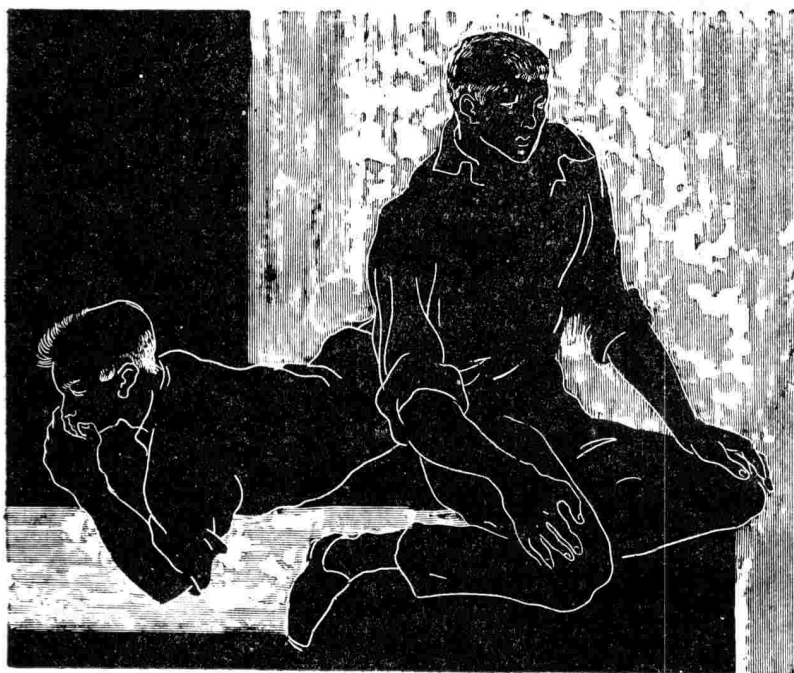
— Красивая вещь... Но почему все нэцкэ такие грустные?

— Тебе бы все веселиться, — сказал Костя.

10

Я люблю подъезжать к Москве, возвращаясь из дальней поездки, — какое-то меня охватывает особенное чувство. Когда я возвращаюсь из ближней поездки, меня охватывает такое же чувство.

Из окна вагона Москва кажется незнакомой, неподвижной, пытаешься разглядеть какую-нибудь



улицу, площадь, но нет ни улиц, ни площадей, одно бесформенное нагромождение зданий. Тем приятнее, выйдя из вокзала, сразу узнать и площадь и улицы, увидеть машины, спешащих людей, почувствовать движение и запахи Москвы. Ты уверен, что все изменилось, а на самом деле ничего не изменилось. Та же улица, и дома на ней, и магазины, и асфальт двора, ребятишки на песке, пустые ящики у задних дверей магазина спортивных товаров, фонтан и лифтерши у подъездов. Никто и не заметил твоего отсутствия, смотрят так, будто ты и не уезжал вовсе. Москва-громадина принимает тебя, как песчинку.

В магазине спортивных товаров был обеденный перерыв, продавщицы грелись на солнышке, пили ряженку — в нашем доме молочный магазин. Есть еще булочная и домовая кухня. Питаться можно.

Зоя из отдела спортивной обуви сидела возле подъезда и тоже пила ряженку. Я подсел. Странно, что нет Шмакова Петра. Во время обеденного перерыва он всегда околачивается во дворе. На этот раз его не было, и я уселся на скамейке возле Зои.

В магазине Зоя не улыбается, а во дворе улыбается. Улыбка сонная, глаза сонные, сама полная, медлительная. Только улыбка ее обращена ко всем без различия, и кое-кто может эту улыбку неправильно истолковать. Женщине надо хорошенько подумать, прежде чем улыбаться.

Продавщицы пили ряженку, дурачились, болтали с шоферами. У нас во дворе много шоферов. Тут же отираются слесари и монтеры с телефонной станции, пытаются заговорить с Зоей, хотя и видят, что я сижу рядом. Думают, что Зоя улыбается им, не понимают, что она просто так улыбается.

Откровенно говоря, я не знаю, о чем разгова-

ривать с Зоей. Шмаков Петр знает, а я нет. Шмаков может разговаривать с любой девчонкой. Но если потом вспомнить, о чем он разговаривал, то ничего не вспомнишь, междометия какие-то, совсем бессмысленные. А девчонки смеются и реагируют. Смысла никакого нет, а им нравится. Я стараюсь говорить со смыслом, и девчонкам это не нравится, они не смеются и не реагируют, таращат глаза, будто я несу бог весть какую чепуху.

Наконец мне пришла в голову счастливая мысль.

— Сколько стоит подвесной моторчик к лодке?

— Это не в моем отделе, — улыбаясь, ответила Зоя, — спроси у Светланы.

— Говорят, вы должны получить новые моторолеры?

— И это не в моем отделе, — улыбалась Зоя, — спроси у Раи.

Я просто не знал, о чем с ней говорить. Черт ее знает, чем она интересуется?!

— Где ты живешь?

— На Таганке, в Товарищеском переулке.

— Далеко.

— Далеко.

— Братя, сестры есть?

— Три брата.

— Старше, младше?

— Старше.

— Ты самая младшая?

— Младшая.

— Где они работают?

— На заводе «Серп и молот».

— У меня тоже есть брат, только двоюродный, живет в Касимове.

— Хорошо, — улыбнулась Зоя.

Во двор въехала «Волга» и остановилась у подъез-

да. Из нее вышел Везн в сером костюме, белой рубашке, спортивный, похожий на английского лорда, какими их рисуют на рекламных картинках американских автомобильных фирм. Машина его так и сияла на солнце. Появление Везна произвело сильное впечатление на продавщиц из магазина спортивных товаров.

Потом, анализируя свое поведение, я понял, что вел себя мелко, даже подловато. Но в ту минуту я этого не осознавал. Когда Везн вышел из машины и оказался в центре внимания, мне захотелось быть причастным к эффекту, который он произвел, к блеску его машины и общему лордскому виду. Такое мелкое и тщеславное чувство во мне шевельнулось. Захотелось порисоваться перед Зоей, похвастаться своим знакомством. И я по-приятельски кивнул головой Везну, улыбнулся, привет, мол, дружище, здорово!

— Ах, Крош, здравствуй!

Везн смотрел на Зою.

— Познакомьтесь, это Зоя.

Везн улыбнулся ей ослепительной улыбкой.

— Очень рад.

Помаяхал нам ручкой и скрылся в подъезде.

— Мой хороший знакомый, — сказал я небрежно, — искусствовед и антиквар.

— Интересный мужчина.

Эта реплика меня озадачила. Какой он для нее мужчина? Он ей в отцы годится.

— Красивый костюм.

Это — другое дело. Костюм действительно красивый. Женщины чувствительны к одежде, и замечание Зои вполне естественно.

— Хорошо иметь свою машину, — сказала Зоя, улыбаясь.

Я не успел изложить свои взгляды по вопросу о собственных машинах: обеденный перерыв в магазине кончился.

Вечером мне позвонил Игорь.

— Старик, едем завтра на машинах за город. Можешь взять свою девушку.

— Какую девушку?

— Зоиньку.

Он уже знает ее имя. Впрочем, Игорь тоже отирается в магазине спорттоваров.

— Она не моя девушка.

— Старик, будь мужчиной.

Конечно, я могу пригласить Зою. Но тайком от Шмакова Петра?..

— Я поеду один.

— Дело твое. По пятерке с носа.

— У меня нет пятерки.

— Старик, надо достать.

— Негде.

— Ладно, что-нибудь придумаем. Только с отдачей.

— Какой разговор!

Мы выехали на двух машинах — на «Волге» Везна и на «Москвиче» Игоря, вернее, брата Игоря. И хотя каждый раз Игорь делает вид, что это его машина, я знаю, скольких унижений ему стоит ее выпросить.

На «Волге» ехали Везн, Нора, я и Зоя. На «Москвиче» — Игорь, Костя, Светлана и Рая — подружки Зои, тоже девушки из магазина спортивных товаров. Девушек пригласил Игорь.

— Старик, по спецзаказу, — подмигнул он мне.

Сначала я растерялся, увидев Зою, потом обрадо-

вался. Если бы я сам ее пригласил, то совершил бы предательство по отношению к Шмакову Петру, а раз оказался с ней в компании случайно, то не совершил. Тут уж кому как повезет. И без девушки я бы в этой компании имел глупый вид.

Мы взяли с собой массу вещей: палатку, спальные мешки, надувные подушки, газовую плитку с баллончиками, термосы с кофе и чаем, шампуры для жарения шашлыка и сами шашлыки-полуфабрикаты в громадной кастрюле, залитые уксусом и обложенные кружками лука. Набили машины так, что нам с Зоей пришлось сидеть, прижавшись друг к другу. И Зоя не отодвигалась от меня, иногда поворачивалась, смотрела прямо в глаза и молча улыбалась.

О Шмакове Петре я не думал. При чем тут Шмаков Петр? Отираться у прилавка может всякий, это еще ничего не доказывает. Если бы он нравился Зое, она бы с нами не поехала. Она знает не хочет никакого Шмакова Петра, даже не думает о нем. Я положил свою руку рядом с ее рукой, и она не забрала своей руки, дожидаясь, когда я возьму ее руку в свою, такая у нее была покорная, мягкая рука. И при мысли о том, что я могу пожать ее руку, могу даже поцеловать ее и она это позволит, меня охватило такое победное, торжествующее чувство, какого я еще никогда в жизни не испытывал... Никому не позволит, а мне позволит, только мне одному... Я гордился и упивался этим, все во мне ликовало, я представлял себе темный лес, мы стоим с Зоей под деревом, никого нет, и мы одни...

Когда Зоя оборачивалась ко мне и улыбалась, мне казалось, что она думает о том же, о чем думаю я. И хотя из-за свертков и пакетов мне было не слишком удобно сидеть, я боялся пошевелиться, чтобы Зоя не подумала, что я отодвигаюсь от нее.

Нора сидела рядом с Везном, как герцогиня, презирала и меня, и Зою, и вообще всех на свете.

Мы промчались по Минскому шоссе, мимо мотеля, где позавчера были с Костей, и свернули на Звенигородское шоссе, когда уже смеркалось. Проложенная в просеке узкая асфальтовая дорога то опускалась в глубокие долины, то круто поднималась в гору. Кругом был сплошной, непроходимый лес, гигантскими волнами он тоже то опускался вниз, то поднимался к горизонту.

— Подмосковные Альпы, — сказал Везн.

Места, по которым мы ехали, действительно были очень красивы. Но похожи ли они на Альпы, не знаю, я в Альпах не был. При слове «Альпы» я вижу ночь, огоньки фонарей в руках монахов и громадных сенбернаров, разрывающих лапами снег, под которым лежит замерзающий путник.

II

Я помогал Косте натягивать палатку, Рая и Светлана собирали хворост, Игорь налаживал магнитофон, Везн и Зоя готовили шашлыки. Нора сидела на пенечке и злилась на Зою за то, что та помогает Везну жарить шашлык. И напрасно злилась: кто-то должен помогать Везну, неудобно не работать, когда пожилой и солидный дядя, да еще в фартуке, сам жарит шашлык.

Мы с Костей перетаскивали в палатки спальные мешки, одеяла и подушки. Обе палатки были малы, каждая, самое большее, на два человека. В них будем спать мы, а девочки будут спать в машинах, на откидных сиденьях.

Рая и Светлана старательно таскали хворост. Эти худенькие, молчаливые девочки держались так, будто попали не на обыкновенный пикник, а на какой-то прием, будто мы здесь наивысшие интеллектуалы, какие-нибудь народные артисты или заслуженные деятели. На Везна они не смели поднять глаз, так он их подавлял своей респектабельностью. Возможно, он напоминал им какого-нибудь их начальника.

Зоя раздавала еду, намазывала бутерброды и все такое прочее. У нее это очень мило и естественно получалось, всем было приятно, даже Везн говорил ей «Зейнька». И только Нора дулась на нее и на всех.

— Первый бокал за наше небольшое, но сплоченное, а потому могучее содружество, — объявил Везн. Мы выпили и закусили.

— Второй — за то, чтобы всем было весело и уютно.

Мы опять выпили и опять закусили.

— Третий — за наших милых девушек!

И Везн чокнулся с Зоей. Она сидела рядом, и он с ней чокнулся.

Освещенные луной, сидящие вокруг пылающего костра, окруженные неподвижным лесом, отрывающие зубами кусочки мяса от горячих шампуров, мы были, наверно, похожи на вурдалаков.

— Вот так наши далекие предки жарили и ели у костра мясо, — сказал Везн.

Светлана и Рая слушали его благоговейно. Но шашлык они рубали будь здоров! Крепкие девочки!

— Выпьем за нашу восьмерку! — сказал Везн. — Веди нас восемь?

— Восемь, — услужливо подтвердил Игорь.

Везн поднял вверх шампур с шашлыком.

— Пока мы независимы, пока мы вместе, пока мы верны и преданны друг другу, нам ничто не страшно и мы всего добьемся.

— Девочки, я сниму вас в кино. — Игорь обнял за плечи Светлану и Раю. — Посмотрите на их фигурки! Лоллобриджиды!

— Ты уже режиссер-постановщик? — спросил я.

— Суть в том, что Игорь хочет им помочь, — заметил Везн. — Это доброе намерение я и ценю в Игоре. В этом мире надо пробиться. Надгробные речи — слабое утешение для тех, кто прозябал при жизни. Д'Артаньяна я предпочитаю всем великим деятелям прошлого, настоящего и будущего. Итак, за д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса!

И выпил. Вначале следил, чтобы пили все, а теперь пил сам по себе. И все время упирает на «Трех мушкетеров». Он больше ничего не читал? А ведь производит впечатление начитанного, культурного человека.

Но свою тираду Везн произнес довольно прочувствованно. Она всех тронула. Может быть, потому, что все были на взводе. И хотя я пил только «Мукузани», оно на меня тоже немного подействовало.

— Танцуем! — объявил Игорь и запустил магнитофон.

Светлана и Рая встали, как по команде, и начали откалывать твист. Здорово они его откалывали, ничего не скажешь, только чересчур серьезно, уж слишком старательно трудились. Игоря сменил Костя, Костю — я, потом опять Игорь, а Светлана и Рая танцевали как заведенные. И фигуры выделяли дай бог! Костя тоже выделял фигуры. А Игорь танцевал на одном месте, небрежно, с сигаретой во рту. Я тоже танцевал спокойно: такой танец, выдохнешься в пять минут.

— Пресли — певец номер один, — сказал Игорь.

— Если бы Поль Анка не попал в автомобильную

катастрофу, то твой Пресли был бы ничем, — возразил Костя.

Но Игорь настаивал на своем: Пресли — певец номер один, Брубек — пианист номер один, Армстронг — труба номер один.

Костя сказал, что пианист номер один не Брубек, а некий слепой негр-импровизатор, он каждый раз импровизирует заново, не может записывать свои импровизации потому, что слепой.

Костя запустил ленту с этим самым слепым негром. Это была настоящая музыка, не какие-то там буги-вуги. Он играл «Караван» Дюка Эллингтона, и я с первых же звуков понял, что перед нами действительно великий пианист... Пустыня, покачиваясь, вышагивает верблюды, рядом погонщики в белых тюрбанах... Сразу после первых тактов пошли потрясающие импровизации, тема каравана проступала в них едва-едва, надо было обладать тончайшим слухом, чтобы ее уловить. Я, конечно, не уловил, и Игорь не уловил, а Костя уловил и стал напевать ее. И тогда мы тоже ее услышали сквозь бурные, многозвучные импровизации. Я удивился музыкальным способностям Кости. Впрочем, ничего в этом удивительного нет: его младшая сестра уже сочиняет музыку — музыкально одаренная семья. Это много прибавляло к интеллектуальному облику Кости. И ведь никогда не хвастался своими музыкальными способностями, даже не обнаруживал их. А когда дошло до дела, то обнаружил.

Игорь признал, что слепой негр играет здорово, но ему лично Брубек нравится больше. И если угодно знать, то первый пианист-модернист — это наш Толя Морковкин, только ему негде развернуться. Но основа джаза — труба, и первая труба мира — Луи Армстронг. Что там ни говори, старик Армстронг — первая труба мира. А может быть, он и первый джазовый певец мира. «Великий простреленный тенор» — так с восторгом отзывался о нем Игорь.

Когда я слушаю джаз, мне кажется, что я все могу. Мне нравится музыка ритмичная, ударная, бравурная. Слова меня не интересуют. Да и какие нужны слова в джазовой песенке? «Я люблю тебя, ты любишь меня, мы танцуем вдвоем» — вот и все слова. И цыганская музыка нравится. Одни «Очи черные» чего стоят, Луи Армстронг — и тот их поет. А ведь цыганская музыка — наша. Все модернисты дуют наши мелодии. Я уже не говорю о русских эмигрантах... Странно только, что они поют с иностранным акцентом. Забыли родной язык? Или это поют их потомки?..

Лента кончилась. Мы устроили небольшую передышку. И тут я увидел, что Везна и Зои на полянке нет. И спросил, где они.

— Ушли за водой, — ответил Игорь.

Нора, усмехаясь, добавила:

— Упустил девочку...

А что особенного в том, что они пошли за водой, подумал я. Наберут воды и придут. Отвратительная штука ревность, ослепляет человека вчистую.

Только я это подумал, появились Везн и Зоя с чайниками и кастрюлями в руках. Я насмешливо посмотрел на Нору — у нее было все то же злое и сумрачное лицо.

Мы снова раздули костер, стали греть воду, мыть посуду. Но Зоя больше не улыбалась. Только один раз, когда Везн что-то ей сказал, на ее лице мелькнула улыбка, но смущенная, задумчивая, робкая. Мне сделалось тоскливо. Неужели Везн вздумал ухаживать за ней?

Сразу пропало победное, торжествующее чувство, владевшее мной, когда мы сидели рядом с Зо-

ей в машине. Тогда я знал, что могу, имею право пожать Зое руку, поцеловать ее и она позволит мне это, только мне одному, я гордился и упивался этим, все во мне тогда ликовало. Теперь во мне ничто не ликовало, было тоскливо и гадко на душе, что-то сломалось, ушло, рухнуло... Позволила Зоя Везну ухаживать или не позволила — не имеет значения: она дала повод. Майка бы не дала повода. А Зоя дала повод.

Может быть, когда мы ехали с Зоей в машине, ничего и не было. Может быть, мне показалось, что она прижимается ко мне? Может быть, это свертки и кульки ее прижимали? Ведь был уже со мной подобный случай. Этой зимой... Мы читали с одной девчонкой «Историю СССР». В читальне был только один экземпляр, мы взяли его на двоих, сели рядом и стали читать. И вдруг мне показалось, что она нарочно села так близко ко мне. Я просто окаменел, не видел ни одной строки в книге. Я не решился повернуть к ней голову, если я повернул бы к ней голову, мне пришлось бы ее поцеловать, глупо просто так поворачиваться. А я еще никогда не целовал девочек. И после поцелуя я должен буду ей что-то сказать, а что сказать? «Я тебя люблю»? Но ведь я ее не любил вовсе. Так и сидел как истукан, а она вдруг спрашивает: «Ты дочитал?» Я даже поперхнулся, честное слово, ничего не мог сказать, только наклонил голову: да, прочитал, мол. Она спокойно перевернула страницу и стала читать дальше... Кончилось это тем, что я схватил двойку по истории. Если бы я хоть ее поцеловал, не так было бы обидно. Схватил двойку ни за что ни про что.

Может быть, сейчас происходит то же самое? Мне только кажется, что я нравлюсь Зое?.. И все равно было противно и мутно на душе. А когда я подумал о Шмакове Петре, сделалось еще мутнее. Везн совершил подлость по отношению ко мне, но я совершил подлость по отношению к Шмакову Петру. Он любит Зою больше, чем я, у него настоящая любовь, а у меня только увлечение, а я стал за ней ухаживать и познакомил с Везном. И если Зоя безвозвратно пропадет для Шмакова, то в этом буду виноват я, его лучший друг.

Надо во что бы то ни стало увезти отсюда Зою. Привезу ее в Москву, все честно расскажу Шмакову Петру, пусть сам с нею управляет. Ведь я не приглашал ее на пикник, даже отказался ее пригласить. А о том, что я думал, сидя рядом с ней в машине, никто не узнает и Зоя тоже никогда не узнает.

Но как увезти Зою? И куда мы пойдем? Выйти на шоссе я смогу, а дальше? Где станция — направо или налево? И есть ли здесь поблизости станция? И как уговорить Зою уехать? Вдруг она откажется? Предложить ей прогуляться, сбиться с пути и уйти в сторону? Здесь не тайга, попадем на какую-нибудь дорогу. Единственное, что нам может помешать, — это звуки магнитофона.

Я подсел к магнитофону. Дорогая штука, конечно, но судьба человека дороже. Меняя ленту, я просунул палец под диск и оборвал проводок.

— Крош, долго будешь ковыряться? — крикнул Игорь.

— Сейчас, — ответил я, обрывая второй проводок. Потом нажал кнопки — магнитофон не работал.

— Аппарат не работает! — объявил я.

Игорь оттолкнул меня от магнитофона.

— Не умеешь — не берись!

Он начал возиться с кнопками, а я подошел к Зое.

— Зоя, на минуточку.

Зоя поднялась и пошла за мной.

Мы шли по тропинке. Я хотел уйти так далеко, чтобы не было слышно голосов нашей компании.

— Куда ты меня ведешь?

— Тут... поляночка красивая... Я тебе ее покажу.

Мой глупый ответ, по-видимому, удовлетворил Зою.

Голоса уже не были слышны. Кругом стоял темный, неподвижный лес, похрустывали под ногами сухие ветки. Я свернул на другую тропинку, с нее — на третью. Возможно, это не были тропинки, в темноте ничего было не разобрать, но ветви деревьев не слишком хлестали по лицу, значит, не самая чаща. Мы шли в сторону, противоположную той, откуда приехали, и забирали вправо — я рассчитывал сделать круг, обойти наших стороной и выйти на дорогу, по которой мы сюда ехали. А там или попадется попутная машина, или шоссе приведет нас к какому-нибудь жилью.

Мы вышли на широкую просеку. Можно остановиться. Мы присели на поваленное дерево.

— Ну?! — улыбнулась Зоя. Но не своей обычной улыбкой, а так, как улыбается уже взрослая девушка еще мальчику — чуть насмешливо, немного поощрительно, с примесью любопытства и с оттенком сомнения.

Я хорошо знаю эту улыбочку, черт бы ее побрал! Месяца два назад на меня с такой улыбочкой поглядывала Елизавета Степановна, дамочка из нашего подъезда. Я даже старался почаще попадаться ей на глаза, сидел во дворе и ждал, когда она выйдет, чтобы увидеть эту предназначенную мне улыбку. Но Елизавета Степановна вдруг перестала улыбаться. Перестала, и все. Даже не смотрела в мою сторону... Как-то раз мы стояли со Шмаковым Петром в воротах, Елизавета Степановна проходила мимо и опять улыбнулась. Я было обрадовался, а когда разобрался, то увидел, что эта улыбка предназначалась не мне, а Шмакову Петру. Я даже терзался некоторое время, завидовал Шмакову Петру — он ходил с победным видом, напускал туману и многозначительности. А потом Елизавета Степановна и ему перестала улыбаться и стала улыбаться Васье Полянскому.

Все это было давно, месяца два назад. А сейчас мы сидели с Зоей на поваленном дереве, и Зоя улыбалась мне так же, как Елизавета Степановна, — чуть насмешливо, немного поощрительно, с примесью любопытства и оттенком сомнения. Но я хорошо знал цену этим улыбочкам. И, кроме того, твердо решил спасти Зою для Шмакова Петра.

— Как тебе нравится наша компания? — спросил я довольно сухо.

— Игорь смешной.

— А Нора?

— Красивая.

— А Костя?

— И Костя нравится.

— А Везн?

— Кто это Везн?

— Владимир Николаевич.

— Нравится.

— Так ведь он старик, ему, может быть, сорок лет.

— Он самостоятельный.

— А Шмаков Петр?

— Петя тоже самостоятельный.

Окосеешь от такой логики! Что она вкладывает в слово «самостоятельный»?

— А я самостоятельный?

— Ты славный мальчик.

Спасибо! Они самостоятельные, а я славный мальчик, спасибо!

— А если я тебя поцелую?

— Тебе хочется? — спросила Зоя, улыбаясь.

Этот вопрос меня озадачил, я не знал, что ей ответить. Она сидела рядом со мной, в свете луны ее лицо казалось особенно милым и красивым, я ужасно волновался, мне страшно хотелось ее поцеловать. Но если говорить правду, то я еще ни разу не целовал девочек. В разных дурацких фантах целовал, а по-настоящему — нет. У меня перехватило горло, и я едва сумел выговорить:

— Да.

Она улыбнулась, чуть наклонилась, и я поцеловал ее в щеку. Зоя тихонько засмеялась, передернула плечиками и прислонилась ко мне. Ее волосы касались моего лица, они пахли чем-то приятным и волнующим. Мне хотелось поцеловать Зою еще раз, но я боялся потревожить ее — так ей было тепло и удобно сидеть.

Потом она тряхнула головой.

— Пойдем, миленький, а то неудобно.

После того как я поцеловал Зою, мне уже не было смысла спасать ее для Шмакова Петра. И можно спокойно возвращаться назад — уже нет причин всю ночь таскаться по лесу. Но найду ли я дорогу? Дернул меня черт сломать магнитофон! Мы бы ориентировались по его звукам.

Мы пошли. Я впереди, Зоя за мной. Смелая девчонка! Не боится идти ночью по лесу.

Я старался идти так, чтобы ветви деревьев поменьше хлестали по лицу. Иногда мы останавливались, прислушивались, но никаких голосов не слышали.

— Мы правильно идем? — спросила Зоя.

— А черт его знает!

Зачем скрывать правду, раз она такая отважная девчонка.

— Давай поукаем, — предложила она.

Мы долго аукали, но никто нам не ответил. Нам ничего не оставалось, как брести вперед, авось, куда-нибудь выйдем. Лично я могу спать под любым



деревом, но Зое не слишком приятно таскаться по лесу в ста километрах от Москвы.

Зоя объявила, что устала.

— Пройдем еще немного, я чувствую, что дорога близко.

И действительно, мы прошли шагов сто или двести — лес кончился, и мы увидели высокий берег и блестящую под луной реку.

Теперь я был спокоен. Река — транспортная артерия, куда-нибудь нас выведет, тем более, она впадает в Москву-реку, значит, двигаясь вниз по течению, мы приближаемся к Москве.

Мы немного посидели. Я хотел снова поцеловать Зою, но у нее был усталый вид, ей было не до поцелуев, и мне было неудобно соваться с таким делом.

Мы пошли краем леса. Тропинка извивалась между деревьев, то поднимаясь по кособоку, то опускаясь к берегу. Вдруг мы услышали плеск воды, смех

и увидели купающихся людей. Я здорово удивился, обнаружив, что купаются наши.

Я думал, что наш приход произведет большое впечатление, но ребята не обратили на нас внимания. Только Везн скользнул по мне особенным взглядом. Еще только рассветало, все было окутано предутренней дымкой, и я не могу отчетливо сказать, что это был за взгляд, я не столько заметил, сколько почувствовал его, такой мгновенный, колющий и вместе с тем жалкий и обреченный взгляд.

Мы сходили с Зоей к машинам, она взяла купальник, я — плавки. Купаться ночью, под луной замечательно: вода теплая, темная перспектива реки таинственна, кажется, что все купаются далеко от тебя, и странно слышать их голоса совсем рядом. Зоя не кидалась в воду с размаху, как Нора, а вошла робко, осторожно, потом падала, плескалась и улыбалась мне. Я вспоминал, как поцеловал ее в щеку, и был счастлив.

Вернувшись к машинам, мы написали горячего кофе из термоса и закусили бутербродами. Говорят, что кофе бодрит, а нам захотелось спать. Мы проспали до двух часов дня и встали усталые, помятые, у Везна на щеках выступила щетина, редкие волосы на голове свалились, под глазами желтели мешки. Мы дорубали остатки еды и решили вернуться в город. Девочкам завтра с утра на работу, и никому не хотелось еще ночь мучиться в палатках.

Мы собрали вещи, сломанный магнитофон, сели в машины и вернулись в Москву еще засветло.

13

Я любил Зою и знал, что она любит меня. Я вспоминал поцелуй, запах ее волос, тепло ее плеча, меня охватывало волнение, и я был счастлив. Мысль о ней не покидала меня ни на минуту. И я с нетерпением поглядывал на часы, ожидая, когда наконец стрелки покажут одиннадцать, откроется спортмагазин и я сумею повидать Зою.

А пока я валялся в постели, просматривал газету — каникулы как-никак. Внизу, во дворе, грохотали бутылки: привезли молоко. Молочная работает с восьми, не то что спортивный. И если бы Зоя работала в молочной, она кончала бы в пять, весь вечер был бы в нашем распоряжении. Стояла бы у прилавка в белом халате, кружевной наkolке и отпускала бы хозяйкам кефир и все такое прочее. Возле нее не отирались бы пажоны, которые делают вид, будто интересуются спортивными товарами, а сами только глазенют на продавщицу и пытаются с ними познакомиться: в молочной у прилавка не постоишь, сыры особенно разглядывать нечего, там не потолкаешься, магазин самообслуживания — покажи, с чем пришел и с чем вышел. Правда, в молочной можно потолстеть: рубают, наверно, калории с утра до вечера, — а Зоя и без того довольно полная.

За завтраком мама инструктировала меня. После завтра они с папой уезжают.

Я должен открывать дверь только через цепочку, следить за газом в кухне, закрывать кран в ванной, гасить свет, покупая кефир, сдавать бутылку, переходить улицы в положенных местах, тратить деньги равномерно, вести себя хорошо.

И не должен: поздно приходить домой, терять ключи, переходить улицу в неположенных местах, есть много мороженого, ломать телевизор, тратить все деньги сразу, вести себя плохо.

Когда было покончено с завтраком и с инструкциями, я отправился в магазин спортивных товаров.

Зоя стояла за прилавком. У меня сердце забилось, когда я ее увидел. Она тоже обрадовалась, увидев меня, улыбнулась, и в ее улыбке было воспоминание о том, как мы сидели с ней ночью в лесу.

Светлана и Рая в своих синих форменных платьях выглядели совсем не такими красивыми, как на пикнике, они были из тех девушек, которые красивы, когда идут в театр или в фотоателье. А Зоя была красивой всегда, было в ней что-то особенное, только мне принадлежащее, ради нее я был готов на все, готов был отдать за нее жизнь. Мне хотелось оберегать, охранять ее, я задыхался от ненависти к кому-то неизвестному, кто может обидеть ее, готов был растерзать его на части.

Но никто Зою не обижал.

Я немного волновался при мысли, что встречу здесь Шмакова Петра. Объяснение с ним было бы не из приятных: не так уж весело огорчать своего лучшего друга. Как там ни говори, я перешел дорогу Шмакову Петру, увел у него девушку. Зоя сама хотела, чтобы я ее увел, но Шмакову от этого не легче. Последнее время я как-то вообще забросил Шмакова Петра, а тут еще увел у него девушку. И разве толкуешь ему, что тут нет никакой моей вины?!

К счастью, Шмакова Петра в магазине не было.

Но я опять не знал, о чем говорить с Зоей. Я спросил, как она себя чувствует после пикника. Хорошо. Не опоздала ли на работу?.. Нет, не опоздала... О чем еще спросить?

Рассказать анекдот, что ли? Я знаю смешные анекдоты, но девчонкам они почему-то не кажутся смешными. Все же я рассказал Зое анекдот о двух английских лордах, поспоривших, чей слуга глупее. Первый лорд велел своему слуге купить автомобиль за один пенс, второй велел слуге поехать в клуб и передать ему, лорду, что он, лорд, сидит дома. Ни слова не возразив, слуги отправились выполнять приказания, из чего лорды заключили, что слуги круглые идиоты. Однако слуги, встретившись на лестнице, объявили идиотами своих хозяев.

«Велел мне купить автомобиль за один пенс, — сказал первый слуга, — а того не знает, что вечером все магазины закрыты. Идиот!»

«Послал меня в клуб к самому себе, — сказал второй, — как будто не мог поднять трубку и позвонить по телефону. Идиот!»

Смешной анекдот, правда? И Зоя смеялась. Но смеялась она, оказывается, тому, что один лорд хотел купить автомобиль за пенс, то есть за копейку, а второй послал к самому себе. Именно это показало ей смешным. А ведь самое смешное — это разговор слуг, ведь они-то действительно оказались идиотами. Но это до Зою не дошло, смысла анекдота она не уловила. Возможно, потому, что ее все время отвлекали покупатели. А может быть, я плохо рассказывал. Иной человек расскажет анекдот так, что обхохочешься, а другой — так, что выть захочется от тоски.

Я хотел рассказать ей еще один анекдот, тоже про английских лордов, но Зою позвали на склад принимать товар. И, когда она ушла, я сообразил, что следовало пригласить ее сегодня в кино. Впрочем, приглашу послезавтра, когда папа с мамой уедут. Будем каждый вечер ходить с Зоей в кино, а в выходной ездить на пляж.

Я вернулся домой и взял энциклопедию на букву «Д» — дактилоскопия. В Брокгаузе и Ефроне этого слова не было. Восемьдесят лет назад такой науки не существовало, люди еще не знали, что можно



пользоваться отпечатками пальцев. Очень хорошо. Чем моложе наука, тем больше в ней возможностей для открытий.

Слово «дактилоскопия» я нашел в Большой Советской Энциклопедии...

«Дактилоскопия (от греческого дактило — палец, скопия — смотрю)... установление личности человека по кожным узорам... пальцев... На каждом пальце каждого человека узор различен, и... узор не изменяется в течение всей жизни человека». По этим узорам «устанавливают личность задержанных преступников, скрывающих свое имя и прошлое... Если...».

...Если с этой личности раньше был снят и зарегистрирован отпечаток пальцев. Только в этом случае его можно сличить с тем, который остался на той или иной вещи...

Значит, если и удастся обнаружить на древнем предмете отпечаток пальцев, то как я узнаю, кому этот отпечаток принадлежит. Если нэцкэ держали в руках Бальзак, Наполеон или братья Гонкуры, то как доказать, что это именно их отпечатки. Ни с Бальзака, ни с Наполеона при жизни не снимали отпечатков пальцев.

Так лопнула моя очередная фантазия, продиктованная мелким тщеславием. Стыдно сознаться, но до сих пор я еще иногда воображаю себя то усмирителем дикой лошади или сбежавшего из зоопарка льва, то знаменитым джазовым певцом или ударником, футболистом, гимнастом или хоккеистом — достаточно мне посмотреть по телевизору соответствующую передачу.

А вот если бы я стал собирать нэцкэ, то делал бы это не из тщеславия, а ради их самих, мне было бы приятно собирать эти фигурки просто так. Они мне нравятся сами по себе, без всякого тщеславия. С каждой нэцкэ связана легенда, сказание или притча (одну из них я поместил в виде эпиграфа в начале повести), они очень привлекательны и поэтичны.

И так как я собираюсь стать писателем, то они бы мнегодились.

Впрочем, намерение стать писателем тоже тщеславно. Хорошо, что мои размышления прервал своим звонком Игорь и сказал, что Везн просит меня зайти к нему.

14

Везн встретил меня не так радушно, как обычно, я это почувствовал по его спине. У меня поразительное чутье на эти холодные, враждебные спины. Такая спина у нашего школьного учителя математики, широкая, равнодушная спина. Когда у меня не приготовлен урок и я с волнением дожидаюсь звонка, я по его спине всегда точно знаю, спросит он меня или нет. Если урок не приготовлен, — обязательно спросит.

Некоторое время Везн молча рассматривал бумаги на столе, я молча рассматривал его недружелюбную спину. Потом он сел и минуты две, сощурившись, смотрел на меня так, будто я перед ним провинился. Я ни в чем не провинился, я это хорошо знаю, и вместе с тем мне было не по себе, будто я действительно провинился. Я всегда попадаю в истории, черт бы их побрал! Ничего не делаю такого, чтобы попадать, а попадаю. Другие отходят в сторону, а я попадаю. И сейчас у меня тоже было ощущение, что я влип.

— Почему ты не сдержал своего слова? — спросил Везн.

- Какого слова?
- Ты рассказал Косте про его отчима.
- Что вы! Он мне сам сказал, что у него отчим.
- А ты сказал, что знаешь об этом. Зачем?
- К слову пришлось. И раз он уже знает, зачем мне притворяться, что я не знаю.



— Костя выпытывал у тебя, а ты сразу признался. И он понял, что ты узнал от меня: никто, кроме меня, этого не знает. Нехорошо.

Неужели Костя у меня выпытывал? Подло с его стороны! Этого я ему никогда не прощу. Недаром меня тогда так поразила его откровенность. А я думал, он простой, честный парень. И Везн опять прав, он всегда прав, черт бы его побрал с его секретами!

— Ладно,— сказал Везн уже более мягко,— забудем об этом: ты ничего не говорил Косте, я ничего не говорил тебе. Или ты опять передашь ему наш разговор?

— Что вы!

— Я прошу тебя быть сдержанным. Для твоей же пользы.

Я почувствовал в его словах скрытую угрозу.

— Ребенок — и тот ответствен за свои поступки. Мужчина тем более.

Возразить было нечего. Мужчина ответствен за свои поступки.

— Итак, с этим кончено.— Везн протянул мне руку и улыбнулся дружески, как улыбался раньше.

Потом он снял с полки нэцкэ...

Я даже рот раскрыл от удивления, чуть было не сболтнул того, чего не надо. Это была та самая фигурка, которую я видел у Кости и о которой он велел мне молчать,— мальчик с книгой.

— Чему ты удивлен?

— Красивая фигурка,— нашелся я.

— Да, прекрасная вещь, запомни ее хорошенько. Я повертел фигурку в руках.

— Хорошо запомнил?

— Хорошо.

Везн поставил мальчика на полку и снял другую нэцкэ — большую круглую пуговицу. На ней был изображен спрут. Его глаз холодно и беспощадно смотрел из-за громадных щупалец, чуть согнутых, напряженных, готовых обхватить свою жертву и присосаться к ней жадными, хищными, омерзительными присосами.

Вместе со спрутом Везн протянул мне записку.

— Поедешь по этому адресу, спросишь художника Краснухина. Предложишь ему обменять спрута на какую-нибудь фигурку. Краснухин покажет тебе свою

коллекцию. Осмотр коллекции и есть твоя главная и единственная задача. Ты должен установить, есть у него точно такая же фигурка мальчика с книгой или нет.— Везн протянул руку к шкафу, где стояла фигурка мальчика с книгой, и повторил:— Есть у него такая фигурка или нет — вот что ты должен выяснить. Понял?

Теперь я хорошо все понял. Эта фигурка мальчика — копия, а Везн ищет оригинал. Он ищет его у художника Краснухина, а на самом деле оригинал у Кости.

— Если мальчик у него,— продолжал Везн,— попроси в обмен на спрута. Он, конечно, не отдаст, а ты ничего другого не бери. В крайнем случае возьми что-нибудь, но условно, скажи, что хочешь посоветоваться, оценить, это у нас практикуется. Все понял?

— Понял.

— И последнее. Адрес Краснухина ты получил у своего товарища, скажем, Жени Иванова. Меня не назовешь ни в коем случае. Если спросит, знаешь ли ты меня,— нет не знаешь! Прислал Женя Иванов, и все! Какой Женя Иванов? Женя Иванов, одноклассник, Женя Иванов тоже собирает нэцкэ. Это ты тоже понял?

— Конечно.

— Подойди к шкафу, еще раз посмотри мальчика и как следует его запомни.

Я подошел к шкафу. Мне незачем было рассматривать мальчика с книгой, я и без того хорошо его запомнил. Я только скользнул по нему взглядом, посмотрел на другие фигурки и вдруг... Я увидел бродячих музыкантов, тех самых, что Костя купил у старухи и которых я сдал в антикварный магазин.

Везн заметил мое удивление, и он небрежно сказал:

— В конце концов я достал подлинник музыкантов.

15

Везн сказал неправду. Когда человек врет, мне становится стыдно, и тогда я безошибочно узнаю, что он говорит неправду. Это те самые бродячие музыканты, что мы за бесценно купили у старухи. Везн обманывает меня. Но и Костя обманывает Везна — подлинный мальчик с книгой у него.

А я не хочу никого обманывать, не хочу, чтобы обманывали меня, не люблю говорить неправду. Когда говоришь неправду, то со временем забываешь, какую неправду ты сказал, и говоришь новую неправду. И чтобы не запутаться, приходится всю жизнь помнить, как именно ты соврал.

Конечно, Везн — искусствовед, антиквар, обаятельный человек и так далее, но зачем он обманывает меня? И ухаживание за Зоей, роман с Норой, которая ему в дочери годится. И этот затаенный взгляд, так поразивший меня в лесу...

Безусловно, нэцкэ — произведения искусства. Но разве искусство покупается и продается? Разве коллекционирование построено на обмане? Я представлял себе коллекционирование по-другому.

Почему Везн сам никуда не ходит, сам не достает, не обменивает своих нэцкэ, почему такая таинственность? Почему Костя убежал из мотеля, я ни от кого не хочу убежать: убежать унижительно. Почему я должен все скрывать от своих родителей, разве я делаю нечто предосудительное, разве собирать нэцкэ предосудительно? Почему они так темнят с отчимом Кости? Что за тайна такая, что за секрет? В сущно-

сти, если меня что и интересует, то именно это. Конечно, я могу бросить их компанию, но это значит бросить и Костю. А я не хочу бросать Костю. Он замкнутый, грубый, но хороший и чем-то несчастный парень.

Я пойду к художнику Краснухину. Но не для того, чтобы узнать, есть ли у него фигурка мальчика, я-то ведь знаю, что ее у него нет. Я пойду, чтобы поближе познакомиться с делом, которым они занимаются и которым по странному стечению обстоятельств приходится заниматься и мне.

Что такое в конце концов эти самые нэцкэ?

Нэцкэ — миниатюрная японская скульптура — вот все, что я о них знаю. Предмет коллекционирования. Но, видно, не такой уж простой предмет, если вокруг него происходят такие странные и загадочные вещи.

Как всегда, я начал с Брокгауза и Ефрона. Слова нэцкэ там не оказалось. Я посмотрел на букву «е», не нэцкэ, а нЕцке, но и тут ничего не нашел. Я вспомнил, что до революции употреблялась буква «ѣ» — ять. Употребление старых букв, вроде «ѣ», «і», «ѳ» и твердого знака — большое неудобство Брокгауза и Ефрона, ищешь слово, а оно, оказывается, раньше писалось совсем по-другому. Но на «ѣ» нэцкэ я тоже не нашел.

Не оказалось этого слова и в Большой Советской Энциклопедии. Странно! Нэцкэ — старинная вещь, есть нэцкэ семнадцатого века, а в энциклопедиях они даже не упоминаются. Громадную, на пятьдесят восемь страниц статью «Япония» я прочитал от первой до последней строчки. Прочитал и общие сведения, и физико-географический очерк, и про берега, рельеф, полезные ископаемые, растительность, животный мир, население, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, внешнюю торговлю, финансы, всю историю прочитал с незапамятных времен, про феодализм, абсолютизм, буржуазные революции, познакомился с государственным устройством, религией, вооруженными силами, политическими партиями, профсоюзным движением, просвещением, философией, литературой, искусством и архитектурой, музыкой, театром и кино. Но слова «нэцкэ» нигде не нашел.

Я снова взялся за Брокгауза и Ефрона, прочитал и там статью про Японию. Опять пошли всякие сведения и таблицы, гидрография, средние температуры, осадки, фауна и флора, плотность населения, возрастные группы, сословия, эмиграция и иммиграция, земледелие, горный промысел, обработка масляных семян, капиталы, банки, страховые общества, монетная система, оспопрививание и все такое прочее...

И, наконец, в главе «Японское искусство» я обнаружил единственное упоминание о нэцкэ. Оказывается, нэцкэ — это «маленькие фигурки, носимые на поясе для пристегивания к ним разных мелких предметов». Вот все, что там было сказано про нэцкэ. Для того, чтобы прочитать эту короткую и мало что говорящую фразу, я потратил столько времени, изучил страну Восходящего Солнца со всем ее рельефом и финансами.

Конечно, Япония — древняя страна, но как же с нэцкэ? «Маленькие фигурки, носимые на поясе для пристегивания к ним разных мелких предметов». Почему мелкие предметы надо пристегивать к поясу, да еще с помощью нэцкэ? И при чем здесь искусство? И почему за ними так охотятся?

Ни на один из этих вопросов я не нашел ответа ни у Брокгауза, ни в БСЭ и отправился в читальню.

Я не люблю читать, особенно больших. Тишина, неподвижность, того и гляди упадешь со стула.

Можно выходить в буфет, в уборную, в курилку, но если все время выходить, то какая это работа? Начиная потихоньку поглядывать на соседей и обнаруживаешь, что и они на тебя поглядывают. Девчонки поглядывают так, будто ты не работаешь сюда пришел, а бездельничать. Самим хочется побездельничать: скука смертная. Попадают, конечно, дубы: как прирастут к стулу, так не оторвут от него своего сиделища. Но я не могу, я люблю наблюдать людей. Сегодня здесь главным образом поступающие в вуз, это видно невооруженным глазом. 1 августа вступительные экзамены, вот они и вкалывают. Никого другого сюда летом палкой не загонишь.

Свободных стульев было много, но к какому ни подойдешь — перед ним на столе книги и тетради: занят. Наконец я нашел свободное место, разложил книги и зажег лампу. На соседей я пока не обращал внимания, хотелось поскорее прочитать про нэцкэ. И можете себе представить: в первой же книге целая глава о нэцкэ, с фотографиями. Оказывается, нэцкэ великое множество: каждый японец носил на поясе нэцкэ, а Япония — одна из населеннейших стран мира.

В традиционном японском костюме нет карманов. То, что европеец носит в кармане, японец носит на поясе: трубка, кисет, коробочка для лекарств, веер, печать, ручка, карандаш. Все это, связанное вместе или в специальной коробочке, закрепляется на одном конце шнура, а другой его конец протягивается сквозь нэцкэ, в которой для этого есть две крохотные дырочки.

Таким образом, нэцкэ — своего рода пуговица, брелок, застёжка. Со временем их стали делать в виде фигурок из камней, слоновой кости, панциря черепахи и самые лучшие — из дерева: самшита, сандалового или вишневого. Постепенно они становились украшением, а затем и произведением искусства. Не все, конечно, а те, что были созданы великими мастерами, богатыми лишь талантом, могучим воображением, поразительным вкусом и трудолюбием. Это — высокое и подлинно народное искусство.

Просто удивительно, что я сразу наткнулся на книгу, так полно освещающую этот вопрос, хотя эта книга не о нэцкэ, а о японском искусстве вообще. Специальные книги о нэцкэ есть на английском языке. Одну из них я тоже выписал. В ней были воспроизведены пятьдесят цветных репродукций нэцкэ поразительной красоты. Просто счастье, что я догадался ее выписать. Пятьдесят самых дорогих и редких нэцкэ, составляющих славу японского искусства. И среди них фигурка мальчика с книгой, фигурка, которую я видел у Кости, потом у Везна и которую должен найти у художника Краснухина. Теперь я понимаю, почему Везн так охотится за ней.

16

В рубашке с закатанными рукавами и в джинсах, художник Краснухин сидел на низком табурете и лепил. Рубашка его и джинсы были испачканы гипсом, алебастром, известкой, углем и красками. Кругом, на стенах и на полу, были картины, слепки, гипсовые маски, мольберты, подрамники, инструменты, верстак, станки — токарный и шлифовальный, мотки проволоки, куски необработанного дерева, причудливые корневища. Широкая, продавленная тахта была завалена журналами, альбомами. На покосившемся столике стояли бутылка с пивом, коробка с табаком и телефон.

37

Видно было, что здесь человек работает, человек с толстыми, сильными, рабочими руками, короткой шеей и могучей, широкой грудью. Каштановые волосы двумя прядями падали ему на лоб. Краснухин всей пятерней откидывал их назад, а пятерня была в глине.

Это мне понравилось. Он был полноват, оттого что работник, ему некогда было заниматься спортом. Передо мной был совсем другой тип коллекционера, именно такой, каким я себе представлял настоящего человека искусства. В его открытом лице, в больших, синих, немного выпуклых глазах, которыми он вращал, когда разговаривал, не было ничего затаенного, ничего лукавого. Я сразу понял, что тоже не сумею с ним хитрить и лукавить. Я вообще не умею хитрить и лукавить. И не желаю обманывать этого художника-работягу ради какого-то сноба и пижона Везна.

Мастерская была довольно большая, но сама квартира — маленькая. Я прошел через тесный коридорчик, загроможденный вешалками, шкафами, коробками. Из кухни доносился запах жареной трески, из второй комнаты — детские голоса. Это были дети Краснухина — Галя и Саша. Они появились в мастерской, как только я туда вошел. Гале было лет семь, Саше — четыре, он сосал палец и пучил на меня глаза, такие же большие, синие, как у Краснухина, и он так же, как отец, вращал ими. И у Гали были такие же большие, синие глаза. Поразительно глазастая семья, честное слово!

Наглядевшись на меня, они залезли на диван, стали прыгать, шуметь, кувыркаться. Краснухин, не глядя на них, говорил: «А ну, марш отсюда!» Но они не обращали на эти слова никакого внимания, продолжали прыгать и шуметь. И самому Краснухину они, по-видимому, не слишком мешали. Или он просто такой добрый — не может их выгнать.

Краснухин и не подумал спрашивать меня, кто я и откуда, взял у меня спрута, рассмотрел.

— Что ты хочешь за него?

— А что у вас есть?

Краснухин поворачивал глазами.

— Мало ли что у меня есть...

Он отодвинул мольберты. За стеклом шкафа стояли эццкэ. Много эццкэ. У Везна большой шкаф, и каждая эццкэ видна, как на выставке. А здесь шкаф небольшой, и фигурки стояли тесно, в несколько рядов.

Перебирая эццкэ и отыскивая ту, которую он собирался дать мне за спрута, Краснухин спросил:

— Давно собираешь?

— Нет.

— Знаком с настоящими коллекционерами?

— Так, с некоторыми...

Мои ответы были неуверенными, мне было стыдно врать. Краснухин внимательно посмотрел на меня.

Тем временем Галя и Саша расшумелись на диване так, что мы с Краснухиным почти не слышали друг друга.

— Люда, заведи их! — крикнул Краснухин.

В мастерскую вошла молодая женщина, тонкая и стройная, с прекрасным и измученным лицом, какое, наверно, и должно быть у жены настоящего художника: она и натурщица, и мать, и хозяйка в доме, где мало денег и много неприятностей.

Она позвала детей, и они покорно пошли за ней.

Краснухин поставил на стол несколько эццкэ.

— Выбери.

Ни одна эццкэ мне не понравилась. Лебедь, черепаха, крыса, лягушка, кучка грибов, заяц... Наверно,

Краснухин предлагал мне не лучшие эццкэ, да ведь и спрут не многого стоил. И, кроме того, мне нравились фигурки людей.

Меня охватил азарт обмена, как будто я меняю эццкэ для себя. В эту минуту я понял, что коллекционирование — это страсть, игра и риск.

— Мне нравятся изображения людей.

Я показал на ярко раскрашенную фигурку клоуна в колпаке, широких брюках, с красным, веселым, разрисованным лицом. Одна нога его была приподнята, он притоптывал, приплясывал, излучал радость и веселье. Такую эццкэ я бы взял с удовольствием. Краснухин поворачивал глазами.

— Мало ли, брат, что тебе нравится. Ты, я вижу, не дурак.

— А вы знаете такую эццкэ — мальчик с книгой? — спросил я.

Краснухин пристально посмотрел на меня.

— Откуда ты знаешь про нее?

— Читал...

— Это знаменитая эццкэ, — сказал Краснухин, — лучшая из коллекции Мавродаки.

— Кто такой Мавродаки?

— Ты собираешь эццкэ и не знаешь, кто такой Мавродаки?

— Не знаю, — признался я.

— Коллекция Мавродаки была лучшей в стране.

— Вы сказали — Мавродаки?

— Мавродаки.

— А где он?

— Его уже нет.

Станный ответ. Что значит «его уже нет»? Умер? Тогда так и надо сказать — умер. Но по тому, как Краснухин это произнес, я понял, что он не хочет об этом говорить. И я только спросил:

— А коллекция?

— Исчезла.

— Совсем?

— Появляются отдельные экземпляры, но из разных источников: коллекция разрознена.

— А фигурка мальчика?

— Не появлялась...

Он помолчал и задумчиво добавил:

— Такие великолепные произведения искусства, а их превращают в предмет спекуляции и наживы.

И посмотрел на меня так, будто именно я превращаю эццкэ в предмет наживы и спекуляции. Не догадывается ли он, от кого я пришел?

— Ну как, обмен не состоялся? — спросил Краснухин.

— По-видимому, нет.

Какой мне смысл меняться для Везна?

Опять, вращая глазами, он посмотрел на меня. Черт возьми, как он странно смотрит!

— Ладно, — широкой ладонью Краснухин сгрел фигурки со стола, — будет время, заходи.

Он сказал это так, будто наверняка знал, что я опять приду к нему.

Самое лучшее в плавании по реке — это отвал. Гремит музыка, река далеко разносит звуки радиолы, люди веселы и возбуждены. На палубе хлопочут матросы, избегают по трапам стюардессы, здесь свой, особенный, независимый, плывущий мир. Сверкает на солнце белый теплоход. Речной вокзал, легкий, красивый, устремлен в небо. С реки дует



прохладный ветерок, катера, хлопая днищем, вздымают белую пену бурунов. На меня пахнуло запахом реки, захотелось снова прокатиться по ней. Не так уж это скучно в конце концов — берега, пристани, деревни, города, рыбаки, створы, шлюзы, бакены...

Но я не могу ехать: у меня Зоя. На кого я ее оставлю? На пижонов, которые толкуются у прилавка? Или на Шмакова Петра, который увязался со мной в Химки и сейчас, как и я, стоит на причале?

Вот за своих стариков я был рад. Будут сидеть на палубе, папа будет играть в преферанс. Иногда и мама будет играть, но без папы — вместе они не играют: поссорились как-то во время игры и с тех пор играют отдельно. Будут покупать на пристанях огурцы, и помидоры, и свежую сметану, и живую рыбу, если попадется, и арбузы, и дыни...

Они славные старики, мои родители. Вся их жизнь в труде: папа целый день на заводе, мама в издательстве — она корректор, читает рукописи и верст-

ки, выискивает в них ошибки. Они рады малейшему развлечению, гостям, театру, всяким дням рождения, всяким там новогодним подаркам и сюрпризам. Мне эти радости кажутся не слишком значительными, но, если разобраться, каждый развлекается по-своему, у каждого свой вкус и свои пристрастия. Им, например, не нравятся некоторые, отличные, на мой взгляд, современные молодые поэты, писатели и художники. Я их за это не осуждаю, но некоторый консерватизм налицо. Их интересы несколько ограничены рамками мира, в котором они живут и работают. Они не решают общих вопросов жизни. А человек, как там ни говори, должен выходить за сферы своего индивидуального существования.

Прощаясь, папа говорит свое обычное «Будь человеком». Так он говорит всегда, прощаясь: «Будь человеком». Другие, может быть, этого не понимают, а мы с ним хорошо понимаем. «Будь человеком» — и все! И это лаконичное «Будь человеком» производит на меня гораздо большее впечатление, чем предупреждения о газе и мусоропроводе.

Но когда мама поцеловала меня, провела рукой по моей щеке и тревожно заглянула мне в глаза, я чуть не заревел, честное слово! У кого это сказано: «...матери моей печальная рука»? «Звезда полей над отчим домом и матери моей печальная рука»? У Бабеля в «Конармии» эти строчки, вот где!

Опять гремела музыка, все махали платками. Теплоход удалялся, иллюминаторы на нем становились совсем крошечными, потом и люди стали крошечными. Они продолжали махать, но лиц их уже не было видно.

К этому событию Шмаков Петр отнесся спокойно. Не его родители уехали, а мои. Но когда уезжают его родители, он тоже невозмутим. Его родители то в Индии, то в Египте. Они энергетика или гидростроители и работают на Востоке. Шмаков Петр привык к тому, что они все время уезжают, относится к этому чисто практически. И как только теплоход скрылся из глаз, задал мне практический вопрос:

— Сколько тебе отвалили?

— Тридцать.

Он произвел в уме какие-то вычисления и сказал:

— Пятнадцать ре свободно можешь прогулять.

В ответ я промолчал. Не стану же я докладывать Шмакову свой бюджет. Какое, спрашивается, ему дело!

— Посидим в ресторации, — предложил Шмаков, — я еще никогда здесь не был.

— Я уже пообедал.

— Что значит пообедал? Я тебе не обедать предлагаю, а поесть стерляжьей ухи. Ты ел когда-нибудь стерляжью уху?

— Я сыт.

— Стерляжья уха — это не еда, это деликатес. Идиотство — быть в Химках и не поесть стерляжьей ухи! Кретином надо быть! Стоит самое большее три с полтиной. Вернемся домой — я тебе свою половину отдам.

— Ты отдашь!!!

— Чтобы мне воли не видать!

— Не хочу.

— И после этого называешь меня жмотом. Сам ты жмот!

Ничего нет неприятнее обвинения в скупости. Но зачем мне эта дурацкая стерляжья уха? Пижонство!

— Нет, нет и нет, — решительно сказал я, — пойдем на пляж искушаем!

— Я есть хочу.

— Не умрешь.

На пляже я купил плавки с карманчиком на «молнии» и вышитым якорем. Зоя будет приятно появля-

ся со мной на пляже, если на мне будут такие шикарные плавки. Если бы Шмаков Петр уговорил меня пойти в ресторан, я бы эти деньги все равно прожрал, я их чудом отстоял: ведь от Шмакова невозможно отвязаться. Такие плавки могут быть только на хорошем пловце или прыгуне в воду. Плавал я неплохо, а прыжками в воду надо будет заняться. Мы приходим с Зоей на пляж. Она сидит рядом со мной, восторгается теми, кто прыгает в воду, а я молчу. Молчу, молчу, а потом этак небрежно поднимаюсь на вышку и хоп — прыжок ласточкой! Хоп — двойное сальто с оборотом! Хоп — обратное сальто с переворотом!.. Зоя рот разинет от удивления. Как здорово, что я их купил, не потратил деньги на идиотскую стерляжью уху. Недоставало идти на поводу у такого низменного инстинкта, как чревоугодие. Надо есть простую, здоровую пищу. От излишества развиваются подагра, склероз и всякая такая муровина.

— Эх ты! — простонал Шмаков Петр. — Что такое плавки? Яркая заплатка на ветхом рубище пловца. А так пожрали бы стерляжьей ухи. Теперь самый стерляжий сезон, самый стерляжий лов.

— Нашелся гастроном! — сказал я насмешливо, — стерляжьей ухи ему захотелось! Может быть, тебе ананасы подать? Ананасы в шампанском? Кофе гляссе?

— Слушай, — перебил меня Шмаков, — а ты, оканчивается, ездил с Зоей на пикник?

Вопрос застал меня врасплох.

— Да, были...

— Со своей branжей.

— В компании были.

— Почему мне не сказал?

— А где тебя было искать? Меня самого позвали. Прокатились, покупались, шашлыков поели...

Я говорил совсем не то, что хотел, не то, что надо было. Надо было прямо сказать: мы с Зоей любим друг друга, встречаемся и будем встречаться. Но у меня не поворачивался язык это сказать, я не мог огорчить Шмакова Петра таким сообщением. И между нами не принято говорить про любовь. Шмаков начнет смеяться, а я не хотел, чтобы он смеялся над этим, сделал бы это предметом своих глупых шуток.

И я ничего не сказал Шмакову Петру, хотя было самое удобное время сказать. Я мямлил. Если Шмаков узнает, что я увел у него девушку, то может поссориться со мной навсегда. Встанет и уйдет. Будет топтать пешком от самых Химок: денег у него, как всегда, нет. Если я это допущу, буду последним гадом. Тем более, он из-за меня сюда приехал.

— А шашлыки были хорошие? — спросил Шмаков.

Ну Шмаков! Тоскует о шашлыках! Все! Теперь я ему ничего не обязан рассказывать.

Шмаков зевнул.

— Надо сегодня зайти к Зойке, пригласить ее в киношку.

У меня сердце оборвалось. Я сам собирался пригласить сегодня Зою в кино. Надо было мне сказать это раньше, а теперь первым сказал Шмаков и, следовательно, имеет право первым пригласить ее.

— Между прочим, я сегодня тоже собирался пойти с ней в кино.

— Красота! Возьмешь билеты на троих.

— Почему я должен брать билеты на троих?

— Ты при деньгах.

— Мы собирались пойти вдвоем.

— Думаю, она пойдет все же со мной, а не с тобой, — объявил Шмаков.

— То, что ты целыми днями отираешься у ее прилавка, еще ничего не доказывает. Отираться

у прилавка может всякий. Она пойдет именно со мной.

— Мальчик, куда ты лезешь?!

— Имею основания так предполагать.

— Может быть, спросим у нее самой?

— Хоть сейчас.

Мне уже не было жалко Шмакова Петра. Уж слишком вызывающе он ведет себя...

Зоя стояла за прилавком и разговаривала с высоким парнем. И потому, как парень небрежно облокотился о прилавок, как Зоя с ним разговаривала, смеялась и улыбалась, было ясно, что это не просто покупатель, даже вовсе не покупатель: покупателям Зоя не улыбается, с покупателями она не смеется. Странно! Какой-то верзила расположился возле Зои, как у себя дома, заливаясь, треплется, видно, болтун из болтунов. А нам Зоя, хотя и кивнула, но довольно сдержанно, даже небрежно, как далеким знакомым.

— Что за фрукт? — спросил Шмаков Петр.

— Брат, — ответил я, не задумываясь.

— У нее есть брат?

— Даже три, — объявил я, окончательно подавив Шмакова своей осведомленностью. — Как поступим?

— Что ж, при брате... неудобно при брате...

— Мне лично все равно, могу и при брате.

— Неудобно, — повторил Шмаков, — отложим.

— Если ты этого хочешь, пожалуйста, — согласился я.

18

Полная неожиданность. Везн остался мной доволен. Ходил по комнате, потирал руки и говорил Косте и Игорю:

— Я не ошибся в Кроше. Клоун у Краснухина — понятно... А мальчика с книгой нет?

— Я не видел.

Костя и бровью не повел.

— У тебя есть возможность еще раз проверить, — сказал Везн. — Пойдешь к нему с другой нэцкэ. Важен контакт, он установлен. Зачем Краснухину нэцкэ? Он художник, а не коллекционер, должен создавать, а не собирать.

— Он хороший художник? — спросил я.

Везн соорудил гримасу.

— Не без дарования, но оригинальничает, мне приходилось о нем писать. Принципы достойны уважения, но нереализованное искусство не искусство. Талант требует признания, иначе он хиреет.

— Разве нет художников, получивших признание после смерти? — возразил я.

— Таких художников нет, — категорически объявил Везн, — после смерти получить можно большее признание, но, не получив при жизни никакого признания, не получишь его и после смерти.

— Но он еще сравнительно молодой.

— Как сказать... Он окончил институт, вернувшись с фронта... Впрочем, как художник он нас интересует меньше всего. Нас интересуют его нэцкэ. Он не собиратель, собиратели мы. Каждая коллекция — эпоха, каждый великий художник — эпоха. Если мы сумеем собрать все имеющиеся у нас в стране работы Мивы первого, Ядзамицу Томотада, Мадзанао — это будут коллекции мирового класса.

— Возможно, Краснухин тоже составляет коллекцию, — предположил я.

— Краснухин собирает между прочим,

с раздражением ответил Везн, — а для меня это — главное дело жизни. Чем выше цель, тем больше прав у человека на любые средства в этой борьбе. Или Краснухин завладеет моими коллекциями, или я завладею нэцкэ Краснухина, нэцкэ других любителей (Везн произнес это слово с презрением) и создам одну из величайших коллекций в мире. Моральное право на моей стороне. А ты как думаешь? — неожиданно спросил он меня.

— Я плохо разбираюсь в этом, — ответил я уклончиво.

— Будешь разбираться! Пошел в библиотеку, познакомишься с литературой, это мне нравится, это серьезный подход к делу.

Эти слова были адресованы Игорю и Косте, но они сделали вид, будто это относится вовсе не к ним.

— Но того, что есть у меня, ты не найдешь ни в одной библиотеке, — продолжал Везн, — у меня есть все, что вышло о нэцкэ на любом языке. Вышло не так много. Капитальное исследование впереди.

Это было сказано тоном, показывающим, что именно он, Везн, напишет капитальный труд о нэцкэ.

Я неизмеримо вырос в глазах Везна, в глазах Игоря и Кости. И все из-за того, что просмотрел несколько книг по нэцкэ. Естественное дело — познакомиться с вопросом, которым ты занимаешься. Но на них это произвело большое впечатление, неизмеримо подняло мой авторитет. Я стал полноправным членом их компании. Испытательный срок прошел. Я выполнил самостоятельное поручение, выполнил удачно, обнаружил серьезный подход к делу.

Костя молчал. Из-за того, что он передал Везну наш разговор об отчине, я стал относиться к нему холодно. Он это, видимо, чувствовал и потому молчал.

Игорь, правда, пытался проткнуться со своими насмешками. Мол, Крош — серьезный человек, склонен к исследовательской работе. Но шуток его никто не подхватил, и он заглох.

Везн вынул из шкафа нэцкэ.

— Пойдешь к Краснухину вот с этим.

Это была большая пуговица с изображением бамбука. Видно было, что бамбук сейчас упадет, дожидает последние минуты. Чем достигалось такое ощущение, не могу сказать. Вероятно, расположением колец, их особенным рисунком, выражавшим последние судороги ствола, который только что был живым и стройным. Поразительное искусство эти нэцкэ, могучие художники их создавали.

— Это уже что-то, — говорил Везн, лбуясь нэцкэ. — Краснухин ее, несомненно, знает. Меняться будешь только на Миву первого. Пусть покажет, что у него есть, так мы и выясним его коллекцию... Кстати, Крош, как у тебя с деньгами?

— У меня есть.

— Ты ведь теперь один, — улыбаясь, сказал Везн, — если оскудеешь, приходи. Тарелка супа для тебя всегда найдется.

Мы вышли от Везна: я, Костя, Игорь.

— Кто куда, а я в парикмахерскую, — сказал Игорь.

— В какую? — спросил я.

— В салон, где еще можно прилично постричься. — Он критически осмотрел мою голову. — И тебе не мешает.

Я сам знал, что не мешает. Но я не решался идти один в салон, не знал, какие там правила. А с Игорем можно, Игорь знает все правила.

— Я стригусь у Павла Ивановича, — сказал Игорь, — знаю всех мастеров, и все мастера знают меня. Посажу тебя к специалисту, метнешь ему полтинник.

— Встретимся, как договорились, — сказал Костя.
— Ку-ку, — ответил Игорь.

Как они договорились, я не стал спрашивать: не хотел первый заговаривать с Костей. Что касается «ку-ку», то у Игоря оно означало «До свидания».

Возможно, Игорь знал всех мастеров в салоне, но знали ли все мастера его самого, я не был уверен. Это была совсем не такая парикмахерская, как у нас, на углу: зеркала во всю стену, кресла массивные, вращающиеся, пахло хорошим одеколоном, мастера — пожилые, важные, похожие на профессоров — работали молча, а если и перебрасывались словами, то вполголоса.

У моего мастера был такой неприступный и строгий вид, что я боялся пошевелиться. Он меня о чем-то спросил, я не разобрал, что именно, а переспросил: постеснялся. Пусть делает, что хочет, он лучше меня знает, что делать. И я неопределенно протянул «ага».

Стриг он меня раза в три дольше, чем в нашей парикмахерской. Откидывался назад, смотрел, снова стриг, заходил с разных сторон, смотрел, стриг, смотрел... Потом помыл мне голову, высушил под электрическим аппаратом, смочил одеколоном и сделал повязку.

Принесли прибор для бритья. Я еще ни разу не брился. На щеках у меня пушок, небольшой, но довольно противный, иногда мне кажется, что именно из-за него девушки относятся ко мне несерьезно. И мелкие дурацкие прыщики. Папа говорит, что они пройдут с возрастом. В нашей парикмахерской меня спрашивают, хочу ли я побриться, а здесь мастер ничего не спросил, взял и побрил. Потом сделал компресс, потом массаж, опять компресс, sprysнул одеколоном, помахал салфеткой, вытер мне морду и пристально посмотрел, решая, что еще можно сделать. Делать было больше нечего.

Я посмотрел на себя в зеркало. Прическа была что надо! Но оттого, что меня побрили впервые, кожа на висках, щеках и на подбородке была неестественно белая, кругом кожа загорела, а под пушком она не загорела и теперь выделялась. И в эту минуту я понял петровских бояр, которые, после того как им сбрили бороды, жаловались, что лица у них стали б о с ы е.

Я уплатил в кассу рубль восемьдесят копеек вместо двадцати копеек, которые плачу обычно у нас, на углу, — не каждый день стрижешься в салоне. Смущало другое: как я метну мастеру полтинник сверх счета? Ужасно стыдно и неудобно, мастер может возмутиться, ведь это унижительно — брать чаевые.

Смущаясь и краснея, я протянул ему вместе с карточкой полтинник. Спокойным, полным достоинства движением мастер, похожий на профессора, опустил полтинник в карман белого халата.

19

Теперь ты похож на человека, — сказал Игорь. — Ты метнул?

— Да. Ужасно было неудобно.

— Се ля ви, — заметил Игорь философски. И еще более философски добавил: — Не мешает выпить по чашке кофе. Если где и можно выпить кофе, то именно здесь.

И показал на кафе рядом с салоном.

Я еще никогда не был в этом кафе, но знал, что там собираются поэты, художники и артисты.

В кафе нас ожидал Костя. Я внимательно рассмотрел посетителей, но ни одного известного актера, поэта или писателя не увидел.

— Везн — человек эрудированный, — начал Игорь, когда мы уселись за столик, — но человек сложный... — Он многозначительно посмотрел на меня. — Разговор между нами?

— Конечно.

По тому, как Костя молчал, я понял, что разговор этот не случаен, они звали меня сюда нарочно. Что ж, пожалуйста, интересно...

— Ты наш товарищ, — продолжал Игорь, — и мы обязаны тебя предупредить. Везн собирает нэцкэ вовсе не из возвышенных соображений. Это его бизнес. И он пишет исследование, которое даст ему докторскую.

— Что из этого следует?

— А то, что Везн — человек коммерческий. И мы у него тоже делаем свой небольшой бизнес. И только. А ты строишь идеалиста. Везну, конечно, выгоднее иметь дело с простофилей.

— Сбиваю вам цену?

— Зачем так грубо? — поморщился Игорь. — Ты проявляешь излишнее рвение, странную наивность... Библиотека, книги — зачем это тебе? Получай свои талеры и живи!

— А если талеры мне не нужны?

— Зачем же ты влез в дело?

— Так получилось.

— Так ничего не получается. Я отлично помню твой первый разговор с Везном. Он сказал, что дело идет о зарботке. Сказал?

— Допустим.

— Знал, на что идешь?

— А если нэцкэ заинтересовали меня сами по себе?

— Это — твое личное дело. Но в отношениях с Везном изволь исходить из наших общих интересов.

— Ты напрасно меня пугаешь.

— Никто тебя не пугает, — не глядя на меня, протянул Игорь, — но мы не хотим, чтобы тебя постигло разочарование.

— Ах, как трогательно!

— С тобой трудно разговаривать, но наберемся терпения. Что такое Краснухин? Краснухин — одаренный художник. Я не все принимаю в его творчестве, но он художник прогрессивный, это бесспорно.

Мне стало смешно. Игорь чего-то там не принимает в творчестве Краснухина. Потеха!

— Я думаю, Краснухин это переживает.

— Что именно? — сощурился Игорь.

— То, что ты не все принимаешь в его творчестве.

— Шутки оставим на потом!

— Давай, давай, ковыляй дальше!

— Так вот, Везн раздолбал Краснухина не по каким-то там идейным соображениям, а потому, что это было выгодно для его карьеры. В душе он сноб, все ему до лампочки, кроме нэцкэ, картин и коммерции. Поэтому он сам не идет к Краснухину, посылает тебя. А ты принимаешь это всерьез, рассуждаешь, изучаешь, даже отказываешься от гонорара. А когда ты разберешься, то потеряешь веру в человечество. А мы не хотим, чтобы ты терял веру в человечество.

— Если все это так, зачем вы помогаете Везну?

— Чудак! Мы ему помогаем собирать нэцкэ — честное, законное дело. Каждый зарабатывает, как может, иногда и не слишком приятным способом, —

Игорь кивнул на официанта, — возможно, ему импонирует его должность, а мне нет. Я не хочу подавать кофе, я хочу, чтобы мне подавали.

— В обществе нужны и официанты. Всякая работа почетна.

— Крош, без романтики, век романтики кончился. Наступили суровые будни. Человек работает ради заработка. Я имею в виду честный заработок.

— Взять у старухи настоящую нэцкэ и заплатить, как за копию, — честно?

— Что старуха! Без этого нет собирательства. Везн объяснил это тебе довольно популярно. На одном собиратель выигрывает, на другом проигрывает.

— Обманывать художника Краснухина честно?

Игорь передернулся.

— Зачем так упрощать! Художника Краснухина никто не обманывает, он пользуется уважением моих друзей, и я не позволю его обманывать. Другое дело Краснухин-собиратель, здесь действуют законы иной сферы. Думаешь, Краснухин меньше Везна разбирается в нэцкэ? Не беспокойся, он не даст себя обмануть. Произойдет обмен, выгодный для обеих сторон.

— Везн, карьерист, раздолбал Краснухина — это честно?

— Какое мне до этого дело! — воскликнул Игорь. — Сегодня Везн раздолбал Краснухина, завтра Краснухин раздолбает Везна. Сегодня правы одни, завтра — другие. Я не касаюсь их споров и дискуссий, мне наплевать и на формалистов и на натуралистов, пусть дерутся, если им охота! Мне нужны деньги, и я нашел свой честный заработок.

— Ах, ты будешь стекляшки собирать, а ишачить на тебя будет дядя? Этот официант будет бегать взад-вперед, а ты будешь кейфовать?

— Если у него только на это хватает мозгов...

— Неизвестно, у кого мозгов больше!

— Параноик какой-то, клинический случай, — пробормотал Игорь, — чего ты орешь!

— Я не ору. Я говорю. Кроме денег, существуют еще принципы.

— Пошел, пошел!... — сморщился Игорь. — Принципы... Где ты их видел, где встречал? Это все умершие категории, их давно-давно отменили. Каждый устраивается, как может. Ты стал очень идейным, с чего бы это? Ладно! Намерен ты работать с Везном на тех же условиях, что и мы?

— Я вообще не намерен работать с каким-то прохвостом Везном. — Я вынул из кармана нэцкэ-бамбук и положил на стол. — Можете вернуть ее Везну, я не желаю больше иметь с ним дела. А вы можете продолжать, если нравится.

Костя, который до этого не проронил ни слова, кивнул на нэцкэ.

— Убери со стола.

— Она мне не нужна.

— Везн дал ее тебе, ты и возвращай. Никто за тебя не обязан это делать.

Это было логично. Я положил нэцкэ в карман.

— Что ты скажешь Везну? — спросил Костя.

— Я занимался к нему?

— Ты в курсе его дел, пил, гулял на его счет... Так просто не бросают.

— Я закабален? Крепостное право отменено сто лет назад.

Костя посмотрел на меня свсим холодным взглядом.

— Ты оставишь Везна, когда и мы с Игорем его оставим.

— Я оставляю Везна, когда сочту это нужным.

— Не пожалей потом!

— Угрозы и запугивания прибереги для кого-нибудь другого, — ответил я, — ты боксер, но это не так страшно. Не всего можно добиться кулаками, во всяком случае, у меня.

— Бросьте, ребята, — сказал примирительно Игорь.

Костя не сводил с меня холодного, угрожающего взгляда. Но мне нисколько не было страшно, я его ни капельки не боялся. Он боксер, но здесь не ринг, здесь дерутся не по правилам, а не по правилам и я умею. И не верилось, что Костя полезет драться, ведь я как-то подружился с ним, чем-то он был даже мне дорог, мне было жаль оставлять его в этой компании. И я спокойно сказал:

— Вы никогда не заставите меня делать то, чего я не хочу. Я верну эту нэцкэ Везну, и с ним все кончено.

— Ты дал слово, что разговор останется между нами, — напомнил Игорь.

— Не беспокойтесь, я не передаю чужих разговоров, как некоторые. — И я выразительно посмотрел на Костю.

— Что ты на меня так смотришь? — спросил он.

— Смотреть нельзя?

— Кто эти «некоторые»?

— Эти «некоторые» сами знают, что они «некоторые».

— На кого ты намекаешь?

— Мы говорили с тобой о твоём отчине. Зачем ты передал этот разговор Везну?

Костя изумленно смотрел на меня.

— Мы с тобой говорили лично, — продолжал я, — а ты передал Везну. Зачем?

— Я ему ничего не передавал, — возразил Костя. — Везн у меня спросил: знает Крош, что у тебя отчим? Я ответил: да, знает.

— А мне Везн сказал по-другому: будто я проболтался про твоего отчима. В вашей компании каждое слово переворачивается и перетолковывается, а я к этому не привык. И не желаю привыкать. С вами запутаешься: тот сказал то-то, этот передал так-то... Ну вас к черту! Кончим на этом! Только у меня тоже есть один вопрос: вам известна такая фамилия — Мавродаки?

— Мавродаки? — повторил Игорь. — Греческая фамилия... Нет, не знаю. Кто он?

— А ты? — спросил я у Кости и сразу осекся...

Костя так странно смотрел на меня, что я даже испугался, честное слово!

— Откуда ты знаешь эту фамилию? — спросил он глухо.

— Слышал.

— Так вот, — сказал Костя, — забудь ее. Навсегда. И никогда нигде не вспоминай. Понял?!

20

Первым моим побуждением было пойти к Везну и вернуть ему нэцкэ-бамбук. Но вернуть ему ее значило отрезать себе дорогу к Краснухину, единственному человеку, который может пролить свет на это загадочное дело.

Почему Костя поблел при упоминании о Мавродаки? Запретил произносить это имя? Откуда у него фигурка мальчика с книгой — лучшая нэцкэ из коллекции Мавродаки? Почему он скрывает это от Везна?

Надо подумать. Решу завтра. Тем более, уже конец дня и надо успеть пригласить Зою в кино.

Я заехал в «Ударник» и купил билеты. Билеты про-

изводят на девчонок магическое действие, я много раз замечал. Когда нет билетов, то неизвестно, достанем ли мы их, и на какой сеанс, и на какую картину, и где будем сидеть — все неопределенно, эфемерно, неясно. А когда билеты на руках, все ясно, определенно, точно.

И действительно, увидев билеты, Зоя сказала:

— Жди меня на выходе.

— Билеты на семь тридцать, — предупредил я.

— Успеем.

Я стал прохаживаться возле дверей магазина, с беспокойством поглядывая по сторонам: каждую минуту из-за угла мог появиться Шмаков Петр или «верзила» — Зоин брат.

Из магазина выходили девушки-продавщицы, наконец появилась и Зоя. На моих часах было семь семнадцать. Бежать до метро, потом от метро до кино — значит, наверняка опоздать. На наше счастье, у магазина остановилось такси. Мы вскочили в него. В зал мы вбежали, когда уже потушили свет.

Картина была про служебную собаку-ищейку, о том, как ее обучают ловить преступников. Конечно, преступников надо ловить, но ведь ищейку можно натравить и на порядочного человека, все зависит от проводника: прикажет он собаке перегрызть вам горло, она, не задумываясь, это сделает. В сущности, злобное существо. Вот чеховская Каштанка, или Муму, или Белый Клык — это совсем другое, это настоящие друзья человека.

И еще не понравились мне плоские шутки, вроде той, что в присутствии начальства собака тоже нервничает, и тому подобные аналогии между собакой и человеком. Как будто из собачьей жизни можно делать выводы для жизни человеческой.

А Зоя переживала, смеялась, мои доводы были ей непонятны.

— Что ты говоришь! Такая славненькая собачка, не выдумывай, пожалуйста.

Но картину мы обсудили уже после сеанса. А во время сеанса я думал о том, как мне взять Зоину руку в свою. Зоя, не отрываясь, смотрела на экран; я видел ее милый профиль и кудряшки на лбу; просто очаровательная девчонка; я чувствовал ее плечо рядом с собой, но никак не мог взять ее руку в свою. Если бы на подлокотнике лежала ее ладонь, то я бы это мог сделать запросто. Но на подлокотнике лежал ее локоть.

Но тут, к счастью, произошел самый драматический эпизод в картине: преступник выстрелил в собаку. «Он убьет ее», — в страхе прошептала Зоя и сама схватила меня за руку. Я уж, конечно, не отпускал ее до конца сеанса. Это был единственный стоящий эпизод в картине, и то, черт побери, он произошел перед самым концом.

А вот уже на улице я начал критиковать картину. Зоя не согласилась, даже рассердилась на меня. Я поступил, как дурак: приглашая Зою, хотел доставить ей удовольствие и сам же это удовольствие испортил. Надо же быть таким ослом! Идиот! Можно было не хвалить картину, но зачем было ее ругать?

На улице накрапывал дождик. Зоя предложила ехать на такси. И я отвез ее на Таганку, в Товарищеский переулок.

— Хочешь пойти завтра опять в кино? — спросил я, прощаясь.

— Каждый день ходить в кино? А что дома скажут? — засмеялась Зоя.

— Тогда поедem в воскресенье в Химки.

— В воскресенье я работаю.

— В понедельник.

— До понедельника далеко, — ответила Зоя и опять почему-то засмеялась.

Я застал Краснухина на этот раз за письменным столом. С озабоченным лицом он что-то писал. Так же тесно было в темном коридоре, только пахло не жареной треской, а только что вскипяченным молоком. И не было видно ни Гали, ни Саши, не было слышно их голосов, наверно, ушли куда-то с матерью, оставив Краснухина одного.

— Хорошая нэцкэ, — сказал Краснухин про бамбук, — не знаю, сумею ли предложить тебе взамен что-либо равноценное. Вот если только стрекозу...

Он достал из шкафа большую плоскую пуговицу не то из дерева, не то из рога. На ней была выгравирована стрекоза — легкая, прозрачная, стремительная.

— Нэцкэ того же мастера, что и твой бамбук. Оцени их в антикварном, а там решим.

— Вы не боитесь, что я с ней убегу?

Он повращал глазами.

— Ты вор?

— Но ведь вы меня не знаете.

Краснухин опять начал писать. Видно, писал что-то срочное, а я ему мешал.

— Я вас долго не задержу, — сказал я. — В прошлый раз вы сказали, что коллекция Мавродаки исчезла в конце сороковых годов. Куда же она могла деться? Ведь это было после войны. В войну многое потерялось, но после... Куда она могла исчезнуть? И куда исчез сам Мавродаки?

— Мавродаки покончил с собой в сорок восьмом году. Ты какого года?

— Сорок восьмого.

— Вот в сорок восьмом году его и не стало.

— Вы его знали?

— Он был нашим профессором, — ответил Краснухин, морща лоб и продолжая писать.

— А семья, родственники?

— У него не было семьи. Все это случилось неожиданно... Была статья в газете, потом собрание в институте... Он был добрый, знающий, но слабый человек, а время было суровое. — Краснухин встал. — Ну, дружe, топай, некогда...

Я кивнул на бумаги.

— Что вы пишете?

— Все объясняемся, что, да почему, да как получилось... Ну, чеши!

— Последний вопрос, — торопливо сказал я. — А в какой газете была статья про Мавродаки?

Краснухин назвал мне газету, сейчас она уже не выходит, а тогда, в сорок восьмом, выходила.

Я хотел еще спросить, в каком номере газеты была эта статья. Но Краснухин хотя и добродушно, но решительно вытолкнул меня за дверь.

21

Я испытывал некоторую робость, входя к Везну. Постыдное чувство. Я не трус, но все же неудобно сказать человеку, что он прохвост. Особенно такому уважаемому господину, как Везн. Тем более в момент, когда он так к тебе расположен, хвалит и превозносит тебя. Он тебя хвалит и превозносит, а ты ему объявляешь, что он прохвост. Везн и сейчас выказывал мне полное расположение, улыбался, не поворачивался спиной, а если и поворачивался, то спина была не враждебной, а мягкой и дружелюбной.

— Был у Краснухина?

Я мог, конечно, ответить, что да, был, ничего подходящего не нашел, мог вернуть Везну его бам-

бук, уйти и больше не приходиться. Словом, мог порвать с Везном без объяснений. Но это значило трусливо уйти от сложностей. Сделав так, я бы не уважал самого себя.

— Владимир Николаевич, больше ваших поручений я выполнять не буду.

Везн стоял, наклонившись к книжному шкафу. Он обернулся и посмотрел мне в лицо.

— Почему ты не будешь выполнять моих поручений?

— Не хочу.

— Почему не хочешь?

— Не хочу, и все. Это — мое дело, почему я не хочу.

— Это не только твое дело, это — наше общее дело.

— Никто не заставит меня делать того, чего я не хочу делать. Это ясно и понятно.

— Ты изменяешь нашей дружбе?

Я пожал плечами.

— Вы странно рассуждаете. Костя увлекается боксом — разве должны заниматься боксом его друзья? Я люблю прыжки в воду — но ведь мои друзья не обязаны тоже прыгать. Меня не привлекает собирательство, не интересуют нэцкэ, вот и все!

Насчет прыжков в воду я пропустил, я еще только собирался ими заняться. Но как довод это было довольно удачно.

— Нэцкэ тебя не интересуют, — возразил Везн. — Ходил в библиотеку, прочитал кучу книг, а сегодня вдруг «не интересуют». Нелогично, неубедительно. Я не оспариваю твоего права прекратить знакомство со мной. Но ты не можешь оспорить и моего права знать, чем это вызвано. С порядочными людьми так не прекращают знакомства.

Теперь я жалел, что пустился в объяснения. Везн сильнее меня в софистике. Он стоял, прислонясь к книжному шкафу, смотрел мне в глаза как человек, готовый честно ответить на любые вопросы, опровергнуть любые обвинения. Да и что я мог ему предъявить? Старуха со странствующими музыкантами, статья против Краснухина, которую я не читал. И я не мог сослаться на разговор с Игорем. Я очутился в дурацком положении. Надо было просто уйти, а я пустился в объяснения.

И тут меня осенила мысль: спрошу про Мавродаки. Везн не может не знать такого крупного собирателя нэцкэ. И пока Везн будет рассказывать про Мавродаки, я обдумаю, как поступить дальше.

— Владимир Николаевич, вы знали Мавродаки?

Наверно, я не сумею передать реакцию Везна на мой вопрос. Только что, опираясь о книжный шкаф, стоял респектабельный искусствовед Везн, в легком, элегантном костюме, спокойно и уверенно смотрел на меня... Теперь там стоял совсем другой человек, стоял, быть может, одну минуту, одну секунду, одно мгновение. Но это мгновение я запомнил. Я увидел взгляд, который тогда, на берегу реки, только почувствовал, — мгновенный, колющий и вместе с тем жалкий и обреченный взгляд... Впервые почувствовал я, что такое «мурашки забегали по спине». Слышал такое выражение, сам употреблял его, но как мурашки бегали по спине, я впервые почувствовал теперь, когда Везн смотрел на меня.

Но мгновение прошло, и Везн снова превратился в спокойного, респектабельного господина, каким был минуту назад, только, быть может, несколько более хмурого.

Он опустился в кресло, положил ногу на ногу, прикрыл глаза рукой.

— Кто тебе рассказал про Мавродаки?

— Краснухин.

— Что он тебе рассказал?

— Сказал, что был такой знаменитый коллекционер нэцкэ — Мавродаки.

— Еще что?

— Больше ничего.

Из-за раздвинутых пальцев Везн испытующе смотрел на меня.

— Ты сказал ему, что знаком со мной?

— Нет.

Некоторое время он молчал, прикрыв глаза рукой, потом сказал:

— Итак, Краснухин рассказал тебе про Мавродаки и после этого ты решил порвать со мной знакомство?

— При чем тут Мавродаки?

— Что же заставило тебя принять такое решение?

Мы вернулись к тому, с чего начали. Что я могу ему сказать? Он добивается правды, а правда заключается в том, что он прохвост, а сказать это неудобно.

Мне осталось только встать.

— Я пошел.

— Подожди!

Я опять сел.

— Тебе придется сказать правду.

— Что я вам скажу?! — закричал я. — Мне не нравится все это, я не люблю тайн, не люблю секретов! Я не должен говорить Косте про его отца, Краснухину — что пришел от вас, моим родителям — что выполняю ваши поручения, должен все время что-то скрывать, утаивать, выпытывать, узнавать! Я не привык к этому! И я путаюсь, а я должен говорить, чего не должен! Может быть, так нужно для собирательства? Но такое собирательство меня не привлекает!

— Я тебя понимаю, — сочувственно ответил Везн. — Но разве я заставляю тебя лгать? Взрослея, мы все меньше делимся с родителями своими делами. Если тебе нравится девочка, вряд ли ты бежишь рассказывать об этом папе и маме, так ведь?

— Так.

А что я мог ответить? О Майке и Зое я не рассказывал и не собираюсь рассказывать.

— Что касается Краснухина, то поверь мне: он знает мою коллекцию лучше, чем я его. Он крупный специалист, хотя и дилетант. Он во многом дилетант, к сожалению. Он рассказывал тебе о Мавродаки, но сути дела он не знает, хотя и учился у него.

— Краснухин говорил, что была статья в газете, потом собрание...

— Было и это, — подчеркнуто небрежно сказал Везн, — но главное в другом. Незадолго до этой трагедии Мавродаки женился. Он горячо любил свою жену, но она ушла к другому человеку, к его лучшему другу... Вот действительная причина того, что произошло. Все остальное внешнее, у многих были подобные неприятности в те сложные времена. Но это — дело прошлое, давно забытое, а жизнь идет. Краснухин соревнуется со мной, я — с Краснухиным, и ничего здесь предосудительного нет, законом это не карается.

Я не знал, что ему ответить. Голову сломаешь с этими собирателями!

— Возможно, вы и правы. Но лично я не хочу.

Не обращая внимания на мои слова, Везн продолжал:

— Когда я просил тебя не говорить с Костей об его отчине, мной руководило элементарное чувство деликатности: Костя болезненно переживает трагедию своего отца. Я тебе доверил — ты обвиняешь меня в том, что я толкаю тебя на ложь и обман.

Не скрою, ты попал в нашу компанию не случайно. Я хотел Косте такого друга, как ты. Его много обманывали, отсюда его угрюмость, замкнутость, вспыльчивость. Я надеялся, что общение с тобой сделает его более спокойным и уравновешенным. Я хочу, чтобы Костя стал настоящим человеком. В этом я вижу свой долг. Мне казалось, что дружба с тобой будет полезна ему в этом смысле. Мне казалось, что, узнав сложную судьбу Кости, ты захочешь мне в этом помочь. Ты отказываешься — очень жаль. Вот все, что я могу сказать, — очень жаль.

Слушая Везна, я вдруг подумал, что, наверно, болел раздвоением личности. Будучи один, я думал о Везне одно: факты доказывали, что он прохвост. Когда говорил Везн, факты оборачивались по-другому: Везн выглядел порядочным человеком. И в то же время (вот оно, раздвоение личности!) я знал, что, как только выйду от Везна, он снова будет выглядеть в моих глазах прохвостом. И я твердо решил не дать поговорить себя.

Мне вдруг захотелось смеяться. Такое случается на уроке: ни с того ни с сего начинаешь смеяться. Все на тебя тарашат глаза, не понимают, в чем дело, а ты давишься с хохоту. Нельзя, а не в силах удержаться. Сейчас тебя выставят из класса, а ты не можешь остановиться. Так было со мной сейчас. Нераное, что ли, черт его знает! Я смеялся, как кретин, даже слезы выступили на глазах.

Позже я сообразил, что это был нервный шок. Везн пытался подавить меня своей волей, моя воля сопротивлялась, от такого напряжения и получился нервный шок. Стыдно! В любой ситуации надо сохранять спокойствие, невозмутимость, бесстрашие. Где-то я читал, что англичане носят с этой целью монокль в глазу: мол, что ни случись, я и бровью не поведу. Англичане это здорово придумали, хорошая тренировочка. Но в наше время с моноклем в глазу будешь выглядеть полным шизиком. Надо придумать другую тренировку, выработать спокойствие, хладнокровие, невозмутимость, иначе выдашь себя в любую минуту, как выдал себя Везн, когда я спросил у него про Мавродаки: ему изменили нервы, выдержки не хватило, вот что. Хвати у него выдержки, возможно, он убедил бы меня.

Везн не удивился моему смеху, смотрел на меня и дожидаясь, когда я кончу смеяться. Я кончил смеяться так же внезапно, как начал. Вытер глаза и перестал смеяться.

— Что же будет дальше, — спросил Везн, — намерен ты дружить с Костей?

— С Костей дружить буду, а заниматься нэцкэ — нет, не буду.

По-видимому, я сказал это очень твердо. Везн пристально посмотрел на меня.

— Это твое окончательное решение?

— Окончательное.

— Дело твое. Где нэцкэ-бамбук?

Я опустил руку в карман и вынул обе нэцкэ — бамбук и стрекозу. Краснухин так торопился меня выпроводить, что я забыл ему вернуть ее.

— А ну покажи, что у тебя?!

Везн внимательно рассмотрел стрекозу.

— Краснухин дал?

— Краснухин.

— Зачем?

— Дал.

— Забавная нэцкэ.

— Забавная.

— Надеюсь, ты мне ее оставишь?

— Как же я могу вам ее оставить?

Везн вынул из шкафа фигурку, изображавшую крестьянина верхом на буйволе. Вечер, кончилась

работа в поле, крестьянин возвращается домой, отдыхает сидя верхом на буйволе, поет свою песню. Это была хорошая нэцкэ. От нее веяло тишиной, спокойствием, умиротворенностью свершенного трудового дня.

— Отдашь ему буйвола.

— А если он не захочет меняться?

— Поставишь его перед свершившимся фактом. Я положил стрекозу в карман.

— Этого я не сделаю.

Некоторое время Везн пристально смотрел на меня. Честное слово, мне казалось, что он сейчас бросится отнимать у меня нэцкэ. От этих собирателей всего можно ожидать. Когда дело касается их коллекции, они становятся форменными психами.

Везн не бросился отнимать у меня фигурку. Некоторое время он молчал, потом сказал:

— На твой паспорт сдана нэцкэ в антикварный, кажется, музыканты... Если она продана, надо получить деньги.

— Дайте квитанцию, я пойду получу.

— Я удивился тому, что от тебя приняли ее на комиссию. При получении денег, вероятно, потребуют, чтобы пришли твои родители.

— Мои родители в отъезде.

— Приедут.

Мне не слишком хотелось, чтобы об этом узнали мои родители. Зачем им знать какой-то случайный эпизод моей жизни! Тем более, что я последний раз встречаюсь с Везном. Но Везн меня шантажирует, хочет воспользоваться этой злополучной квитанцией. Ну и черт с ним! Я сам все расскажу своим старикам. Конечно, мне не хочется их огорчать. Я всегда предпочитаю, чтобы со мной случилось что-либо плохое, а не с ними. Если у человека и бывает тревога, то именно за близких ему людей. Когда я представляю себе какие-нибудь опасные ситуации, нападение бандитов, например, или стихийное бедствие — землетрясение, наводнение, — мне становится спокойно прежде всего за моих стариков. И хоть мой папа гораздо сильнее меня, я беспокоюсь за него больше, чем за себя. И все же лучше неприятное объяснение с отцом и матерью, чем вязнуть дальше в этой истории. Лучше признаться в плохом, чем продолжать его.

— Хорошо, — сказал я, — когда вам понадобится получить деньги за музыкантов, я это сделаю.

22

Утром ко мне явился Игорь.

— Дрыхнешь, старик?

— Лежал читал.

— Бальзак... — Игорь повертел в руках книгу. — Архаика, каменный век... Как ты сквозь это продираешься?

— Продираюсь.

— Бесконечные описания, никому не нужные детали, занудство, недержание мысли.

— Зато какие мысли!

— Писатель не должен высказывать своих мыслей, рассуждения автора мешают читателю думать самому.

— Все зависит от количества серого вещества в мозгу, — возразил я. — Меня лично мысли Бальзака поражают своей глубиной. И какие страсти, какие образы! Растиньяк! Или Вотрен — могучая фигура! Игорь снисходительно улыбнулся.

— Мелодрама, провинциальный театр, буффона-

да, страсти-мордасти... В сущности, единственная тема Бальзака — деньги, как делать деньги.

— Не просто деньги, а разрушительная сила денег в обществе, которое...

— Общество здесь ни при чем, — поморщился Игорь так, будто мои рассуждения доставляют ему физическую боль. — В любом обществе деньги — главная сила, и не будем закрывать на это глаза. Кстати, о деньгах. Везн велел получить с тебя должок.

— Какой должок?

— Пятнадцать талеров.

— Какие пятнадцать талеров?

— Два с полтиной — шашлычная, помнишь? Еще два с полтиной — транспортные расходы, Костя за тебя платил, десять — пикник. Итого пятнадцать.

— Но ведь ты сказал — на пикник по пятерке, — только сумел пролепетать я.

— Да, с носа. А кто должен платить за твою даму?

— Но почему именно сейчас?

— Старик, никто не наступает тебе на горло, ни тебе, ни твоей песне. Зайди к Везну и договорись, он пойдет тебе навстречу.

Я вынул деньги и молча отсчитал пятнадцать рублей. Все ясно! Они хотят, чтобы я пришел с повинной, но я не приду с повинной.

— Сразу видно делового человека, — проговорил Игорь с кислой миной.

Не ожидал, что я отдам деньги.

— Сразу видно мелкую душонку, — ответил я.

— Ты о ком?!

— О Везне.

— Зачем так грубо...

— И за тебя я рад, наконец ты нашел свое истинное призвание. Из тебя получится отличный сборщик налогов.

— Старик, есть вещи, за которые бьют по морде!

— Ах, так! — воскликнул я. — Ты хочешь получить и этот долг?

Здесь я должен рассказать про эпизод, с которого начал записки, — за что Шмаков стукнул Игоря в подбородок. Я должен был стукнуть, но Шмаков стоял ближе и опередил меня. Схлопотал же Игорь за то, что не закрыл дверь лифта. Стоял на площадке восьмого этажа, трепался с Норой, а лифт его дожидался. Жильцы выходили из себя: лифт месяц не работал, теперь работает, а ехать нельзя — изволь дожидаться, когда Игорь перестанет трепаться с Норой. Мы со Шмаковым Петром стояли внизу и дожидались, чем кончится эта заваруха. Было ясно, что ничем хорошим она не кончится. И когда Игорь наконец спустился и вышел во двор, мы ему заметили, что не следует быть эгоистом. Он ответил чересчур пренебрежительно и схлопотал в подбородок. От Шмакова Петра. И если бы не вмешался Везн, то и от меня схлопотал бы. Об этом я сейчас ему и напомнил.

— После такого разговора мы вряд ли будем продолжать знакомство, — объявил Игорь высокомерно, впрочем, делая шаг назад.

Я распахнул входную дверь.

— Саёнара!

По-японски это означает «До свидания». Но у меня оно прозвучало как «Позвольте вам выйти вон!».

Здорово я показал Игорю на дверь, классический жест! «Позвольте вам выйти вон!» Отлично сработано! Отбрил я их. Мелкие, ничтожные душонки, думали купить меня за пятнадцать рублей, кусочники несчастные!

Конечно, моему бюджету они нанесли сокрушительный удар. Интересно, сколько у меня осталось?

Страшновато подсчитывать, но надо смотреть правде в глаза.

Я обалдел: шесть рублей — вот все, что у меня осталось. На что я буду жить? И куда я столько профукал?

Пятнадцать — Везну. Крепко он меня подрубил! И не следовало отдавать: ведь я выполнял его поручения. Но поздно думать об этом, надо смотреть правде в глаза...

Итак, пятнадцать рублей Везну... И почему все сразу? На худой конец мог бы отдавать частями. Ужасно жалко! Везн отлично знает, что я сейчас один и взять мне негде. Безжалостный человек! Ладно. Не умру. И надо смотреть правде в глаза.

Итак, Везну пятнадцать рублей... Если бы... Но конечно с этим, не желаю даже думать... Везну — пятнадцать, плавки — три с полтиной, парикмахерская — два тридцать, кафе с Игорем и Костей — восемьдесят (мог обойтись без кафе: ни одного поэта или артиста я там не увидел), телеграмма маме (сыновний долг!). Обеды вчера, позавчера и позавчера, кино с Зоей — рубль, такси с Зоей — еще рубль, на метро ездить, газировку пил, мороженое ел... Черт возьми, придется быть поэкономнее!

Итак, железный бюджет! Утром яйцо всмятку, стакан чаю и хлеб с маслом. Чая мама оставила целую коробку, масла тоже здоровый кусище, сахару — пачка, соли — вагон. Куплю сразу десяток яиц — на все десять дней. В обед — тарелка супа, ужин — отдай врагу... В тридцать копеек можно уложиться, трешка у меня остается — схожу с Зоей три раза в кино. Конечно, никаких такси. Интересно, почему Зоя так любит такси?

Я тут же отправился в магазин, купил десяток яиц и увидел там пакетики с супом. Разведешь такой пакетик в кипятке — и получаешь две тарелки супа. Красота! И не надо в столовую ходить! Я купил пять пакетиков — десять обедов есть! Потом купил пять плавленых сырков — десять ужинов есть! Я обеспечен едой до самого маминного приезда.

Угроза голодной смерти перестала висеть надо мной. Я свободно могу тратить оставшуюся трешку. А когда истрачу, скажу Зое: «Остался без копейки, погуляем так». Она хороший товарищ, я в этом убедился еще в лесу, она поймет. Даже сделаю так — пойду сейчас к Зое и скажу: «У меня трешка, давай прокутим, а там будет видно». Это по-мужски. Черт с ними, с деньгами! Просажу трешку и перестану думать об этом. Тратить так тратить! Долой приобретателей, скопидомов, деяг и жмотов! Долой банду рвачей и выжи! Молодец я: кинул Игорю пятнадцать ре, показал свое моральное и прочее превосходство. И эту трешку просажу сегодня же.

Однако в этот вечер мне не удалось просадить трешку.

Во-первых, в магазине околачивался Шмаков Петр. Во-вторых, висело объявление: сегодня в заводском саду вечер торговой молодежи. Все продавцы и продавицы магазина спортивных товаров туда идут. Будет диспут и будут танцы. И Зоя будет. Мы со Шмаковым Петром тоже решили пойти.

Мне понравилось, что не было президиума. Соборание вел один парень. Он назвался Володей, вел, между прочим, с блеском, ловко и организовано провернул эту работенку. И, главное, сидел не в президиуме, а в зале, иногда вставал, оборачивался и был хорошо всем виден. Безусловно, он

действовал по заранее разработанному плану, сценарий был дай бог! Но орава собралась человек триста, попробуй поруководи ими из зала. Надо приложить мозги. Это не колокольчиком позванивать из президиума.

Выступавшие тоже говорили с места. Никакой казенщины, свободная, непринужденная обстановка. Приходилось, правда, вертеть башкой во все стороны, но это лучше, чем глядеть истуканом на сцену, где какой-нибудь зануда долдонит по бумажке свою тягомотину.

Только двое вылезли на трибуну — Сизов и Коротков. Они живут в нашем доме и работают на инструментальной базе. Есть у нас на улице такая — оптовая база Главинструмента. Обыкновенные ребята, но отпустили длинные волосы. Володя, парень, что вел диспут, спросил, для чего им длинные волосы. Коротков и Сизов вылезли на трибуну и маячили там целых полчаса. Им было приятно торчать на виду у всех. Топтались на трибуне и бубнили.

— Дело идет к зиме, — бубнил Сизов.

— К зиме идет дело, — повторял за ним Коротков.

Ничего больше они сказать не могли. Стояли в своих толстых пиджаках и узких брючках, длинноволосые, смешные, и долдонили: «Тем более, дело идет к зиме. К зиме идет дело». Мол, наступают холода и надо отращивать волосы. На дворе июль, жара смертная, а они стоят на трибуне и бубнят: «Дело идет к зиме». Диспут уже перешел на другую тему, а Сизов и Коротков все топтались на трибуне, пока ребята не схватили их наконец за ноги и не сволокли со сцены.

Диспут шел организованно.

Продавщица Рая, та самая, что ездила с нами на пикник, сказала:

— Отращивает бороду тот, кто ничем другим не может отличиться.

Ей возражал матрос в тельняшке и черной куртке. Я часто встречаю на собраниях и диспутах таких вот неизвестно откуда взявшихся матросов. Они вворачивают мудреные словечки, говорят «у нас на флоте» и произносят «компас» вместо «компас». Но сегодняшний матросик напирал больше на предков и на исконные традиции.

— Маркс, Энгельс, Калинин, Дзержинский, академик Курчатов — все носили бороды, — говорил матрос. — Борода — это характерная черта русского человека. Кто нам дал бороду? Природа! А все, что дала нам природа, прекрасно! И, кроме того, я лично за широкие брюки. Человек в широких брюках имеет молодецкавый вид, ребята в широких брюках выглядят устойчивыми людьми твердого характера. Иван Поддубный носил брюки клеш и не имел себе равного борца в мире...

И понес такую околесицу, что Володя попросил его дать высказаться и другим. Но матрос еще долго не унимался. Из угла, где он сидел, весь вечер доносился глухой шум: матрос спорил с соседями.

Тут высовывается девушка в очках:

— Зачем сугубо частным бородам придавать государственное значение? Надо бороться не с бородами, а с обладателями мелких душонок и мешанских взглядов.

— С хулиганами надо бороться! — закричали все.

Стали выяснять причины хулиганства и предлагать меры. Одни предлагали перевоспитывать хулиганов, другие — сажать в тюрьму, третьи — и то и другое: и перевоспитывать и сажать в тюрьму. Матрос предложил даже расстреливать. Не всех, правда, а бандитов и рецидивистов.

— Фашистскую Германию мы победили, — сказал матрос, — хулиганов и бандитов победить не можем. Парадокс.

Один парень, рабочий склада, сказал:

— Все дело в пьянстве. Выпьет мозгляк на три копейки, идет по улице, куражится, всех задевает. А набить ему морду нельзя: тебя же привлекут за хулиганство.

Это он точно подметил. Как-то один сукин сын привязался к чистильщику ботинок на нашей улице, потребовал, чтобы тот почистил ему ботинки, а сам на ногах не стоит. Чистильщик ему говорит: «Иди домой, проспись», — а он в ответ: «Армяшка!» Мы со Шмаковым Петром оттерли этого расиста от ларька и взяли его а коробочку. Так это у нас называется взять в коробочку — стиснуть с обеих сторон и надавать под ребра. Очень удобная штука. Но у этого типа пошла носом кровь. Какая-то тетка заорала, что мы убиваем человека. Моментально собралась толпа, и явился милиционер. Когда пьяный субчик дебоширил, никого не было, а тут все сбежались. Мы каким-то чудом выкрутились из этой истории.

Опять встает девица в очках:

— Я согласна с предыдущим оратором. Все начинается с водки. И надо подумать, почему некоторые ребята чрезмерно пьют.

Я сказал сидевшему рядом Шмакову Петру:

— Если бы каждый гражданин Советского Союза имел автомобиль или даже мотоцикл, то никакого пьянства бы не было.

Шмаков скоился на меня:

— Почему?

— В нетрезвом виде нельзя управлять машиной.

— Это не решение проблемы, — ответил Шмаков. — Пока мы построим заводы, пьянство будет продолжаться.

— Построить автомобильные заводы не такая уж проблема в наш век.

— А ты выступи и скажи. Выступи, выступи!

— Зачем мне выступать?

— Тогда не звони!

Надо бы, конечно, выступить, но я не умею выступать на собраниях, теряюсь, обстановка на меня действует, что ли... Если бы здесь не было Зои, я бы, возможно, выступил, а при Зое не хочу.

Речь между тем шла о вкусе.

— Вкус — это способность к пониманию и сознательному суждению о прекрасном, — сказал Володя.

Сам он сформулировал или прочитал где-нибудь? Все равно здорово! Не так-то просто запомнить такие формулировочки. Начали с бороды, а перешли к серьезным вопросам. Большое искусство — вести собрание! Почему на школьных диспутах скучища? Боятся, что ребята скажут лишнее. А когда боишься сказать лишнее, не скажешь и главного.

Поднимается человек пенсионного возраста. Такие старички появляются на молодежных собраниях еще чаще, чем матросы.

— Мы стремимся к зажиточной жизни, — сказал старичок. — Почему же наша молодежь должна носить узкое да короткое? Это у первобытных людей не хватало материала, а у нас текстильная промышленность идет вперед. Зачем нам перенимать у Запада их береттики? И что плохого в мраморных слониках? Пусть стоят себе как олицетворение нашего благосостояния. Нам есть чем гордиться.

Ну вот! Шел разговор о серьезных вещах, а старичок опять о барахле. Тут уж я не вытерпел:

— Мы должны гордиться не мраморными слониками, а спутниками, космонавтами, нашими талантливыми молодыми поэтами и художниками.

Мне даже захлопали, честное слово!

Ободренный успехом, я добавил:

— Что касается беретов, то берет может сидеть на пустой голове с таким же успехом, что и шляпа.

Я уж было хотел сказать об автомобиле как о могучем средстве против пьянства, но старичок вскакивает, багровый, злой, и кричит:

— Разве так воспитывают молодежь?!

И показывает на свою голову. А на голове у него шляпа.

Володя сказал:

— Оратор имел в виду шляпу как головной убор вообще, а не чей-либо конкретно.

И, чтобы замять инцидент, предоставил слово выскокой девушке в свитере.

— Я работаю товароведом, — сказала девушка в свитере, — и хочу сказать: истинная красота человека не в одежде, а в духовном мире. Мы много говорим об одежде и мало — об идеалах. А идеалы — это главное...

Диспут принял наконец правильное направление. Я уже подумывал, что бы мне такое сказать об идеалах. Но в это время Зоя обернулась. Я тоже обернулся и увидел верзилу — Зоиного брата. Зоя тут же встала и ушла. Не говоря ни слова. Даже не попрощалась. Обидно! Ведь я пошел на собрание только из-за нее, надеялся с ней потанцевать. А она, не говоря ни слова, встала и ушла.

24

Утром я позавтракал (одним яйцом) и поехал в читальню. Пришлось тщательно просмотреть комплекты газеты за целый год, я не знал ни числа, ни месяца, ни названия статьи, ни фамилии автора.

Через три часа я добрался только до июня. Если статья о Мавродаки опубликована, скажем, в декабре, мне придется сидеть до вечера. А я позавтракал одним яйцом. Хотелось жевать. Сходить в буфет значило нарушить свой железный бюджет. Съездить домой — потерять кучу времени. Я выбрал первое.

Утолив голод винегретом и двумя стаканами чаю, я вернулся в зал. И сразу, в первом же июльском номере, нашел статью о Мавродаки. Такая же ругательная, как и другие. Здорово долбали в то время. Оказывается, Мавродаки возвеличивал искусство самураев, возвеличивал самих самураев и вообще феодалов. Чем именно возвеличивал, я не понял, но было написано, что возвеличивал. И не просто возвеличивал, а всю жизнь только тем и занимался, что возвеличивал. И никакой пользы науке не принес. Так прямо и было написано: «псевдоученый». И неблагоприятными поступками порочил честь советского человека. Что за поступки, опять же сказано не было. В общем, статья начисто зачеркивала Мавродаки как ученого и как советского человека. Была она подписана И. Максимовым. Какой-нибудь тип вроде того, что оплевал меня из окна вагона. Даже назвал Мавродаки подонком. Назови меня кто-нибудь подонком, я бы дал по роже и был бы прав, между прочим.

Я мог бы вырезать эту статью, но если все начнут вырезать нужные им статьи, то от газет останутся одни названия. На ее переписку у меня ушло еще часа полтора.

Возвращаясь из читальни, я увидел возле нашего дома афишу о лично-командном первенстве по боксу среди юношей и подумал, что в них будет участво-

вать и Костя. И когда Костя позвонил мне и сказал, что едет на соревнования, я этому не удивился. Я удивился тому, что он предложил поехать с ним. Мне казалось, что после ссоры в кафе Костя не будет встречаться со мной. А он сам позвонил и позвал на соревнования. Я обрадовался его звонку: лично с ним я не желал ссориться. И мы поехали с Костей на Ленинградский проспект, в клуб «Крылья Советов».

Костя провел меня без билета. Я не люблю проходить без билета, я всегда попадаюсь. И когда тебя выводят из зала, это выглядит довольно унижительно: все смотрят на тебя как на жулика. Но, с другой стороны, глупо брать билет, когда в зале полно свободных мест. И Костя, как участник соревнования, имеет моральное право провести хотя бы одного человека.

Народу в зале было немного. И то, как мне показалось, не настоящие зрители, а разного рода спортивные деятели. Все носило деловой и будничный характер, без азарта, который должен быть на соревнованиях. Звучал гонг, боксеры двигались по рингу, рефери собирал записочки и передавал их судьям, судьи переговаривались между собой и не смотрели на боксеров, секунданты лениво обмахивали полотенцами своих подопечных, что-то им внушали, а подопечные сидели развалившись, тяжело дышали и делали вид, будто слушают своих секундантов. Одни боксеры дрались лучше, другие хуже, но ничего значительного за этим не стояло.

Я вспомнил «Мексиканца» Джека Лондона и подумал, что бой мексиканца с красавчиком Дэнни так волновал потому, что мексиканец дрался за идею, его борьба была одухотворенной, очеловеченной, он бился во имя свободы и потому победил. А здесь было всего-навсего соревнование силы, ловкости, опыта, и больше ничего, ничего великого.

Кто-то сел рядом со мной. Я оглянулся. Это был отчим Кости. Он тоже смотрел на меня, вспоминая, где меня видел. Потом вспомнил и улыбнулся.

— Пришел посмотреть?

— Мы с Костей пришли.

Он еще раз улыбнулся, как мне показалось, несколько смущенно, даже растерянно, отвернулся и стал смотреть на ринг. И, как в прошлый раз, он мне очень понравился. Добрый человек, сразу видно.

Объявили фамилию Кости. Он пролез под канатами и очутился в своем углу. Следом за ним появился его противник.

Костя дрался уверенно. Он левша, стоит в правосторонней стойке, а это всегда опасно для противника, у него сильный удар и правой и левой. Противник был выше. И все равно Костя уже в первом раунде послал его в нокдаун и во втором раунде послал в нокдаун. Рефери прекратил бой и присудил Косте победу ввиду явного преимущества.

Отчим Кости повернулся ко мне.

— Молодец он все-таки.

У него было счастливое лицо. Приятно смотреть на человека, радующегося успеху другого.

— Понимаешь, — улыбаясь, сказал он, — Костя не любит, когда мы, его родители, приходим на соревнования, многие боксеры этого не любят. Я не хотел, чтобы Костя знал...

— Не беспокойтесь, — ответил я.

— Ну, спасибо. — Он потрепал меня по плечу и быстро ушел: не хотел встречаться с Костей.

Конечно, мой отец не пришел бы тайком смотреть на меня, он пришел бы открыто. И если бы я дрался так здорово, как Костя, я бы сам позвал на соревнования моих стариков: пусть посмотрят. И, дерись я

так здорово, как Костя, я бы прямо сейчас, не сходя с места, надавал бы Косте плюх. Так мне было жаль Костиного отчима! Он любит Костю, а Костя заставляет его унижаться. Хам!

Подошел Костя, и мы с ним досмотрели состязания. Стало немного интереснее: на ринг вышли тяжеловесы, а в тяжелом весе ударят так ударят. Костя сказал, что сегодня только четвертьфинала. А когда будет финал, зал будет битком набит.

Мы вышли из клуба.

— Дойдем до Белорусского, а там поедem на метро, — предложил Костя.

Бульвар тянулся посередине Ленинградского проспекта.

— Что у тебя произошло с Везном? — спросил Костя.

Начинается! Опять надо изворачиваться. Мы говорили с Везном о Мавродаки, а о нем Костя запретил говорить. По-видимому, Везн уже передал ему наш разговор. Ну и черт с ними! Надоело, честное слово, тайны, секреты, невыносимо!

— Он просил тебя обменять нэцкэ?

Ах, так, разговор о нэцкэ! Значит, Везн не передал ему нашего разговора о Мавродаки. Странно! Почему?

— Да, просил.

— Он предлагал тебе взамен хорошую нэцкэ.

— Я не имею права менять.

— Чья она?

— Художника Краснухина.

— Тебе какая разница?

— Не желаю иметь дела с Везном.

— А со мной?

— С тобой — пожалуйста.

Костя вынул из чемоданчика нэцкэ. Она изображала всадника с мечом, луком и стрелами в крошечном колчане. Удивительное в этой фигурке было то, что всадник еще не падал с коня, даже не соскальзывал, не склонился на его гриву, и все равно было ясно, что он ранен и сейчас упадет. В фигурке было какое-то неуловимое движение, был последний скачок коня, после которого и конь и всадник рухнут на землю.

— Эта нэцкэ лучше твоей стрекозы.

— Ты ее меняешь для Везна?

— Какая тебе разница?

— Везну я ее не отдам. Если ты так о нем заботишься, почему ты не отдаешь ему своего мальчика с книгой? Везн разыскивает эту нэцкэ по всей Москве, а она у тебя. Хоть пожалел бы его труды!

— Не твое дело!

— Ах, не мое?! Тогда не вмешивайся и в мои дела! Нэцкэ я не отдам! Кончен разговор!

— Разговор далеко не кончен, — процедил сквозь зубы Костя.

Опять угрозы! Смешно, ей-богу! Думают, что я их боюсь, дурачки, честное слово! Идиотики!

Я остановился.

— Вот что, Костя. Угрозы и запугивания оставь для кого-нибудь другого, я уже тебе это говорил и повторяю опять. Твой Везн — прохвост, вот кто он такой, и ты в этом когда-нибудь убедишься. Смотри, чтобы не было слишком поздно. А я не желаю. Вы изолгались и изоврались, а я не желаю. Твой отчим — добрый, порядочный человек, а ты ему хамишь. Везн — прохвост, ты ему лучший друг. Ну и пожалуйста, с богом!

— Не касайся этого! — закричал Костя.

— Мне нельзя касаться твоих дел, а тебе моих можно? Так не пойдет.

— Мои дела — это мои дела, а твои — наши общие, мы их делали вместе.

— Делали, а теперь не будем. Тебе надо зарабатывать у Везна, а мне не надо. Дешево ты продаешься. Прохвост Везн тебе дороже человека, который тебя воспитал. Я только что видел твоего отчима.

Костя поднял на меня глаза.

— Где ты его видел?

— В клубе. Он был рад и счастлив тому, что ты выиграл бой. А ты вынуждаешь его приходить тайком. Он просил меня не говорить тебе, что я его видел. Вот как ты заставляешь его унижаться! А что он сделал тебе плохого? Ты мучаешь своих родных — из-за кого? Из-за прохвоста Везна! А кто тебе Везн? Ведь не отдаешь ты ему мальчика с книгой, все понимаешь!

Эта догадка пришла мне в голову неожиданно. Костя молчал. Я попал в самую точку. Надо развивать успех.

— Не воображай, что все такие дураки. Если людям запрещают говорить, то они не перестают думать. Ты не позволяешь произносить одно имя, но ты не можешь запретить догадываться... Не знаю, как попала к тебе лучшая нэцкэ этого человека, но я знаю, за чьей коллекцией гоняется Везн. И ты это знаешь. И ты знаешь, что такое Везн. Коварный, вероломный человек, всех путает, всех ссорит между собой, всех обманывает. И тебя обманывает, ты еще убедишься в этом.

Костя молчал. Лицо его выражало страдание. То, о чем мы говорили, было главным, самым важным в его жизни. И надо говорить только об этом, больше ни о чем. И я сказал:

— Краснухин хорошо знал Мавродаки. Пойдем к нему?

25

Я третий раз у Краснухина, но у меня ощущение, будто я хожу сюда всю жизнь: так здесь все знакомо, привычно, хорошо. Тесно, нагромождено, пахнет кухней; Галя и Саша прыгают на диване; звонит телефон; Краснухин басит в трубку; нет ни дорогих картин, ни старинной мебели, как у Везна, ни изящных безделушек; и все же именно здесь живет и работает настоящий человек искусства.

В лице Краснухина не было озабоченности, как в прошлый раз. Он был спокоен, безмятежен. Видно, все устроилось, все обошлось. Он объяснился, и больше объясняться пока не надо. На Краснухине был темно-синий костюм и белая рубашка с галстуком. Костюм был старенький, потертый, заношенный, сидел мешком, и все же Краснухин выглядел в нем очень представительным — крупный, сильный, красивый мужчина.

Чувствовался подъем, праздник, что ли, какой-то. Из кухни пахло не треской и не молоком, а чем-то вкусным, аппетитным, жареным мясом как будто... Жена Краснухина была озабочена, но не как в прошлый раз, а оживленно, как хозяйка, ждущая гостей.

— Я сегодня при деньгах, — сказал Краснухин кому-то по телефону, — давай подгребай.

Из дальнейшего разговора я понял, что Краснухин выполнил срочный заказ, оформил, проиллюстрировал чью-то книгу в издательстве и по этому поводу созывает гостей.

В общем, пришла удача, особенно ощутимая в доме, где удачи бывают не часто. И я был этому

рад: должны же быть удачи и у непризнанного художника, черт побери!

Несколько минут Краснухин не сводил с Кости своих громадных глазниц. На меня он так не смотрел ни в прошлый раз, ни в позапрошлый, а на Костю смотрел особенно, я бы сказал, потрясенно: понял, кого я привел с собой. Самое правильное — оставить их вдвоем. Я встал.

— Пойду, пожалуй, а ты, Костя, посиди.

Недоуменный взгляд Кости показал, что он не оценил моего дипломатического хода.

Тогда я сказал Краснухину:

— Евгений Алексеевич, это мой товарищ, Костя. Вы не расскажете ему о профессоре Мавродаки?

Краснухин еще раз посмотрел на Костю, поворачивая глазами, потом долго рылся в бумагах, развязывал и завязывал тесемки на папках, перебирал карточки и рисунки и, наконец, нашел то, что искал, — большую групповую фотографию.

— Наш выпуск.

Тонко очиненным карандашом он показал на небольшого, черненького, улыбающегося человека в центре группы. Это был Мавродаки... И я поразился его сходству с Костей.

Костя так и впился глазами в фотографию.

Я не хотел ему мешать и отошел в сторону, рассматривая висевшие на стене гипсовые слепки рук.

Краснухин тоже делал вид, что не обращает внимания на Костю, ходил по мастерской, что-то перебирал, переставлял, выходил на кухню, разговаривал с женой, снова возвращался. Было видно, что он не умеет отдыхать, не привык к темно-синему костюму, неважно чувствует себя в белой рубашке и галстуке.

— Вы можете мне ее дать? — спросил Костя про фотографию.

— Насовсем — нет, переснять — пожалуйста.

— Это Владимир Николаевич? — спросил вдруг Костя.

Краснухин наклонился к фотографии.

— Да, по-видимому... Он был тогда в аспирантуре.

Это новость! Везн еще в то время лично знал Мавродаки. Почему же он ничего мне об этом не сказал?

— Вам незнакома такая фамилия — Максимов? — спросил я.

— Кто такой Максимов?

— Критик, наверно.

— Держусь от них подальше.

— Говорят, Владимир Николаевич прокатился по вашему адресу?

— Было дело.

— А что он писал?

— Тебя это интересует?

— Интересует.

Он кивнул на лежащую в углу кучу журналов.

— Поищи третий номер за прошлый год.

Найти журнал тоже оказалось не так просто. Я поразился беспечности Краснухина. О нем написана статья, а он ее засунул сам не знает куда.

Я нашел журнал не в той куче бумаг, которую показал мне Краснухин, а совсем в другом углу, за токарным станком.

В статье было написано, что творчество Краснухина несамостоятельно и не находится в главном русле. Потом следовала фраза: «Искусство принадлежит тому, кто несет его народу». Правильная мысль! Но ведь мне Везн говорил другое: «Искусство принадлежит тому, кто его любит, понимает и отстаивает». Как-то раз он даже сказал: «Приходя

на выставку, я чувствую себя обокраденным». Он хочет, чтобы искусство принадлежало ему одному, хочет набить им свои шкафы и полки. Дело даже не в том, что он думает одно, а пишет другое. Везн — прохвост, это мне известно. Дело в том, что в статье Максимова тоже трактовался этот вопрос. Я разыскал это место. Вот оно: «Искусство не принадлежит тому, кто им занимается. Оно прежде всего орудие...» Мысли разные, но высказывал их один человек, это ясно, один и тот же беспринципный человек. В статье Максимова было больше ругательства, в статье Везна — меньше, но писал их один человек, это точно.

— Вы дадите мне на пару дней журнал? — спросил я.

— Гм... А с чем я останусь?.. Впрочем, только верни...

Поразительный человек! Ни в чем не может отказать.

— Через два дня журнал будет у вас.

Краснухин достал из шкафа нэцкэ — круглую лакированную пуговицу с изображением цветка на высоком тонком стебле. Цветок тянулся к солнцу, прекрасный, молодой, гибкий, излучающий радость и торжество жизни. Кругом был мир и зелень, за горизонтом пылало солнце, а цветок стоял один, гордый, сильный, чуть наклоненный в своем стремительном порыве.

Несколько минут Краснухин молча любовался пуговицей, потом сказал:

— Что прекрасно в этой нэцкэ? Прекрасно доброе чувство, которое двигало ее создателем, сознание, что и сотни лет назад люди радовались прекрасному и доброму. Я бы так и оценивал произведения искусства — по степени доброго чувства, которое они вызывают.

— Это верно, — заметил я. — Еще Пушкин сказал: ...«чувства добрые я лирой пробуждал»...

Краснухин поворачивал на меня глазами, но ничего не ответил. А чего отвечать? Лучше Пушкина не скажешь!

Краснухин положил нэцкэ в коробочку и протянул Косте.

— Возьми, это из коллекции твоего отца.

26

Мы вышли с Костей от Краснухина. — Краснухин — человек, — сказал я.

Костя молчал.

— А Везн написал про него подлую статью, — продолжал я.

Костя молчал.

— Хороший человек не напишет подлую статью, — заключил я.

Костя молчал.

— Ты знаешь, как умер твой отец?

Его лицо потемнело.

— Знаю.

— А почему он это сделал, знаешь?

— Моя мать ушла к другому человеку.

— Кто тебе сказал?

— Это не имеет значения.

— Тот, кто тебе это сказал, — лгун и обманщик.

— Молчи, ты ничего не знаешь!

— Ты молчи! Я знаю больше тебя, сейчас ты в этом убедишься! Давай присядем.

Мы присели на скамейку. Я протянул Косте

51

статью Максимова. Он прочитал ее. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Сильный парень, ничего не скажешь!

— Тебе все ясно? — спросил я.

— Зачем они скрывали от меня? — проговорил Костя.

— Как ты можешь это говорить! Ты не знаешь всех обстоятельств, ты ни разу не говорил с матерью, как ты можешь ее осуждать! Ты вообще не можешь ее осуждать: она тебе мать.

— Я никого не осуждаю, — возразил Костя, — но не хочу с ними жить и не буду.

Он произнес это со своим обычным упрямством. Убеждение его было поколеблено статьей. Он трезмирован неправдой, в которой вырос, никому и ничему не верит. Ужасно жаль этого парня, но как его переубедить?

— Куда девалась коллекция?

— Не знаю.

— Ты поговоришь с матерью?

Он молчал.

— Ты поговоришь с матерью?

— Подумаю, — ответил Костя.

Во дворе, у магазина спорттоваров, девушки разгружали фургон. Их развлекал Шмаков Петр. Нес какую-то чепуху, а они смеялись. Какую бы ересь ни порол Шмаков Петр, девчонки всегда хохочут. Несут футбольные мячи, а он: «Забьем голешник». Все хохочут. А что смешного? Ташут теннисные ракетки, а Шмаков: «Полетим на этой ракете на Луну». Глупо? Глупо! А все смеются.

— Что делаем после работы? — развязно спросил Шмаков у Зои.

— А что вы предлагаете? — в тон ему бойко ответила Зоя.

— Есть дивные пластинки у меня, свободная квартира у Кроша.

Я не против того, чтобы собраться. Но мог бы сначала спросить: располагаю я свободным временем или нет?

Кроме электропроигрывателя, Шмаков притащил коробку с новыми пластинками. На мой вопрос, где он их достал, ответил:

— Где достал, их уже нету.

Любит порисоваться, особенно перед девчонками. И командовать любит. И пожрать.

— Девушки, наверно, голодны. Жарь яичницу, Крош!

— Я сама поджарю, — сказала Зоя.

Светлана и Рая мыли посуду, Зоя жарила яичницу, я накрывал на стол, Шмаков менял пластинки на проигрывателе.

Все получилось очень весело и мило, не хуже, чем на пикнике. Мы съели яичницу из восьми яиц (два я съел раньше), рубанули все плавленые сырки. Шмаков еще потребовал, чтобы я сварил суп из всех пакетиков, но я предложил сделать это ему самому, и он отказался.

Потом мы смотрели по телевизору соревнования по художественной гимнастике. Соревнования понравились девочкам; они сказали, что в их магазине недавно продавались точно такие же костюмы и тапочки, какие были на гимнастках.

Я предложил всей компанией поехать завтра в Химки, на пляж.

— Завтра не могу, — загадочно улыбаясь, ответила Зоя.

— Ведь завтра понедельник, в магазине выходной.

— Потому и не могу, что выходной.

Девчонки захихикали, стали подмигивать друг другу, точно у них была бог весть какая тайна.

— Вы чего? — недоуменно спросил я.

Они продолжали перемигиваться и хихикать, не обращая внимания на мой вопрос, игнорируя мое недоумение, на что-то намекали, просили Зою чего-то там купить. Они до того дохихикались, доперемигивались и доигнорировались, что в конце концов проболтались: завтра Зоя едет в магазин для новобрачных. Как торговый работник? В порядке обмена опытом? Ничего подобного! Зоя едет в магазин для новобрачных как новобрачная. Она собирается выйти замуж. Черт возьми! И за кого! За верзилу, которого я хотел считать ее братом.

— Это правда? — спросил я Зою с полным достоинством.

— Это правда, — ответила Зоя тоже с полным достоинством и со своей проклятой улыбкой.

Шмаков Петр смотрел на меня. Еще ухмыляется, остопок! Мне что! Я не влюблен в Зою так, как он. Его девушка выходит замуж, а он ухмыляется.

— Не огорчайся, Крош, — рассмеялась Рая, — мы тебе найдем другую невесту.

Дуры, как разговаривают со мной!

— Для меня это не новость, — сказал я, — жених — шофер такси.

— Откуда ты знаешь? — удивилась Зоя.

— Видел, как он к магазину подъезжал, — заметил Шмаков, завидуя моей проницательности.

— Я все знаю. Я так много знаю, что мне уже неинтересно жить.

Я повторил выпендючку Игоря. Но здесь она годилась: главное — было сохранить достоинство. А догадаться, кто приучил Зою раскатываться на такси, было нетрудно.

Непонятно только, зачем она тогда, в лесу, разрешила себя поцеловать. Таковы они!

27

Не так уж я любил Зою. Конечно, приятная девчонка. Но если бы, допустим, мы плыли на пароходе — я, Зоя и Майка — и пароход стал бы тонуть, я еще не знаю, на помощь кому бы я бросился в первую очередь — на помощь Майке или на помощь Зое. По-видимому, сначала Майке. А уж вытаскивая Майку, кинулся бы за Зоей. Не исключено, что за это время Зоя пошла бы ко дну. Но не думаю: она крепкая девчонка и полная. А полные, как известно, лучше держатся на воде и не так быстро тонут.

Если разобраться, то любви у нее ко мне не было, так, дурака валяла. Недаром меня насторожила ее улыбка, насмешливая, поощрительная, с примесью любопытства и с оттенком сомнения, улыбочка Елизаветы Степановны. Черт бы побрал эту улыбочку! В сущности, это улыбка поверхностных, неглубоких натур. У Майки не бывает такой улыбки. Майка никогда не ставит себя в двусмысленное положение. Как она отбрила слесаря Лагутина, когда мы проходили производственную практику на автобазе! И с Майкой есть о чем разговаривать. Бывают иногда разногласия, но это естественно: люди не могут думать одинаково. А с Зоей я решительно не знаю о чем говорить, мы не понимаем друг друга. Шмакова Петра она понимает, а меня никак. Анекдот про английских лордов — и тот не поняла.

И не слишком интересно ухаживать за девочкой, которая улыбается всем без разбора.

Я, конечно, утешал себя. Как там ни говори, обидно. То, что она дала повод Везну, могло получиться случайно. Но зачем она дала повод мне? Улыбалась, позволила целовать, ходила в кино. Легкомысленная девчонка! Верзила совершает большую ошибку, женясь на ней.

Даже если они разыграли меня, все кончено. Конечно с Зоей. Но они не разыграли. Достаточно вспомнить, как они обсуждали, что будут покупать в своем пошлом салоне для новобрачных!

И все же было обидно. На душе скребли кошки. Богатое событиями лето: я узнал, как бегают по спине мурашки и как на душе скребут кошки. Или, как говорят наши наставники, у меня прибавилось жизненного опыта. Стало ли мне от этого лучше, — не знаю.

Я заставил себя не думать о Зое. Весь следующий день ждал звонка Кости. Не выходил из дому, опасаясь, что он позвонит без меня. Питался супом из пакетиков, но из дому не выходил. Порубал три пакетика.

Костя не позвонил, и я отправился к нему сам.

Дверь мне открыла худенькая женщина с грустными глазами — мать Кости. Она сказала, что Костя у себя. Через большую комнату, где играла на рояле Костина сестра, я прошел в лоджию.

Костя лежал на раскладушке и читал. Он скосил на меня глаза, но не положил книгу.

— Чего не звонишь?

— Занят был.

Я кивнул в сторону большой комнаты.

— Говорил?

— Да.

— Ну и что?

— Все получилось из-за статьи.

— Все ясно, а теперь сравни. — Я протянул ему журнал со статьей Везна, туда была вложена и переписанная мной статья Максимова.

Больше мне нечего было говорить. Костя был достаточно умен, чтобы во всем разобраться.

— Мама вышла за отчима через несколько лет после того, как все это случилось, — сказал Костя. — И отчим меня усыновил. Они не хотели, чтобы я знал, как умер мой отец, боялись меня огорчить, что ли, и потому скрывали от меня правду.

— Ну что ж, — сказал я, — самое время подвести итоги.

— Я это сделаю сам, — сказал Костя.

— Мы это сделаем вместе, — ответил я.

28

Везн встретил нас настороженно. Не ожидал, что я приду снова, да еще с Костей. Костя поставил на стол фигурку мальчика с книгой.

— Откуда она у тебя? — спросил Везн спокойно.

— Она всегда была у меня.

— Понятно.

За его спокойствием угадывалась тревога.

— Я читал вашу статью о Краснухине, она мне не понравилась, — сказал Костя.

— Мне она тоже не слишком нравится, — ответил Везн. — Но, напиши ее другой, она была бы еще хуже.



Уж слишком издалека начинает Костя. Так мы никогда не доберемся до сути. Я спросил напрямик:

— Вы знали такого — Максимова?

— Что за Максимов?

— В сорок восьмом году он написал статью о Костином отце.

Передо мной мелькнул знакомый мне уже мгновенный, колющий и вместе с тем жалкий и обреченный взгляд.

— Да, такая статья была, я помню.

— Максимов — бесчестный человек, — сказал Костя.

— Ты встречал абсолютно честных людей? Где? Назови! — сощурился Везн.

Костя посмотрел на меня. Везн перехватил его взгляд и пренебрежительно поморщился:

— Крош — бесплодный фантазер и мечтатель. А тебе предстоит жизнь. В мире, где слабый падает под ударами судьбы. Тебя не обманет только твоя независимость — я тебе ее дам.

Меня поразила страсть, с которой говорил Везн. Он любит Костю, это точно. Его неподдельная искренность поколебала даже меня. Я снова почувствовал в себе раздвоение личности. Надо взять себя в руки! Что из того, что он любит Костю? Вотрен тоже любил Люсьена де Рюбампре.

— У меня такое впечатление, — сказал я, — что статью о профессоре Мавродаки и статью о художнике Краснухине писал один человек.

Того, что произошло вслед за этим, я никак не ожидал. Везн бросился на меня и схватил за грудь. Хорошо, что я сидел. Если бы я стоял, то наверняка бы упал: так стремительно бросился он на меня. И если бы Костя не схватил его за руки, он бы меня наверняка задушил. Слово даю!

— Ничтожество! — бормотал Везн трясушимися губами. — Как ты смеешь! Дрянь!

Вероятно, я немного испугался. Испугаешься, когда здоровый, спортивного вида гражданин хватает тебя за горло. Если разобраться, то произошла отвратительная сцена. Взрослый, как будто интеллигентный человек бросился драться. Вот бы уж никогда не подумал, никогда не ожидал! А мы еще на диспутах рассуждаем о мелком хулиганстве!

Везн опустился в кресло и закрыл глаза руками. Довольно трагическая поза. Мне даже сделалось как-то неловко.

Но Костю эта поза никак не тронула, я видел это по его холодному, бесстрастному лицу. И правильно! Хорошим отношением к Косте Везн хотел искупить свою вину. Но ведь он хотел сделать Костю таким же проходимцем, каким был сам. Какое же это искупление вины? Это усугубление вины!

Не отнимая рук от лица, Везн глухо проговорил:

— Все не так, как ты думаешь, Костя. Со временем ты все поймешь... Но верь только мне! Все, что я делаю, я делаю для тебя, ты это знаешь.

— Максимов — это вы? — холодно спросил Костя.

— Нет! — закричал Везн, отнимая руки, и я поразился тому, как сразу постарело его лицо. — Максимов — это не я. Максимов — это время...

Потом я сообразил, как мне следовало ответить Везну: «Плохого времени не бывает, бывают плохие люди». Это было бы сказано! Но поздно думать об этом. Впрочем, если представится случай, я это выскажу.

На улице я хотел обсудить с Костей все, что произошло. Надо было выяснить еще некоторые детали. Но Костя не был настроен разговаривать. Я только спросил:

— Будешь приходить к нам?

— Буду.

Он вынул из кармана нэцкэ — мальчика с книгой — и протянул мне:

— Возьми, может быть, будешь собирать...

— Зачем? Такая дорогая штука! И я не знаю, буду ли я собирать, скорее всего, что не буду. И потом, ведь это...

Я хотел сказать, что ведь эта нэцкэ — память об отце. Но Костя не дал мне договорить.

— У меня есть еще одна, та, что дал Краснухин, — цветок...

— Спасибо, — сказал я, — так приходи.

— Ладно, — ответил Костя, повернулся и пошел по улице.

Некоторое время я видел его маленькую, но сильную фигурку, потом он смешался с толпой прохожих.

Я представил себе, как он придет домой и будет разговаривать со своей матерью и со своим отчимом. И когда я представил себе отчима, я подумал, что на свете все же хороших людей гораздо больше, чем плохих.

Потом я открыл коробочку и снова рассмотрел нэцкэ — мальчика с книгой, лучшую нэцкэ в коллекции Мавродаки.

«Мальчик пристально вглядывается вдаль. Что видят его глаза? Таинственные образы проносятся в детских мечтах, подобно песням птиц. Но что мы сделали для того, чтобы королевство фантазии стало рядом с нами навсегда?»

Хорошая притча, правда?

Ею я начал, ею и заканчиваю свои записки.

До свидания!

1964—1965 гг.
Москва.





**Михаил
Лермонтов**

Поэты Победы

Мы — поэты Победы,
В славе, в прахе, в пыли.
Мы — большого поэты,
От большого мы шли.
Ни Берлина, ни Праги
У солдат не отнять.
Годы нашей отваги
Под архив не подмять.
Потускнеют медали!
Их начистим опять.
Мы такое видали,
Что иным не видать.
Не цвели, как нарциссы,
Грудью шли против бед.
Выжигали нацисты
Нашей юности цвет.
Счет потерян потерям
По весне, по зиме.
А погибшим — не терем,
А холмы по земле.
Из земли, из забвенья
Вызывая ребят,
Как приказ поколенья,
Наши строки трубят.



Мустаю Кариму.

Был пароход наш белый,
Шел пароход по Белой
Еще водой не бедной.
Давал гудок победный.
И всматривались люди в поселки и холмы.
Мы палубу по кругу измерили ногами.
Уснули мы на Белой — проснулись мы
на Каме.
...Уснули мы на Каме — на Волге встали
мы.
Впадали реки в реки,
как будто руки в руки...
Из рук да в руки реки передавали нас!
Мы так и представляли!
Скульптурные, как греки,
Культурные, как греки
(гомеровские греки),
Мы солнцу подставляли то профиль,
то анфас.

И Волга нас качала. И нас Казань
встречала
И говорила очень приятные слова.
И Горький с нежным Нижним встречал
нас у причала.
А впереди скучала уже о нас Москва.
И влажная купальщица махала мне
с мостка.
Махали наши реки волнистыми платками.
Как крылья за спиною, их ситцевый туман.
И вот уже ни Белой, и вот уже ни Камы.
Идем Московским морем в Москву,
как в океан!
Впадали реки в реки, и воды прибывали.
И люди приготовились к последнему
броску.
С ладони на ладони меня передавали
Родные реки наши. Вот как я впал
в Москву.



**Игорь
Жданов**



Мне снятся фиолетовые чащи,
Мне снятся танки, черные, рычащие,
Вода в траншеях, гильзы на песке,
Запекшаяся струйка на виске.
И вот я поднимаюсь с пистолетом,
Зажатым в кулаке моем воздетом,
Спешу, рукой по воздуху рублю,
Кричу «ура» — атаку тороплю.

И вижу, как — во сне ли, наяву ли —
Отскакивают, сплющиваясь, пули.
И кто-то, улыбаясь сквозь прицел,
Кричит: «Сдавайся, красный офицер!»
И очередь... И я бегу упруго
По берегу заиленного Буга,
Бегу, и спотыкаюсь на бегу,
И все-таки стреляю по врагу.
Но две обоймы — это слишком мало.
Ревущая громадина подмяла,
Сломала, изувечила меня
Чужая маслянистая броня.
Мы до конца стояли — по уставу.
Лицом к реке легла моя застава,
Лицом к реке — на гусеничный след.
В моей руке отцовский пистолет.

По мне прошлась тяжелая броня,
Хотя убили там и не меня.



**Александр
Николаев**

На Курской дуге

1

Могила увенчана пушкой
еще в сорок третьем году.
К той пушке подходит старушка
и крестит ее на ходу.
Истлела на пушке резина,
и въелась в царапины ржа.
Над ней молодая осина
стоит, виновато дрожа.
Но разве она виновата,
что зернышко ветер шальной
занес на могилу солдата
и спрятал под пушкой стальной!
Ей встать бы в сторонку немного,
с подружками в лес убежать.
Дрожат ее листья, как могут
лишь листья осины дрожать.
Она бы ушла, да не в силах,
а я ей помочь не берусь.
О, сколько их в братских могилах
бессмертных сынов твоих, Русь!

2

Мне мысли понятны и близки
того, кто разумно решил,
чтоб пушки, а не обелиски
стояли у братских могил.
Еще наши предки когда-то,
в загробное веря житье,
в могилу с погибшим солдатом
железное клали копьё.
На Волге, на Рейне, на Ниле,
обычай свято храня,
с погибшим бойцом хоронили
его боевого коня.
Еще со времен Мономаха,
а может быть, раньше, всегда
солдаты вставали из праха,
когда подступала беда.

3

К солдатской могиле из леса
идут на поклон деревца,
как этот мальчишка белесый,

что даже не видел отца.
Хранит скорострельная пушка
свою боевую красу.
А нос у мальчишки в веснушках,
хоть осень уже на носу.
Он долго, крепясь через силу,
стоит перед прошлой войной
и молча глядит на могилу.
А возраст его призывной.
Он будет солдатом, чтоб где-то
на свежих могилах солдат
безмолвно не встали ракеты,
как пушки сегодня стоят!



**Сергей
Дрофенко**

Святые горы

Развалины дворянского гнезда.
Здесь Ганнибалы век свой вековали.
Над рощей, где кукушки куковали,
сияет заповедная звезда.
И в сумерках вдоль облачной гряды,
смыкая разговорчивые кроны,
дубы широколистые и клены
выстраивают пестрые ряды.
Протяжный свет струится из окон.
Бредут стада, гонимы пастухами.
Так этот край сроднился со стихами,
что вправду здесь поэзия — закон.
Не ритм, в котором трудится родник,—
я слышу частый пульс височной жилки
того, кто здесь бродил по тропам
ссылки,
подняв в ненастье шубы воротник.
Здесь на капризном, взмыленном коне
сводить с ума стихом и словом острым
скакал он через лес к тригорским
сестрам
навстречу ночи, ветру и луне.

От полевых цветов течет дурман.
Сверчок за печкой песню запекает.
Курчавый петербуржец затевает
чреватый вдохновением роман.
Прошли года.
Необратимый срок.

А ведь всего два кратких поколения!
К услугам экскурсантов «Бакалея».
Не будь же, о мечтатель, слишком

строг.

Поставь мотор на подку подвесной.
Усвой много времени повадку.
Разбей свою двухместную палатку
над Соротью неспешной, под ветлой.
Смути гитарой девственную тишь,
не помышляя о господнем даре.
Пусть все-таки узнают эти дали,
как ты поешь, целуешь, ешь и спишь.
Но что же делать мне, когда в лугах
глотают я сегодня тот же ветер
и вечность, а не только этот вечер,
ношу росу все ту же на ногах!
По-прежнему играет тот сверчок,
что некогда в гостинной поселился
и, как умел, со всеми веселился,
подъемля свой пронзительный смычок.
Что тут блокнот и след карандаша?
О чем в ночи шумит прибрежный

тальник!

Неторопливых, чуть сентиментальных,
младенческих страстей полна душа.
Спасибо, жизнь, за счастье этих встреч!
И все же сожаленье мысли гложет,
что благодарность выразить не может
незрелая, беспомощная речь.
Не смеет и в мечтаньях голос мой
сравниться с неподкупным тем и

прежним,

оборванным
ничтожеством заезжим
в минувшем веке,
в год тридцать седьмой...

Зима

В. Леоновичу.

Держалась ясность несколько недель.
На льду горело солнца отраженье.
А вот вчера ударила метель,
чтоб подхлестнуть тебя, воображенье.
Над кровлями метнулся дым из труб,
и фонари под ветром закачало.
И вновь меня подвигнуло на труд
неясное душевное начало.
Что память сберегает до поры!
Военных зарев отсветы косые,
уроки детства, юности дары —
тридцатилетие под звездой России.
Высокой речи требует предмет,
нельстивого, несуетного слога,
суждений независимых — примет,
естественных для Пушкина и Блока.
Я ощущаю возраст свой остро,
далек от мысли о житейском благе.
Торопится свободное перо
по снежному раздолю бумаги.
И старая надежда греет грудь,
когда к чернилам льнет скрипун

железный:

быть может, я смогу окончить путь,
оставив след, сердцам небесполезный.
А за окошком снега пелена,
и я зову тебя без долгих сборов
прийти ко мне для крепкого вина,
живых стихов и смелых разговоров.
И пусть метель совсем укроет дом
и ночь скует безропотные воды, —
как в юности, мы время проведем,
дыша морозным воздухом свободы.

Деревья

Было жизни с лихвой,
и ребячество все убывало,
но свиданья с листвою
до сих пор — в первый раз, как бывало.
Там, где я был рожден,
когда звезды в ночи пропадали,
ее желтым дождем
на меня сентябри опадали.
Проходила зима,
удлинялись апрельские тени,
и сводило с ума
всероссийской листвы шелестенье.
Гул войны настигал,
но и то слышал мертвый над Волгой,
как он рос — не стихал,
этот голос протяжный и долгий.
Разложу ль по местам,
расскажу ль перед смертью стихами,
как в грозу по листьям
торопливые капли стекали?
Да простят мне леса —
острова торжествующей флоры,
что в мои-то лета
я подслушивал их разговоры.
Оправданья мне нет.
Мне платить им пожизненной данью.
У кукушки сто лет
попрошу:

— Нагадай оправданье!

Бескорыстие

Поля не знают, что они поля,
и полевой дороге не морока
не знать о том, что имя ей дорога —
петляет, под колесами пыля.
От щедрости своей несет река
тебя, рассвет, качающийся утло.
Не оскорби ж доверчивости утра,
поспешности бездумная рука!
Я следовать старался тишине,
и шелесту листвы, и вешним водам,
и слушал, как упорно год за годом
ты зрело, бескорыстие, во мне.
Смотрели хмуро тучи из-под век
и, кроме пенья птиц и солнца, кроме
всего, чем живы люди, запах крови
ты приносил в дома, практичный век.
Ты грозные забавы затевал
и временность расчетливую славил.
И все-таки ведь я с тобою сладил
тем, что пример меня не задевал.
Зачем вы существуете, стихи?
Зачем луной украшен летний вечер?
Зачем цветет акация, а ветер
без привязи гуляет по степи!
Добро не может душу не задеть,
воплощено в улыбку, ливень, колос.
И если есть у человека голос,
то человек не может не запеть.

Песенка о Наташе

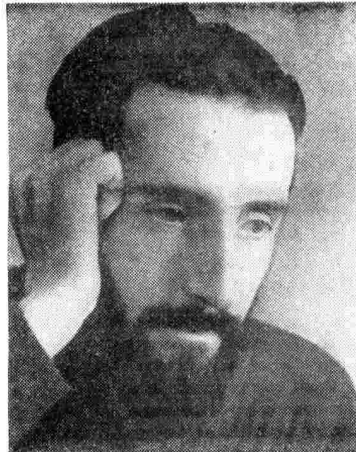
А время-то скоро проходит, но та же
в дни стужи и летней жары
проходит по жизни Наташа, Наташа,

сестра моей юной поры.
 Мы виделись часто, а видимся редко.
 Мы пишем в своих дневниках,
 мол, счастье, наверно, та самая репка,
 что вырвать не можем никак.
 Не мы посадили, и вырвут другие,
 но только, все так же чисты,
 зачем они снятся мне — те дорогие,
 простые, как сердце, черты!
 Я знаю, как это бывает на свете.
 Крылато любовь говорит.
 Но только сначала горят ее свечи.
 Потом керосинка горит.
 Коптит себе, знай, да виски обжигает.
 На пальцах — укусы иглы.
 А женщина борется и обживает
 другие миры и углы.
 А поиск идет, продолжается поиск.
 Мы прежние песни поем.
 И годы — расплатой нагруженный
 поезд —

идут и идут на подъем.
 Наташа! Уже не застольным знакомым —
 ведем мы приятелям счет.
 И возраст иные диктует законы,
 и время нам щеки сечет.
 Но лишь опускается слабости облак,
 вися над моей головой,
 я вновь вспоминаю твой голос и облик
 в чаду толчеи деловой.
 Они наплывают туманно, нечетко.
 И снова, как будто с горы,
 ты сходишь на помощь, богиня,
 девочка,
 сестра моей лучшей поры!

Стихи о тишине

Хвораю. Пауз лишена,
 бессонниц музыка, исчезни!
 Утраченная тишина —
 название моей болезни.
 Что ночь ближайшая таит?
 Я помню, как во мне звучало:
 — Стихии противостоят
 души разумное начало.
 Пришедший с тишиной на свет,
 я убеждаюсь, что отныне
 во мне ее покоя нет.
 И мать печалится о сыне.
 Грустит — господь не приведи.
 Ласкает добрыми руками.
 Что ей скажу, когда в груди
 эпоха движется рывками!
 И чей-то беззащитный крик,
 и чьи-то слезы и упреки,
 и неосуществленных книг
 предполагаемые строки —
 все это слышу я в себе,
 склонившись над стопой бумажной.
 Завидуй же такой судьбе,
 любитель трудностей отважный.
 А ты во имя той любви,
 что сквозь года ведет упрямо,
 на жизнь и смерть благослови
 свою тишиною, мама!..



Владимир
Британинский

Дом

Дом, как бог: бережет береженных —
 престарелых и малышей.
 Этот был — для молодоженов.
 В нем сквозило со всех щелей
 и дымило — топи смелей!
 Жили в доме четыре пары,
 по количеству комнат в доме.
 Парни были бородачами
 (не в угоду нынешней моде).
 Парни были буровиками.
 Жены день в конторе торчали
 над какими-то чертежами:
 изрезали рулоны бумаги,
 изводили флаконы туши —
 получалось у них все лучше и лучше!
 Приходили парни со смены.
 Всю спецовку швыряли в угол.
 Выпивали (и жены с ними),
 занюхивали луком.
 А за окнами был поселок.
 И дорога вела на рудник.
 И прожектор цвел, как подсолнух,
 в темных, зимних, полярных тундрах.
 Жили-были. По субботам мылись в бане.
 В воскресенье брали лыжи.
 А один играл на баяне.
 Возвращались лыжники с лыжницами,
 жен вытряхивали из шуб...
 В этом доме взаимной слышимости
 не ворчали на лишний шум.
 Все ночные шепоты, скрипы
 шиты-крыты под общей крышей,
 хоть торчит к соседям насквозь
 каждый в стенку забитый гвоздь!
 А весна врывалась июнем.
 Таял снег. Вода прибывала.
 И кровать и стол омывала.
 И шутили в письмах: «Воюем
 с наводнением — времени мало!..»
 Есть дома, берегут береженных:
 дом ученых и детский дом.
 Этот был — для молодоженов,
 очень молодо было в нем!

Рерих

«Да будет мир»

Надпись на его могиле.

Когда война была на русских реках
[наш — этот берег, немцы — на другом],
философ Неру и философ Рерих
беседовали на вершинах гор.
Нам приходилось жить скороговоркой,
где перебежками, а где ползком.
Что нам до вечности высокогорной,
витающей над этим стариком!
У нас внизу бурлит потоп кровавый,
и злободневны только гнев и страх...
Но он был прав: вззошли из пепла травы,
и ветер с гор коснулся наших трав.
На русских реках, пасмурных и серых,
почиет мир,
как мальчик на руках.
А берегом проходит старый Рерих,
весь белый-белый, в розовых очках.

✧

Копилки многолетний свет.
Мгновенный всплеск салюта.
Нет, солнца черного тех лет
не осветит минута!
Иллюминации столиц,
с парадами, с оркестрами...
Салют! Лишь раны он солит
солями разноцветными.
О звезды детства моего —
копейки в кепке инвалида!
А снегу, снегу навалило —
белым-бело, белым-бело!
Зиме спасибо хоть за то,
за то, что поле побелело:
все, что пылало, что болело,
снегами все замечено!
Земле спасибо хоть за то,
за то, что с хлебом полегло...
Но детства нашего начало —
как затемненное окно!

✧

Взаимопонимание людей —
настоячиво желаемое чудо!
Потемки заполняли душу чью-то,
и вдруг светает, вдруг светает в ней!
Писать ли письма,

как писал Фурье
[и каждый вечер ждал в условном
месте!],
стучать ли в стену, как стучат в тюрьме:
ведь одиночество страшнее смерти!
Крутить ли чаще телефонный диск:
подышишь в трубку — задрожит
мембрана!

Хвататься ли за карандаш и кисть!
Держаться, как стареющий артист,
за крики поощренья «Бис!» и «Браво!»!
От сердца к сердцу отыщу ли путь!
Найду ли в спектре нужные частоты,
чтоб донести, пускай не смысл, не суть,
а только часть, ну, хоть чуть-чуть,
хоть что-то!
Ах, наша связь беспомощно слаба!

Мы говорим — лишь сотрясаем воздух.
Но вдруг приходят нужные слова,
единственные, как пароль и отзыв.
Чужой, перестающий быть чужим,
ты отвечаешь: «Понял тебя, понял».
Как физик одержим единым полем,
так я всеобщим братством одержим.
Чудак! Ведь мир не богом сотворен
и логики в нем биться не добиться!
Но нужен, нужен физику закон.
А мне — договорившихся сторон
диалектическое, но единство!

✧

Не поселятся ли олени
в озелененных городах,
чтобы закаты пламенили
знаменами на их рогах!
Пускай пасутся на газонах,
печеный хлеб из рук едят...
А рядом, в зданиях казенных,
еще чиновники сидят.
А в банке в утреннее время
деньгами шелестит кассир.
Ведь приручить любого зверя
быстрее, чем переделать мир!
Пруды устроим в каждом парке,
проточные, за прудом пруд.
Пускай стадами ходят карпы,
а сверху лебеди плывут.
А на лужайках сено косят:
олени на зиму — стога.
И в мир гармонию привнесут
их симметричные рога.

✧

Геофизику Юрию Поликарпову.

Мы топор и лопату кладем про запас —
пусть спасет нас их древняя сила.
А без них мы, наверно, пропали б не раз
там, где наша машина ходила.
Вот лежат они сзади, как брат и сестра,
и железо звенит о железо.
А машина летит по шоссе, как стрела,
до развилки у ближнего леса.
Там лесная дорога вступает в права.
И, в сторонку отставив приборы,
инженеры встают, закатав рукава,
на борьбу с анархизмом природы.
Я божусь, чертыхаюсь и снова божусь,
на тяжелую вагу всем телом ложусь —
выволакиваю на сушу
обессилившей техники тушу.
Грязь летит мне в лицо,
как на пестик пыльца...
Мой товарищ ломает краюху —
этот хлеб, заработанный в поте лица,
будто чашу, пускаем по кругу.
Современность диктует фасоны бород
и одежды чудного покроя.
Но едва только сходим мы с гладких
дорог,
просыпается что-то другое.
Где-то сзади, среди топоров и лопат,
— слышу сквозь интеллект инженера! —
первобытная верность и честность
лежат,
и железо звенит о железо.

● Виссарион Сиснев

КИВИТОК



Короткопалые руки старого Язепа, протиравшего за стойкой длинные пивные бокалы, замерли, клочковатые белесые брови медленно поползли вверх.

— Кивиток? — изумленно переспросил он сына.

— Ну да. Не слышал? — спросил Эвальд, сдерживая улыбку: очень уж комично умел удивляться старый Язеп. Верно, поэтому так любят рассказывать ему свои истории моряки, бросившие якорь в лондонских Соррей-доках.

Полотенце и бокалы снова пришли в движение над обитой линолеумом стойкой.

— Ерунда какая-то, — пробурчал Язеп, явно не желая признавать себя в чем-то неосведомленным. Недаром он часто повторял, что в любом портовом баре можно набраться большей мудрости, чем в парламенте: сюда она стекается со всех морей и океанов, со всего света. Прежде всего он, конечно, имел в виду самого себя — Язепа Эджуса, хозяина «Бривибаса», известного каждому аборигену Соррей-доков.

— Да нет, — возразил Эвальд, — тут, наверно, что-то есть. Джонни начал толковать, да не кончил, язык уже не ворочался.

— Джонни... — презрительно усмехнулся Язеп. — Этот добром не кончит, помяни мое слово, парень. Джонни, видишь ты! Латышское имя его уже не устраивает.

— Разве его по-другому зовут? — пришел черед удивляться Эвальду.

— Янис его зовут, Янис Эйсмонт, вот что. Отца его тоже так звали: Янис. Вторым помощником служил на президентской яхте. Джонни... Латыш везде должен латышом оставаться. Нет, этот добром не кончит... — Язеп в подтверждение стукнул бокалом о стойку и испуганно поднял его к глазам: не треснул ли? Успокоившись, снова заворчал: — Человек должен думать про черный день. Что бы я сейчас делал, если бы не думал о нем там, в Риге? А этот как из рейса — так в пивную. Вот увидишь, откроем — он первый у дверей будет.

Эвальд засмеялся.

— Так не пускай его. Или установи ему норму.

— Еще чего! Если хочет пить, так пусть лучше у меня.

Эвальда покорили эти слова отца, ему вовсе не

хотелось, чтобы Джонни спился. Они, правда, не были друзьями, но случайно разговорились месяца два назад, когда загорелый Джонни вернулся из тропиков. Почему-то с ним Эвальд чувствовал себя легко, не то что с другими земляками, осевшими в этих местах.

Вчера Джонни последним уходил из «Бривибаса», держась за стены, и Эвальд пошел проводить его, чтобы тот не свалился в канал. Джонни снимал комнатушку у какой-то старухи. По дороге он часто останавливался, обнимал Эвальда за плечи и все пытался что-то втолковать ему. Пьяное бормотание моряка разобрать было трудно, но один раз он высказался почти связно.

— Кто ты? Нет, кто я? — во весь голос вопрошал Джонни. — Кивиток. Это ясно? Кивиток. И ты тоже. И старый Язеп — тоже кивиток.

Дальше Эвальд ничего понять не мог.

— Пора открывать, — прервал его воспоминания отец.

Эвальд вытер последний столик, снял пластиковый фартук и отодвинул тяжелый латунный засов. После этого он занял место рядом с отцом, за стойкой. Искоса поглядывая на него, представил самого себя лет через двадцать: такой же обтянутый коричневым вязаным жилетом кивиток, как у старика Язепа, такая же полированная лысина с начесанными на макушку прядками, обвислая нижняя губа, придерживающая гнутую трубку. «Светлого эля, сэр? Минутку! Привет, Гунар, старина! Как всегда, датского лагеря? Держи, дружище! Благодарю, дела идут пока не худо». От этой картинки стало до того не по себе, что Эвальд даже передернулся. Также перспектива для человека, наизусть знающего всего Райниса!

— Хочешь на пари, этот Джонни сейчас явится, — опять отвлек его голос Язепа. Что и говорить, Язеп Эджус неплохо знал своих постоянных посетителей. Он едва успел произнести последнее слово, как массивная дверь «Бривибаса» отворилась, пропуская немного сутуловатого, темноволосого мужчину в сером костюме из хорошей ткани, но помятом и в пятнах. Оглядев бар — глаза у него

были посажены так глубоко, что не сразу различить их цвет,— он вперевалку подошел к стойке и уселся на высокую табуретку.

— Приветствую вас, хранитель огня свободы¹,— обратился он к Язепу без всякой видимой причины насмешливым тоном.— Привет, Эвальд!

— Здравствуйте, Джонни,— вежливо и добродушно отозвался Язеп.— Как всегда, джин и тоник?

— Как всегда, двойной джин и тоник,— распорядился Джонни и подмигнул Эвальду.— Спасибо за выручку. Без тебя мне бы ночевать на дне канала. Эвальд махнул рукой — о чем говорить!

Язеп поставил перед Джонни стакан сджином и поинтересовался:

— Что слышно, Джонни? Вы ведь вчера из рейса?

— Да, притопали. А новостей на свете много.— И он отхлебнул большой глоток.

После второй порции джина моряк как-то сразу помрачнел и перестал обращать внимание на кого бы то ни было. Уставившись в одну точку над полкой с бутылками, он медленно прихлебывал свой джин.

Бар постепенно наполнялся, и Эвальду было не до Джонни, но, заметив, что тот приближается к вчерашнему состоянию, Эвальд подошел.

— Джонни, может, хватит на сегодня?

— Что значит на сегодня? — пьяно осклабился Джонни.— А что такое завтра? Ты знаешь? Я — нет. Жизнь бывает только сегодня, учти, приятель. Тебе сколько, двадцать три? А мне тридцать семь, и меньше уже не будет. Нет,— он сокрушенно покачал головой,— не будет.

Эвальда окликнули, он отошел и больше уже не пытался останавливать Джонни.

Все было, как обычно, в этот вечер в баре «Бривибас». Точно так, как было каждый вечер за те четыре месяца, что прошли после появления Эвальда в отчем доме. Среди тех, кто сидел за дубовыми продолговатыми столиками или стоял, опершись на стойку, было несколько латышей, которых Эвальд уже знал. Все они работали в доках, не очень жаловали старого Эджуса, приехавшего в чужую страну не с пустыми руками, но считали своим долгом посещать бар, который содержал их земляк.

Внешне эти люди ничем не отличались от англичан — такие же светловолосые, угловатые, одетые в пиджачные тройки или толстые свитеры.

Время от времени люди за столиками оставляли свои стаканы и направлялись в тот угол, где играли в «дартс». Когда остроконечные стрелки бросали в мишень латыш и англичанин, наблюдающие подбадривали игроков: латыши — своего, англичане — своего, но сдержанно, так, чтобы не обидеть другого игрока.

Посетители, за исключением двух-трех таких, как Джонни, были семейные, солидные люди, знающие, как тяжело достаются фунты и шиллинги. Они часто приходили в бар с женами. Бар отца был для них чем-то вроде клуба, где можно встретить приятелей и обсудить все новости или сыграть на две пинты эля в «дартс». Редко кто из них напивался.

Нет, пожалуй, сегодняшний вечер кое в чем отличается от других. Меньше свитеров, больше костюмов, причем хорошо отутюженных. И разносить Эвальду приходится в основном не пиво, как вчера, а виски и джин, для женщин — «бэбишем», персиковое шампанское. Эти англичане хоть и не празднуют Новый год, но тоже, видно, верят, что он пройдет так, как проведешь его канун. Впрочем,

через три-четыре часа они разбредутся по домам и мирно отойдут ко сну.

...А там, в Риге, сейчас тоже готовятся к празднику. Ребята скорее всего соберутся у Виктора Наймана. Теперь, когда нет Эвальда, только Виктор может выручить их: у его отца большая квартира. Хотя, конечно, не такая, как у дяди Арвида. Дядя Арвид — славный парень — понимал, что студентов не нужно пеленать. Он сам накануне каждого праздника убеждал тетку отправиться пировать к друзьям или в ресторан «Астория», а квартиру предоставлял в распоряжение Эвальда.

Да, пожалеют ребята, что Эвальд далеко. А может, и не вспомнят о нем? Чепуха, вспомнят да еще вообразят, что Эвальд с веселой компанией куролесит в каком-нибудь загородном кабаке, вокруг него — длинноногие девочки-модерн типа Брижит Бардо.

Велта, конечно, тоже будет у Наймана. Кто будет с ней? Ансис? Скорее всего. Этот в душе был счастлив, когда Эвальд собрался в дорогу. К черту! Какое теперь имеет значение, будет Велта спать с Ансисом или с кем-то другим!

Эвальд взглянул на часы и решительно направился через весь бар к отцу.

— Папа, я на часок уйду.

— Но... — начал было сердито Язеп.

— У меня разболелась голова, — не допуская возражений, закончил Эвальд. — Я скоро вернусь. Пусть пока мама поможет.

Он торопливо, через две ступеньки, поднялся по винтовой лестнице в свою комнату. Так же торопливо умылся, причесался и распахнул гардероб.

Да, он недурно экипировался. Желая закрепить у себя сына, отец не поскупился в те первые дни. Все отличные вещи куплены не где-нибудь — в главном магазине Сесилия Джи, где одеваются актеры и вообще лондонские пижоны.

Костюм темно-синий рубчиком, костюм серый в крупную клетку, костюм из какой-то зернистой ткани табачного оттенка, костюм вечерний, черный.

В соседнем отделении — два недурных пальто — темно-серое и шоколадное, два шведских плаща — легкий и со стеганой пристяжной подкладкой, оба серебристо-серого цвета.

Белоснежной стопой лежат на полке териленовые рубашки. На другой — свитеры и тонкие шерстяные рубашки. На деревянных реечках, привинченных к дверкам, всеми цветами солнечного спектра красуются бесчисленные галстуки. А внизу выстроилась остроносая шеренга обуви — на все случаи жизни. Это зрелище, как всегда, обрадовало Эвальда.

Он с удовольствием натянул свежую рубашку. Подумал и выбрал «зернистый» костюм. Повязал матовый темно-красный галстук. Еще раз пригладил пробор, поправил шелковый платочек в грудном кармашке. Подмигнул себе в зеркало, накинул пальто и, насвистывая, сбежал в гудящий зал бара.

Отцовские брови опять двинулись вверх. Эвальд помахал ему и вышел на улицу.

Продолжая насвистывать песенку про ковбоя Джимми Джоя, которую только что ввела в моду певица Альма Коган, Эвальд поднял дверь гаража и забрался в маленький отцовский «остин».

Завел мотор, отпустил тормозную рукоятку и вдруг перестал свистеть.

Собственно говоря, куда это он собрался? Ему сейчас — вот сию минуту — хочется побыть среди людей, с которыми можно потолковать, выпить, пошутить, пошутить, одним словом, почувствовать себя своим среди своих. Но свои там, у Наймана.

¹ «Бривибас» по-латышски означает «свобода».

На коротышке «остине» к двенадцати туда не добраться. Бензина не хватит, да и еще кое-какие препятствия имеются.

Эвальд усмехнулся: ситуация почти комическая. Обычно ему не хватало денег, а в друзьях никогда недостатка не было. Даже когда от стипендии оставалось ноль целых ноль десятых, он никогда не задумывался, куда девать свободное время. В Риге времени просто не хватало, и не только потому, что филология требует жертв.

Эвальд попытался вспомнить, был ли в его прежней жизни вечер, когда он вот так же упирался лбом в пустоту. Не вспомнил. Перебрал в памяти новых знакомых, к которым можно было бы заявиться. Эти английские знакомые — славные ребята, они всегда приветливы с ним, но и только. На данном этапе, как любил выражаться его комсомольский секретарь, все, что он может о них сказать, — это то, что он с ними знаком. Они сами по себе, он сам по себе.

А дорогие землячки, выросшие на британской почве, и понятия не имеют о том, что на самом деле происходит на родине их отцов, но глядя на все родительскими глазами, глазами тех, кому не без оснований пришлось в конце войны уносить ноги из Латвии. С ними никакой близости не может быть. Он и сам к этому не стремится, да и для них он больше иностранец, чем для англичан, особенно с тех пор, как отказался написать статью в газету, издаваемую эмигрантским «братством». Тоже нашли свежий источник информации о зверствах большевиков в Латвии!

Ну, ладно! Как бы там ни было, Лондон — такой городишко, где можно повеселиться человеку с хрустящими бумажками в кармане.

В Сохо — вот куда доставит его зеленый «остин»!

Двадцать минут бесчисленных поворотов на скудно освещенных улицах, и Эвальд оказался в самом центре города — на площади Лестер-сквер.

Здесь все уже было знакомо, как в Риге. Эвальд не раз побывал в каждом из доброго десятка первоклассных кинотеатров, обрамляющих площадь огромными неоновыми рекламами. Между ними теснятся дансинги, кафе и магазины. Здесь всегда, даже в будний день, людно, как ни в каком другом месте Лондона, затаивающего к десяти часам вечера.

А стоит только немного пройти по Ковентри-стрит, свернуть в переулочек у кинотеатра «Риальто», и попадешь в Сохо, где еще больше кафе и дансингов, но не они там самое главное. В тех кварталах жизнь наступает с темнотой. Тогда зажигаются невидимые днем витрины клубов, в которых огромные фотографии обнаженных женщин. В полутемных переулках прогуливаются люди-тени. Они бесшумно приближаются к прохожему и что-то шепчут. Двери парадных распахнуты, и почти в каждом — женская фигура, а куда-то вниз или вверх уходит тускло освещенная лестница.

Эвальду, когда он бродил там, казалось, что он попал в какую-то страну привидений, его не покидало чувство неправдоподобия всего происходящего. Как будто на Сохо раз и навсегда осел густой туман и сквозь него видны лишь расплывчатые контуры обитателей.

Сидя в машине, которую он «припарковал» у сквера в центре площади, Эвальд поймал себя на мысли, что ему, в общем-то, и не очень хочется еще раз пуститься в путешествие по лабиринтам Сохо. Все это интересно раз или два. Посмотреть, насладиться запретными зрелищами в клубах, а потом приехать, собрать ребят и всю ночь рассказы-

вать, рассказывать и чувствовать, как тебе, побродившему по свету, откровенно завидуют.

И тут Эвальд впервые по-настоящему осознал одну вещь: вот здесь, не в Сохо, конечно, а вот в этом городе, он, Эвальд Эджус, должен оставаться столько лет, сколько ему написано на роду. Он здесь не турист, не перелетная птица, а один из этих людей, шагающих по Лестер-сквер.

Совсем, навсегда.

Бар «Бривибас», Соррей-доки, Джонни, приведения Сохо — это не приключения, не интересная страничка из дневника, это теперь и есть его настоящая жизнь.

Эта простая и как будто не новая мысль, четко сформулировавшаяся в его мозгу, оглушила Эвальда так, словно бы он проснулся среди ночи у себя дома и увидел человека, занесшего над ним нож.

Вспотевшей рукой он повернул ключ зажигания и, не обращая внимания на проклятия испуганных прохожих, помчался по Ковентри-стрит, сам не зная куда.

Через несколько минут он притормозил у решетчатых ворот, перегородивших въезд с Кенсингтона на Пэлс-гарден-роуд. Дождь, пока пронесется встречный поток машин, и на хорошей скорости проскочил через ворота. В зеркальце увидел, что монументальный привратник в цилиндре и зеленой ливрее машет ему вслед. Черт с ним, пусть машет!

Остановился напротив старинного белокаменного особняка с высоким крыльцом, над которым укреплен флагшток. Если бы сегодня было не тридцать первое декабря, а, скажем, седьмое ноября, там развевалось бы красное полотнище с пятиконечной звездой, с серпом и молотом.

Эвальд выключил подфарники и опустил боковое стекло. У белокаменного особняка вдоль обочины тротуара одна к одной теснились автомашины. Среди них Эвальд заметил серенький «Москвич» и даже рассмеялся: вот где мы с тобой встретились...

В конце улицы появились яркие кружки фар, они приближались, пока не замерли, почти упершись в его «остин». Фары погасли, и Эвальд увидел, что из голубого с белым верхом «консула» со смехом выбарахтывают две молодые женщины, а затем двое мужчин. Один из них, высокий, в больших очках, закрыл ключом дверцу машины и весело сказал по-русски:

— Ну вот, пожалуйста, пусть теперь доказывает...

Конец фразы Эвальд, замерший в «остине», не расслышал: компания дружно хохотала.

Впереди опять показались лучи фар, и через мгновение рядом с «консулом» остановилась довольно потрепанная «Победа». Ранее прибывшие окружили ее и принялись громко стыдить за что-то водителя. Он вылез и начал, видимо, оправдываться. Но его не слушали, и он безнадежно махнул рукой.

Тот, что в очках, посмотрел на часы и прервал веселый спор.

— Друзья, друзья, мы опаздываем.

Они быстро пересекли улицу, поднялись на освещенное крыльцо. Огромная, как крепостные ворота, дверь на какое-то мгновение распахнулась, приняла их и снова мягко закрылась.

Эвальд остался один.

Он долго сидел неподвижно в темноте, смотрел прямо перед собой. Наконец в абсолютно пустой голове шевельнулось: куда это они опаздывают, который час?

Стрелки «Омеги», подаренной отцом на рождение, показывали без трех минут девять. До Нового года три часа и три минуты. Да нет же, оборвал он сам себя, эти люди и здесь живут по-своему. Ко-

нечно, они могли опоздать: здесь, в Лондоне, они встречают Новый год по московскому времени.

Вот сейчас он наступил. Там, за этой дверью сейчас звенят бокалы с шампанским. С советским шампанским, привезенным сюда из Крыма.

Позднее Эвальд, как дурной сон, вспоминал все, что происходило с ним в оставшиеся часы новогоднего вечера. Некоторые вещи так и не смог восстановить в памяти, как будто действительно дело происходило во сне. Не помнил, как попал снова в Сохо, почему зашел именно в этот крохотный ресторанчик, где помещалось только пять-шесть столиков.

Отлично помнит, как выпил один за другим четыре двойных порции виски. Они здорово встряхнули его и даже развеселили.

И снова все растворяется в тумане, навсегда окутавшем Сохо, потом из него вырисовывается небольшая комната, освещенная ночником. Сам он сидит на кровати со стаканом все того же виски. На кровати, опираясь на локоть, полулежит женщина неопределенного возраста. Она курит и делает вид, что слушает его. Он что-то говорит, говорит, в чем-то убеждает ее. Она кивает и равнодушно улыбается. Ее не удивляет разговорчивость Эвальда. В Сохо ничему не удивляются.

После этого Эвальд помнит себя в машине у самого входа в «Бривибас». Он долго наблюдал за человеком, который, покачиваясь и бормоча проклятия, ломал одну за другой спички, пытался разжечь трубку. Рядом с ним, тоже наблюдая за его манипуляциями, неподвижно стоял знакомый констебль Хоукс.

Эвальд узнал в человеке с трубкой Джонни и сообразил: констебль не тронет его, пока он держится на ногах, у них такое правило. Но как только тот рухнет, потянет его в участок.

Недолго думая, Эвальд распахнул дверцу и крикнул:

— Алло, Джонни, я вас подвезу.

Так и не раскурив трубку, моряк нетвердым шагом обошел машину и плюхнулся на сиденье рядом с Эвальдом. Полицейский, видимо, вполне удовлетворенный таким исходом дела, молча отправился своей дорогой.

Джонни тоже помалкивал, лишь посасывал холодную трубку.

Едва ли даже он понимал, кто его везет. Только время от времени ворчал что-то похожее на «ах, черт их всех побери!».

Возле знакомого уже домика на Мэлвил-мьюз Эвальд помог моряку вылезти и, ухватив его под руку, повел по дорожке, вымощенной кирпичом, к крыльцу.

Джонни вдруг остановился, освободил руку и прижал палец к губам:

— Т-с-с...

Достал ключи, с трудом попав в щель замка, отпер дверь и по-манил Эвальда. Тот машинально последовал за ним по лестнице — на цыпочках. Очевидно, Джонни, даже будучи мертвецки пьяным, побаивался хозяйки.

Наверху, в спартански обставленной, но чистенькой комнате Джонни, не обращая больше внимания на гостя, уселся в единственное кресло и, упершись подбородком в кулаки, вперил бессмысленный взгляд в полосатые обои стен.

Эвальд прислонился к двери, потом буквально соскользнул вниз, на пол. Так у дверей он и заснул, положив голову на колени.

Проснулся от боли: свело ноги. На улице было совсем светло.

Джонни спал в кресле, по-прежнему сжимая в зубах давно потухшую трубку.

Эвальд с трудом поднялся и, разминаясь, прошелся по комнате. Джонни зашевелился, открыл глаза. Поморгал со сна, достал изо рта трубку, недоуменно посмотрел на нее, потом на Эвальда и хрипло засмеялся.

— Слушай, как же... Ну да, черт! Ведь ты же привез меня, верно?

Эвальд кивнул.

— Надо что-то придумать, — неожиданно трезвым голосом сказал Джонни.

Он поднялся и направился к шкафчику, стоявшему у окна. Колдуя над спиртовкой, со смехом помотал головой.

— Значит, опять тебе досталось. Да ты что такой? Тоже перехватил?

— Было дело, — слабо улыбнулся Эвальд.

Ему вдруг ярко представилось, как он выклады-



Рисунок
М. Лисогорского.

вает душу перед женщиной, ожидающей, когда же он уйдет, и содрогнулся от отвращения. Про себя решил, что об этом он никогда и никому даже словом не обмолвится. Сидя друг против друга, они опорожнили кофейник. Джонни наконец удалось разжечь свою трубку, он с удовольствием затянулся несколько раз и благодушно спросил:

— От отца не попадет?

Эвальд пожал плечами.

— А знаешь,— продолжал хозяин,— тебе ведь пить нельзя.

— Почему?

— Ты же, насколько я понимаю, единственный сын?

— Старший брат погиб на фронте.

— С немцами воевал?— удивился Джонни.

Эвальд нехотя объяснил:

— Да нет, служил у них... В легионе... Из-за него отец, наверное, и побоялся оставаться.

— Знакомая история,— протянул Джонни.— С твоим братом мы, значит, из одного корыта хлебали...

— Вы сами к ним пошли, к немцам?— удивленно прервал его Эвальд.

— Сам,— признался моряк.— Семейство у меня, брат, такое было, черт его знает, помешанное на всем немецком. Еще с довоенных времен. Отец, тот вообще никого людьми не признавал, кроме немцев, а латышей считал прибалтийской ветвью великой германской нации. Нас с братьями немецкому обучил, когда мы еще сами расстегивать штаны не могли.

— Где же они все?

— Кто их знает, где они. Война... Постой-постой! А ты-то... Отец, значит, драпанул, а ты как же?

— Потеряли они меня где-то в порту перед самым отъездом.— Эвальду не хотелось говорить об этом, но и обижать хозяина он не решился.

— Ну и что дальше?

— А дальше кончилась война, попал в детский дом. Потом разыскал меня младший брат отца, дядя Арвид.

— Да, бывает,— задумчиво проговорил Джонни и вздохнул.— Жаль, что у меня нет сейчас такого дяди в Риге.

— А то бы?... поинтересовался Эвальд.

— Было бы к кому постучаться... Когда вернусь.

— Когда вернетесь?!— Эвальд даже привстал.— А разве вы...

Моряк молча кивнул.

— Только пока болтать об этом не надо. Я хоть и не суеверный, но знаешь...

— Разве вам тут плохо живется?— осторожно спросил Эвальд с каким-то тревожным интересом.

— Чудак! Что такое плохо и что такое хорошо?... Ты это знаешь?— усмехнулся моряк.— Представь себе, даже снится стало: иду по Риге, дождь крапывает. Усталый. После работы... Люди кругом говорят по-латышски. Названия улиц на табличках по-латышски. Да что там...— оборвал он сам себя, видимо, устыдившись такой сентиментальности.— Из ума не идет...

— А не страшно?— спросил Эвальд, уверенный, что моряк поймет, что он имеет в виду.

Тот покрутил головой и неестественно засмеялся.

— Да нет... Хотя кой черт нет?... Страшновато, по правде говоря. Я ведь и пил последнее время со страха, ей-ей.

И как бы убеждая самого себя:

— Ну, виноват, о чем говорить. Приеду — пови-

нуюсь... Ну, отсижу, что положено. Не повесят же. Не для этого они мне паспорт дали.

— Паспорт?— все более волнуясь, остановил его Эвальд.— У вас есть советский паспорт?

Моряк достал откуда-то из-под рубашки красную книжку. Золотой герб. И такое знакомое слово — «Паспорт».

Эвальд взвесил паспорт на ладони, осторожно перелистал зеленоватые странички и молча вернул Джонни. Он успел прочесть, что Джонни уже не Джонни. В паспорте значилось: Янис Эйсмонт.

— Джонни, а что такое кивиток?— неожиданно для самого себя вспомнил Эвальд.

— Кивиток? Откуда ты знаешь об этом?

Эвальд в двух словах напомнил ему его собственные хмельные разглагольствования.

— А-а...— нахмурившись, протянул Джонни.— Это приятель один рассказывал, будто есть такие люди в Гренландии. Натворит что-нибудь или поссорится со своим племенем и бежит в горы. Там у ледников и прячется, никому на глаза не показывается. Ночью только иногда спускается к человеческому жилью и уносит еду, если найдет. Так и живут в одиночку до самой смерти. Вот что такое кивиток.

Джонни посопел трубкой.

— А как тебя-то занесло сюда? Сбежал?

Эвальд поежился.

— Это не так просто объяснить... Я, видите ли, Джонни, литературовед. Вернее,— поспешил поправиться он,— должен был им стать через год. Специализировался по латышской литературе восемнадцатого-девятнадцатого веков. А тут...

— Понятно,— кивнул моряк.— У них тут, конечно, специалисты по латышской литературе не требуются. Они просто не подозревают, что она есть такая, латышская литература.

В дверь постучали. Вошла тучная пожилая женщина с подносом в руках. Она удивленно посмотрела на Эвальда, но лишь выразила надежду, что Джонни хорошо спалось. Хозяин и гость переглянулись.

Эвальд в душе порадовался вторжению хозяйки, прервавшему их разговор. Разве смог бы он объяснить Джонни, почему он тогда ухватился за эту возможность легально уехать к отыскавшемуся отцу и начать «новую жизнь»?.. Наверное, его тогдашние мотивы показались бы Джонни и смешными и вздорными. Нужно же было так случиться, что именно тогда, после пятнадцати лет, его отыскал отец, оказавшийся в далекой Британии...

Расставив все принесенное на столе, хозяйка подарила Эвальда еще одним взглядом и ушла. Джонни пригласил его позавтракать, но Эвальду было противно даже думать о еде. Сославшись на дела, он поспешно распрощался с моряком.

Уже в дверях обернулся:

— Между прочим, почему все-таки мне нельзя пить?

Моряк сначала посмотрел на него с недоумением, потом вспомнил, с чего начался их разговор, и рассмеялся.

— Опасно для здоровья и для дела. Бармен должен быть трезвенником, если не хочет разориться. В Англии бармены не пьют, ты потом сам убедишься.— И, помолчав, вдруг спросил: — Или, парень, тебе уже расхотелось быть английским барменом? А?— И моряк громко расхохотался.

Смущенный его проницательностью, Эвальд заставил себя улыбнуться и осторожно притворил за собой дверь.

— 111

ДВА ИНТЕРВЬЮ О НАСУЩНОМ

Думы
НАКА-
НУНЕ
ПАР-
ТИЙ-
НОГО
СЪЕЗДА

Время течет сейчас под знаком приближающегося с каждым днем XXIII съезда КПСС, и это накладывает характерный отпечаток на мысли и дела советских людей. Каждое трудовое достижение посвящается съезду; каждая мысль о хозяйственных и общественных делах обращена, как магнитная стрелка, к повестке дня партийного съезда. Трудящиеся исполнены желания принести съезду свой «продуманный и внимательно, общим трудом, общими усилиями... переработанный практический опыт» (Ленин). Они принесли этот опыт к мартовскому Пленуму ЦК КПСС (1965), и Пленум решил вопросы, имеющие кардинальное значение для развития советской деревни. Этот практический опыт явился фундаментом решений и сентябрьского Пленума, положившего начало крупнейшей экономической реформе в отечественной промышленности. Этот опыт трудящихся масс сослужит свою великую службу и в дни работы съезда.

Самая характерная черта размышлений и разговоров, связанных с приближением съезда партии, — это их конкретность. Люди говорят о насущном, избегая общих слов, не боясь, что их упрекнут в неумении мыслить масштабно. Ведь ясно, что общенародные проблемы складываются из частных, отдельных проблем.

Вот тут-то и возникают сами собой непринужденные разговоры о наблевшем, о том, что надо переосмыслить и разрешить, — о «маленьких» делах и проблемах, без которых невозможны большие трудовые успехи.

Два интервью, которые мы предлагаем читателю, родились ненамеренно: и тема и содержание их определялись не столько вопросами журналистов, корреспондентов «Юности», сколько заботами и мыслями их собеседников, один из которых — председатель колхоза на Житомирщине, а другой — начальник цеха одного из ленинградских заводов. Оба они молоды, оба коммунисты, оба преисполнены энергии и желания внести свою лепту в экономическое строительство... В остальном же они разные, и заботы у каждого — свои.

Сколько лет до города...

Интервью дает Александр Стельмах, председатель колхоза имени Ильича, Житомирской обл., УССР.

ВОПРОС. Вот вы заговорили о колхозной молодежи. Я как-то провел такой опыт: просил составить простейшую фразу со словами «село» и «молодежь». Девять человек из десяти ответили так: молодежь уходит из села. По-прежнему ли это остается проблемой № 1?

ОТВЕТ. Я не берусь расставлять порядковые номера у наших проблем, их много. Но действительно, председатели соседних колхозов жалуются: молодежи почти нет. Чуть подрастут, и — прощай, родимые пенаты! — уходят в город, уезжают на далекие стройки. Любими правдами и неправдами вырываются.

— Как вы это объясняете, какие причины действуют здесь — экономические, психологические?

5. «Юность» № 2.

— И те и другие. Мне нетрудно понять парня, нацелившегося на отъезд. Представьте себе его: молод, здоров, аттестат зрелости в кармане. И к тому же все понимает. Понимает, что здесь, в родных Глиновцах, каждая пара рабочих рук на счету; что со временем (он допускает это) здесь будет не хуже, чем в городе (имеется в виду быт, культура; по части свежего воздуха наше преимущество бесспорно).

Но семнадцать лет бывают лишь раз в жизни, и хочется доказать другим, да и себе тоже: могу, мол, при желании все — и физиком и лириком могу. В семнадцать лет особенно сильна страсть к переменам. В семнадцать естественно и понятно желание красиво и модно одеться, пройтись вечером со

своей девушкой (тоже красиво и модно одетой) по центральному проспекту города, а потом посидеть с нею и с друзьями за чашкой кофе, потанцевать, послушать музыку... Все это и мне знакомо. Вот вошли и заняли соседний столик знакомые ребята. «Здорово, старик!» «Салют!» «Как жизнь? Чего тебя видно не было?» «Не спрашивайте. Шеф придумал новую схему, так мы трое суток не выходили из лаборатории, все наново программировали...»

Волшебный мир индикаторов, турбин, микроскопов, рифм, гигантских строек... Обычный мир середины XX века. Семнадцатилетний с ним на «ты». Он верит в свои силы. Надеется, что добьется своего — не боги ведь горшки обжигают! Кажется, осталось лишь шагнуть за родной порог... Но на пороге его встречаю я — усталый, задерганный человек.

— И что же вы ему говорите?

— Я говорю: помоги мне, пожалуйста. Я обращаюсь скорее к его великодушию, чем к рациональным соображениям. Ибо что я могу предложить ему? В лучшем случае, посажу на автомашину или на трактор. А по вечерам... Стоит ли описывать «меню» типичного сельского клуба? «Я тоже молод», — говорю. — Думаешь, мне легко? Трудно. Поэтому прошу тебя — помоги...»

«Я тоже молод»... Быть может, это так, но для него я старик — тридцать два года! Больше того, в этот момент я воплощаю для него мир взрослых. Мир, на его взгляд, скучный и лишенный романтики.

— И молодой человек, к которому вы обращаетесь, прислушивается, идет навстречу?

— Да. К счастью. Сказывается то, чему его учили еще в школе. Совесть у наших ребят есть. Когда к ним обращаешься за помощью, они не в силах отказать с легкой душой. И это — счастье...

Но и взлелеянную мечту — она перед глазами — не так-то легко забыть. Парень ищет оправданий. И тогда происходит приблизительно такой диалог:

— Я хочу учиться, — говорит парень хмуро.

— Поможем. Дадим направление в любой вуз, — говорю я.

— Но меня не тянет в поле. Вот на завод бы...

— Будешь работать в мастерской. На любом станке.

— Да разве здесь заработаешь?! — Парень уж не знает, за что бы ухватиться.

— Сколько хочешь получать?

Он колеблется. Выступать в роли стяжателя и шкуродера — не велика честь.

— Ну, восемьдесят, скажем...

— Будешь для начала получать сто.

Трудно им спорить со мной.

— Значит, из вашего колхоза не бегут?

— Не бегут. Многих это удивляет чрезвычайно.

Пытаются «теоретизировать»: исключение, мол, подтверждает правило. Но эти рассуждения здесь ни при чем. «Секрет» же нехитрый и давно известен. Внимание к каждому человеку, к его потребностям и стремление удовлетворить их, чего бы это ни стоило. Удовлетворить уже сейчас, сегодня.

И вот результат. В нашем колхозе работает 62 комсомольца — самая большая в районе организация! Много внесоюзной молодежи.

Повторяю: от нас не бегут. Наоборот, за последнее время наметился и становится все более закономерным обратный процесс. Возвращаются целыми семьями. Например, из соседнего совхоза вернулись (туда они ушли из-за заработка) пять семей. Еще две подали заявление совсем недавно. Потянулся в родной колхоз и молодежь. Из Грузии — доярка Галя Цивинская; другая доярка, Валя Бас, где только не скиталась, а счастье нашла в Глиновцах. Имен еще

двоих ребят — парня, вернувшегося из Донбасса (за длинным рублем погнался), и девушки, работавшей на стройке в Житомире, — пока не называю. Одного факта возвращения недостаточно. Пусть сначала делом докажут, что для них на деньгах свет клином не сошелся.

— Судя по вашим словам, положение в колхозе имени Ильича с молодыми кадрами вполне благополучное. Так было и прежде?

— Нет, так было не всегда. Пять лет назад порядки были иными. Колхоз — худший в районе. Огромная задолженность государству и колхозникам. Вдоволь было только обещаний.

После окончания сельхозинститута я вернулся в родное село. Меня выбрали председателем. Люди здесь замечательные. Их только организовать надо. Мне в этом помогли и парторганизация и колхозный актив.

Теперь трудности позади. Колхоз крепкий. Понравилось быть в числе лучших. Сейчас захотелось — первыми. И будем!

Ребята и девушки охотно остаются в колхозе и потому, что оплата труда у нас высокая, и главное — специальность можно получить хорошую. Учиться? И тут каждому поддержка. Только в этом году пятеро наших ребят по направлению колхоза поступили в высшие и средние учебные заведения. Еще один, прицепщик комсомолец Ваня Ярмола (он только что закончил одиннадцатилетку), поступает на заочное отделение сельхозинститута...

— Итак, в основе проблемы «молодежь и село» лежат причины прежде всего экономического характера?

— Конечно. Я убежден, что главное не в том, что в колхозе, скажем, нет Дворца культуры или кофеварки «Экспресс», а в том, что молодые люди не находят зачастую себе дела по душе. Они уходят из села не в поисках красивого досуга или даже большего заработка, а прежде всего в поисках настоящей работы на уровне современного производства.

Коснусь тяготения молодежи к технике: оно понятно и закономерно, ибо отвечает духу времени. Если человек работает на машине, он больше может. Он работает с удовольствием; сам проникается уважением к собственному высококвалифицированному труду и чувствует растущее уважение окружающих. Техника — вот чем можно привязать молодежь к колхозу, к земле. Поэтому мы всегда идем навстречу желанию ребят стать шофером, механиком, электриком... Но сейчас во многих колхозах наметилось «перепроизводство» специалистов. Например, шоферов в три-четыре раза больше, чем автомашин (а к одной, как ни хитри, больше двоих не приставишь). Как тут быть?

Выход подсказан самой жизнью, опытом лучших хозяйств. Выход — в комплексной механизации сельскохозяйственного труда. Где она есть, там отпала проблема «молодежь и село».

Курс, взятый в последнее время, внушает оптимизм. Пленумы Центрального Комитета КПСС последовательно несли новую мысль в экономическую жизнь страны. Смело взятый новый курс, твердость, с которой он выдерживается, вера в тружеников — непосредственных его исполнителей, простор их инициативе, творчеству — все это уже начинает приносить плоды.

Село сейчас переживает глубокие изменения. Стремительно возрастает средний образовательный уровень его жителей. Появилась и становится настолько значительной, что уже морально ведет за собой массы, прослойка своей, сельской, интеллиген-

ции (не так давно об этом только мечтали). Все идет к тому, что на селе главной силой станут сельскохозяйственные рабочие.

Постановления Пленумов ЦК КПСС начиная от ноябрьского, 1964 года и далее расчищают путь этим процессам. Одна за другой падают большие и малые преграды, намечаются решения проблем. Например, только что вступило в силу постановление о снижении для колхозов закупочных цен на автомобили и сельскохозяйственные машины. Техники в колхозах станет теперь больше, вот и отпадает проблема «перепроизводства» специалистов.

Сейчас создана комиссия, призванная изучить предложения к разработке нового Примерного устава сельскохозяйственной артели. Уверен, что это будет серьезным шагом по пути укрепления колхозной экономики.

— Я целиком с вами согласен, что ребята покидают деревню, руководствуясь более серьезными мотивами, чем претензии к колхозному клубу. И все-таки проблема досуга не снимается. Как вы ее решите?

— У нас неплохой клуб: кружки, оркестр, лекции, кино, танцевальные вечера — ничего не забыто. Недавно для клуба стулья достали — одной проблемой меньше. И все-таки печаль кустарщины, провинци-

лизма, которую мы сами пока стереть не в силах, лежит на всем. Стереть ее поможет лишь приток новых сил — подготовленных, интеллигентных специалистов.

Пока же мы обращаемся к городу. Не реже раза в месяц мы ездим на машинах в Житомир — на все новые спектакли театра. Доставляя нам радость, эти поездки в то же время лишний раз напоминают, как велико еще различие в культуре города и села. А молодежь тянется к новому, хочет полноценной духовной жизни. Она имеет на нее право. В значительной мере этим было продиктовано наше решение — оно уже претворяется в жизнь — своими силами и средствами проложить дорогу в Житомир.

Возможно, это выглядит немного смешно — колхоз тянет свое шоссе к областному центру. Но другого выхода мы пока не видим. Мы пустим по этой дороге автобус. Наладим прямые контакты с городом. И дело не только в том, что наши ребята и девушки смогут хоть каждый вечер ходить в театр и кафе. Если мы будем связаны с Житомиром современной удобной магистралью, экономическое и социальное значение этого дела трудно переоценить.

Но одно я знаю точно: иждивенцами города мы не будем. Мы сами поднимемся до него. Число лет, отделяющих село от города, сокращается на наших глазах.

«Там, где я работаю»

Беседа с Владимиром Штерным, начальником цеха завода «Металлист» (Ленинград).

ВОПРОС. Вы работаете в цехе совсем недавно и, естественно, не во всем еще досконально разобрались. Но, как человек новый, вы, очевидно, воспринимаете окружающее острее, чем многие из тех, кто уже свыкся со сложившимися порядками. С какими проблемами вам, молодому начальнику цеха, пришлось столкнуться на первых же порах?

ОТВЕТ. Я хотел бы говорить об основной фигуре на предприятии — о мастере. Но сначала хочу вас подвести к этой теме, чтобы вы могли сами убедиться, как одно вытекает из другого и как все взаимосвязано на нашем производстве...

Мы подчинены одной главной цели: во что бы то ни стало выпустить машину, прибор. Это естественно. Но чтобы выпустить сложные уникальные изделия (а завод наш — единственный в своем роде в стране), необходимо иметь четко налаженное снабжение, необходимы материалы, прежде всего металл. Снабжение же хронически запаздывает. И это неестественно. Это приводит к тому, что цех не может по-настоящему отработать ни один технологический процесс. Если мы и справляемся с задачей, то лишь на форсаже собственных сил...

И тогда я, инженер, начальник цеха, иду за помощью к рабочему. Я знаю, как организовать работу при нормальном течении дел, но у меня нет опыта и знаний, как выйти из аварийного положения, которое создается плохим снабжением. Нас этому ведь в институте не учили.

И тут мы как бы меняемся местами. Получается парадокс: роль инженера переходит к рабочему, потому что он лучше меня знает, как можно выполнить месячный план за две недели или даже за декаду.

Нас, молодых специалистов, так и приучили: чуть что, иди к рабочему, он подскажет. И это хорошо,

что приучили. Мы идем, и рабочий действительно находит выход.

— Любый рабочий? Или вы имеете в виду особо квалифицированных и опытных?

— Разумеется, речь идет об особо квалифицированных знатоках своего дела, о «золотых» руках, о тех, на ком держится все наше тонкое и сложное производство.

Всех рабочих — прошу прощения за прямоту — в моем положении невольно начинаешь подразделять на «Петю» и «Петра Ивановича». «Петр Иванович» — это умелец, выполняющий сверхсложные операции. Он выручает меня даже в технологической организации производства.

Такой у нас Марк Забарский. Он «крутит» всю программу расточных работ на месяц. У него никогда не бывает брака. Он все знает, ничего не забудет. И зарабатывает до четырехсот рублей в месяц. Сменщик же его зарабатывает сто двадцать. Потому что он еще «Петя».

И ведь по отношению к каждому из них я вполне объективен. Все по закону. И помогаю обоим в равной мере. Но Забарский знает, в чем ему надо помочь. Он умеет организовать труд, работает без простоев, наилучшими приемами; он имеет шкаф с инструментом, большую часть которого сделал сам. Забарский без работы — это ЧП. А его сменщик может прийти и спросить: что мне делать? А то и вовсе обрадуется простою.

— Если я правильно вас понимаю, проблема в том, чтобы из каждого «Петя», как вы выражаетесь, сделать «Петра Ивановича»?

— Вот именно. У нас в цехе сто пятьдесят человек. А держится он на десяти — пятнадцати, но высшей квалификации. Это токари, фрезеровщики, сбор-

щики. Если завтра я их потеряю, я потеряю и всякую возможность выполнить программу.

Где-нибудь на конвейере, при поточном методе производства, эта проблема, возможно, и не возникает. Но у нас, повторяю, делаются уникальные приборы, требующие уникального мастерства. Из училищ же молодые ребята приходят очень сырыми. А чтобы вырастить хорошего токаря, нужно лет пять, а то и больше.

Нормы же у нас очень жесткие, и, несмотря на полагающуюся доплату, заработок у новичков маленький, и он, конечно, мало способствует интересу к работе. К тому же разочарование многих ребят, только что пришедших на завод, обусловлено тем, что когда они шли в училище, то представляли свою будущую работу скорее по павильонам ВДНХ, чем по цехам завода... По окончании выпускнику дают третий разряд, а он у нас и по первому-то работать не может. И возникает у ребят душевный разлад, недовольство.

Вот мы с вами и добрались до сердцевины вопроса. Кто должен помочь молодому рабочему? Кто общается с ним больше всего, кто знает его лучше других? Кто научит его культуре труда, сократит долгий путь к высокой квалификации, привьет любовь к работе?

Мастер. Прежде всего и в основном — мастер. Человек с техническим образованием, по должности своей теснее всего связанный с рабочими. Мастер — основная фигура на предприятии. Все так говорят. Все с этим согласны. Но на деле это не так. И не только на нашем заводе.

Главная задача мастера по отношению к новичку — научить его работать как можно лучше, передать ему опыт ведущих рабочих цеха, привить гордость за свое дело и ответственность за него. Дело это вовсе не механическое — дело тонкое, душевное, требующее культуры и педагогического такта. Ибо нужно воспитать молодого рабочего, а это значит, что нужно воспитать человека, потому что навыки хорошего фрезеровщика, скажем, не могут быть сформированы в отрыве от самого человека.

— То есть вы хотите сказать, что мастер не может, не имеет морального права заниматься лишь производственной стороной жизни своих рабочих?

— Просто он будет тогда плохой мастер. Но, к сожалению, на деле ведь так и происходит — занимаются только производством. Но нельзя вырастить хорошего, высококвалифицированного рабочего, не привив ему любви к делу, известного патриотизма по отношению к своей профессии. А это уже моральная сторона дела, это педагогика. И она требует от мастера умения увлечь, заразить ученика своими чувствами, своими мыслями. Для этого необходима культура, весь арсенал культуры. Легче и увлекательнее работать тому, чей мир широк, кто много знает.

У многих же рабочих (причем, как ни странно, молодых ребят) жизнь духовно обеднена, однообразна, монотонна. От этого и вкус к работе пропадает. А мастер, основная фигура производства, ничем помочь не может, потому что он, как правило, воспитатель никакой, потому что он и сам подчас так же живет.

Будь он опытным инженером душ — он бы воспи-

тывал людей и походом в Эрмитаж, и театром Акимова, и томиком новых стихов. На деле же мастер воспитывает так:

— Ты, Иванов, должен вести себя хорошо!

— Ты, Петров, не должен курить, где не положено.

И все. Я спросил как-то одного семнадцатилетнего:

— Ты был когда-нибудь в филармонии?

— Какая такая филармония?

И я думаю про себя: еще лет десять, и этот парень, услышав музыку, не услышит ее.

— Почему же в должности мастера так мало работает людей с опытом, с педагогической стрункой, людей культурных — в общем, отвечающих тем требованиям, что вы перечислили?

— Потому что сама эта должность, во всяком случае, у нас на заводе, считается бесперспективной, работа — неблагодарной, да и заработок невелик. И хорошие специалисты на этой должности не задерживаются. Ну, а какой прок от текучки, особенно в таком важном звене, как мастера, догадаться нетрудно.

Не сомневаюсь, что можно вновь поднять и окружить ореолом достоинства фигуру мастера. Сделать эту должность действительно ведущей, заманчивой, притягательной. И, как начальник цеха, я мог бы способствовать этому.

Но для этого я должен иметь широкую возможность стимулировать ответственный труд мастеров. Ведь мне виднее, как поступить в том или ином случае. Между тем я не могу платить одному мастеру больше, чем другому, будь он семи пядей во лбу и нужнее мне и цеху, — есть «штатное расписание»... Я не могу маневрировать в пределах фонда заработной платы, не могу поощрять наиболее ценных работников.

Я многого не могу. А надо бы мочь. Будь власть, я бы продал ненужные цеху средние токарные станки и купил бы мелкие. А на оставшиеся деньги привел бы в порядок помещение, покрасил стены, переделал бы туалет. Чтобы человек чувствовал себя человеком не только в гостинице «Европейская», но и в цехе.

И вот что получается: доброе и нужное для всех, выгодное дело я должен протаскивать вопреки сложившимся порядкам, а не благодаря им. Нелепо, не правда ли?

— Нелепо. Но этот вопрос уже решен сентябрьским Пленумом: руководству предприятия даны теперь иные, значительно расширенные права.

— Я член партии, и я не могу не знать решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Я читал о заводах, фабриках, шахтах, переведенных на новые принципы организации и стимулирования труда. И я жду со вполне понятным нетерпением, когда на нашем заводе наступит то же самое.

С таким же нетерпением я жду и решений XXIII съезда КПСС, который, я верю, углубит и подытожит решения предыдущих Пленумов. Я знаю, что в задачи съезда отнюдь не входит рассмотрение таких детальных вопросов, о которых мы говорили. Но ведь одно вытекает из другого, поэтому я убежден, что решения съезда помогут улучшить положение дел и в целом по стране и там, где я непосредственно работаю.





Григорий
Глазов



Наш полк ворвался полночь в деревню.
По хляби. Увязая. Матерясь.
Во тьме по черным мартовским деревьям
линейщики тянули дальше связь.

Затем я грелся в хате. Пламя плошки
раскачивалось в густоте тепла.
Вдыхая пар разваренной картошки,
дремал я разомлело у стола.

А было угощение негусто.
В пустом ларе посудой грохоча,
хозяин подал квашеной капусты
и мутную бутылку первача.

Он сел на лавку у пустой божницы.
И вспомнил, разливая самогон,
что сын носил два «кубара», петлицы,
а нынче, мол, опять пошел погон.

Мы пили. Зеленел рассветный лучик.
И, докурив пайковый мой табак,
хозяин подмигнул:

— Стелись, поручик,
поспи маленько. Захмелел, слабак...

Госпиталь

Еще пока нестроевые,
надев с чужой ноги пимы,
в бинтах последних, но живые,
еще при госпитале мы.

Живем, отдельная команда.
То хворост соберем в бору,
то по приказу лейтенанта
истопим баню поутру.

А завтра — «сидоры» за спину.
Проголосуем — не беда!
Вскочив в попутную машину,
вздохнем:

— Ну что, братва, айда!..
Случится так, что к фронту едут
в ней новички-строевички.
Ведут домашнюю беседу
приписники да старички.

Мы влипнем под бомбежку где-то.
И все махнут в кюветы, в грязь.
А мы закурим из кисета,
спиной к кабине привалясь.

Сбив на затылок гневно каску,
майор прикрикнет:

— Сопляки!..

А мы под ругань и под тряску
заснем, подняв воротники.

Приснится школа, коридоры,
я на перилах мчусь верхом,
а завуч в облике майора
грозит мне снизу кулаком...



Как странны прихоти воспоминаний.
Воспоминанья не закажешь по меню.
Не выберешь,

которое желанней,
чтоб приурочить к выбранному дню.

Попробуй упрекни их за неверность!
Попробуй им устрой переучет!
Они внезапно выплывают на поверхность.
И время их по-своему течет.

И потому, быть может, мы забыли
и голоса и цвет искавших глаз
тех женщин, что когда-то нас любили,
но помним тех, что отвергали нас.

Прощание

Отсыпается море
после пьяного шторма в ночи.
Осыпаются листья
в знобящий осенний озон.
И служитель хромой
подбирает на связке ключи,
запирает купальни.
Окончен купальный сезон.

Заколочен киоск сувениров
сырою доской,
Сняты тенты в столовых —
просоленные паруса.
И маяк, как циклоп одноглазый,
зажегся тоской.
Отзываются хрипло ему
пароходные голоса.

Только двое по пляжу бредут
босиком, увязая в песке.
Друг от друга уже вдалеке,
но покуда — вдоль кромки воды
он несет ее мокрый купальник
в напряженной руке,
а прилив, словно в сговоре тайном,
смывает следы.

И грызут они молча миндаль.
А миндаль почему-то горчит.
Вдаль идут они рядом,
не боясь никуда опоздать.
Тишина. Пустота.
Где-то поезд прощально кричит.
И билетный кассир уезжает,
чтоб выручку сдать.



**Визма
Белшевица**

Беатриче

А была ли Беатриче?
Беатриче не было!
Было вечное величье
голубого неба.
Под влюбленным взглядом Данта
лицом стало личико.
Флорентийская мещанка
стала Беатриче.
Разум Данта, как Иуда,
на нее клеветает.
Сердце Данта верит в чудо
и в стихах трепещет.
Беатриче, боль поэта,
ты была любимой —
женщина, которой нету,
луч неуловимый!
Людам этого не надо.
Люди, умирая,
вспоминают муки Ада
и не помнят Рая.



Не ходите, женщины, на берег
прогуливаться,
черпать узкой туфелькой золото песка.
Оставайтесь, женщины, на осенних улицах,
где на липах светится листва.
Можно спрятать истину в пестроту
осеннюю,
в частоту штaketника, в закоулки фраз...
А на голом берегу сердцу нет спасения,
взгляду скрыться некуда от глаз.
Берегитесь, женщины! Эта пена белая
так и подмывает выкрикнуть: «Твоя!»
Я ходила на берег — гордая и смелая.
Возвратилась с берега не я...



☆
Я до дна испила осень Салацгривы,
выпила рассветы и закаты.
Ноздри помнят запах свежей рыбы,
яблоками спелыми запахло.
Были дни закручены жгутами
белой пены. Было сухо в глотке.
На дыбы вставали над волнами,
как взбесившиеся кони, бились лодки.
Целовало меня море. Поцелуи
чешую на щеках моих оставили.
Трепетность салаки ледяную
помнит каждый палец.
Плечи все еще устало ноют
от рыбацких каменных ладоней.
Под латышскую латунную луною
ночи становились все студеной...
Ах, зачем пила я осень Салацгривы!
Ах, не надо было!
Выпила приливы и отливы —
жажды все равно не утолила.

Перевод Г. ПЛИСЕЦКОГО.



**Гунар
Селга**

На плотях

Мимо звездных садов
лунный скользит челнок.
По ту сторону Гауи
умолкает далекий поселок.
Разговор у костра на плотях
постепенно умолк,
только песня слышна —
о зерне, о путине, о пчелах.

Это длинная песня —
о больших городах вдалеке,
о порогах вблизи
и о море, как пихта, зеленом.
Эта песня, счастливая,
засыпает на тростнике,
доверяясь течению быстрому
и плотогонам.

Полночь черпает полной ладонью
туман из реки,

просыпает на лес его,
 просыпает на землю неровно.
 Не шелохнется лес:
 песня спит, сны у песни легки.
 Колыбель ее — эти плоты,
 их сырые и скользкие бревна.

Летят пчелы в сторону Елгавы

На лугах Лиелупе седеет тростник,
 и сладко и горько пахнет жасмин.
 И новый июнь над землею возник,
 июнь без пожаров, снарядов и мин.
 Над Лиелупе летает пчела.
 Летает пчела, и гудит, и гудит...
 Все пчелы гудят, словно колокола,
 далеко. А кажется, в нашей груди.
 Все пчелы гудят над землей, над водой,
 над счастьем людским, над людскою
 бедой.

Что думают пчелы!
 Что пчелы хотят!
 Вот в сторону Елгавы роем летят.
 Минуют оставленный кем-то костер
 в лесу
 средь веселой и свежей хвои,
 где дым далеко-далеко распростер
 ослабшие серые лапы свои.
 Встречает их в городе скрежет и скрип
 работы. Другие там вознесены
 под небо леса. А веточки лип
 едва родились и не знают войны.
 Над Лиелупе слабеет закат.
 Он весь отражен — до последних лучей —
 в реке. И в Елгаву пчелы летят —
 работать там учатся у людей.

Детство

Когда поднимаюсь на гору лет,
 Когда обгоняют меня облака
 И солнце лежит на плече. И легка
 Мне ноша, к тебе хочу завернуть.
 Я каждое утро встаю чуть свет
 И пыльными большаками кружу,
 Но дверь твою так и не нахожу.
 Все в гору, все в гору уходит мой путь.
 А нынче в чулане под хламом старья
 Салазки нашел. С очень давней поры
 Ржавели они. Их на снег вынес я:
 «Что будет — то будет!» — и съехал с горы.
 Летели навстречу мне облака,
 И детство швырнуло в меня три снежка.
 А думалось раньше: «Как далека
 Дорога к нему, как далека!..»

Руки крестьянина

От зари и допоздна
 Вижу руки эти. Вижу,
 словно реки:

И все ближе
 Для меня их глубина.

К хлебу новому спешат,
 словно он далеко где-то.
 И до окончания лета
 От усталости дрожат.

Перевод Н. ЗЛОТНИКОВА.



Ояр
 Вацетис

Синий рассвет

Спи, отец. А мне все вспомнить надо.
 Память — словно действующий фронт.
 Двигается великая прохлада
 На Восток, где ранен горизонт.

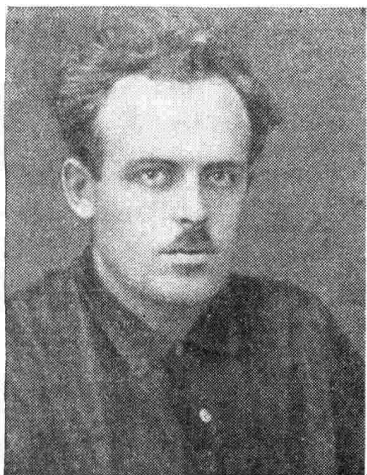
По лицу бьют ветки. Поезда
 Мчатся, словно мимо семафора,
 Мимо сердца,
 Целятся туда —
 Вдаль, куда отправишься ты скоро.

Слышно притяжение звезд. Понуры
 Тени: это близится рассвет.
 И минуты, словно диктатуры,
 Падают.
 Все в мире — синий цвет.

...Не сердись, отец, твоя вина,
 Что в груди моей так неумно
 Это сердце. И любовь огромна
 И, как память детская, сильна.

Только память,
 Острая, как боль,
 Человечеству не изменила!
 Разливай, рассвет, свои чернила! —
 Невозможно написать любовь.

Перевод Н. ЗЛОТНИКОВА.



● Александр Безыменский

РАС-
СКАЗЫ-
ВАЮТ
СТАРЫЕ
КОМ-
МУ-
НИСТЫ

В ПРЕДОКтябрьские ДНИ 1917 ГОДА

(Из воспоминаний)

Корниловский мятеж вызвал крутой перелом в настроении широких народных масс. На бесчисленных митингах в воинских частях, на заводах, на улицах нашим большевистским ораторам уже не грозил самосуд или дикая обструкция. Наоборот. Люди слушали наших товарищей с особым вниманием, ибо августовские события 1917 года с предельной четкостью подтвердили прогнозы ленинской партии. Стало яснее ясного, куда гнет буржуазия и в какую пропасть толкают народ эсеры и меньшевики, накрепко связанные с буржуазным правительством.

На нашу партийную организацию города Петергофа легла очень важная задача. Некоторые казачьи подразделения, являвшиеся еще вчера частью корниловских войск, оказались расквартированными в Петергофе. Необходимо было проникнуть в их среду, рассказать казакам всю правду-истину, сделать их соратниками революции.

Пути к этой цели были нелегки, но мы их нашли.

Немало усилий потребовалось нашим агитаторам, чтобы уговорить хотя бы нескольких казаков прийти в небольшой домик, где помещался партийный комитет коммунистов. Разговаривать на улице казаки соглашались, а явиться в «логово антихристов» было им, видать, страшно. Но вскоре нашлись все-таки четыре смельчака, рискнувшие переступить порог «логова». Они увидели перед собой рабочих, крестьян, солдат...

Беседа с казаками была долгой-долгой. Ушли эти люди, охваченные глубоким раздумьем, смущенные и обрадованные тем, что узнали, ушли если еще не друзьями большевиков, то, во всяком случае, не врагами.

С того дня в саду около большевистского домика все увеличивалось число казаков, приходящих узнать истину. Комитет наш разделил их на группы и выделил беседчиков, которые, не жалея времени, разговаривали с казаками.

В той группе казаков, где беседчиком был я, запомнились мне многие люди. Я не мог не обратить внимания на мужественное лицо и своеобразный говор Матвея Миронова, одного из самых младших казачьих начальников. К тому же Миронов обладал крепким, пытливым умом. Обращала на себя внимание и удивительная сообразительность и понятливость казаков Калугина, Звонцова. Это были, как говорится, очень напористые люди, добивавшиеся на

свои вопросы точных ответов; им хотелось понимать все, что происходило. Они задавали уйму вопросов. Иногда мне приходилось беседовать с каждым из них в отдельности — особенно с Мионовым, иногда с группой.

И вдруг казаки исчезли из Петергофа: результаты большевистской пропаганды в казачьих частях оказались настолько ощутительными, что их перевели в другие места...

☆

Председатель Петергофского исполкома Г. Нисский попросил меня пропутешествовать с ним в Петроград, чтобы добыть кое-какие документы. Я с удовольствием согласился.

Когда мы въехали во двор Смольного института, Нисский внезапно остановил машину около проходившего мимо человека в старом, залатанном пиджачке. Остроконечная бородка, чудесная улыбка, спадающее с носа пенсне...

— Здравствуйте, Анатолий Васильевич! Хочу попасть сегодня на вашу лекцию в цирке «Модерн». Принимаете загородных гостей?

— Принимаю, — услышали мы в ответ, — но приходи пораньше, а то там столько народа, что в прошлую лекцию я сам еле сумел пробраться в цирк.

Нисский уловил подозрительный взгляд своего собеседника, брошенный на мои погоны. Я в то время учился в 1-й Петергофской школе прапорщиков.

— Познакомьтесь, Анатолий Васильевич. Это юнкер-большевик, или, вернее, большевик, угодивший в тиски юнкерской шинели. К тому же он студент. Ваш будущий подчиненный...

Так состоялась моя первая встреча с Луначарским...

☆

Цирк «Модерн» был в те дни цитаделью большевистской пропаганды. Толпы народа не редели ни на площади вокруг цирка, ни в самом здании цирка. Здесь тогда состоялись четыре лекции А. В. Луначарского о коммунах. Лекции назывались так: «Первобытная коммуна», «Средневековая комму-

на», «Парижская коммуна» и «Коммуна грядущих дней». Нам предстояло попасть на лекцию о Парижской коммуне. Мы пришли загодя, но проникнуть в цирк нам удалось с большим трудом. Найти сидячие места никто и не пытался, их просто не было. Люди стояли плечом к плечу, стояли два с половиной часа...

Лекция Анатолия Васильевича вознаградила нас за все неудобства. Аудиторию буквально заворожил яркий ум лектора, его огненный темперамент, изумительное владение словом, меткость, образность и ясность изложения. Все, что говорил Луначарский о Парижской коммуне, перекликалось с сегодняшним днем революции, звало на бой, звало к немедленному овладению властью, прочно, навек. Лекция непрерывно прерывалась аплодисментами. Но особо длительная и бурная овация разразилась тогда, когда оратор огласил в своем переводе «Карманьолу». Анатолия Васильевича заставили повторить песню. Вся аудитория — рабочие и солдаты — с упоением скандировала:

Дело пойдет, пойдет, пойдет.
Всех буржуев — на фонари!
Станцем «Карманьолу»,
Пусть гремит гром борьбы!



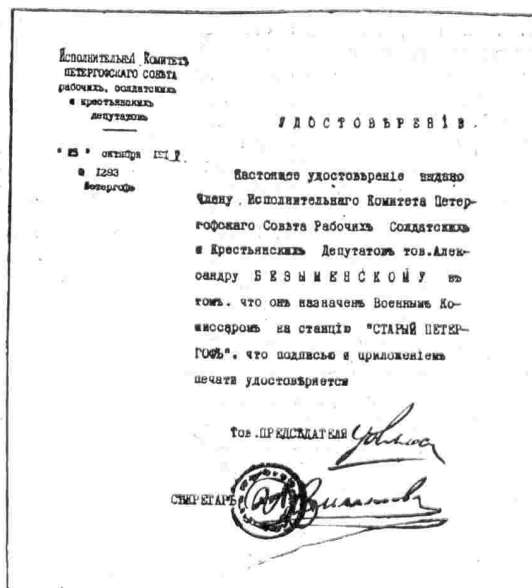
Двадцать второго октября 1917 года наш маленький красногвардейский отряд возвратился в Петергоф из Ораниенбаума, где верные люди передали нам очередную партию оружия, «навек взятого в долг» из резервных складов школ прапорщиков. Оружие мы доставили на грузовике в Петергофский исполком, а представители «Военки» (военной организации большевиков) немедленно передали его в руки товарищей, дожидавшихся, несмотря на поздний час, нашего прибытия.

Нужно было торопиться. Мы готовились к тому, что власть перейдет в руки Советов двадцать пятого октября, поскольку в этот день откроется II съезд Советов. Но, не дожидаясь этого дня, мы стремились овладеть всеми средствами и путями связи с Петроградом — почтой, телеграфом, железнодорожными станциями — и установить такое наблюдение за школами прапорщиков, чтобы в подходящий момент их разоружить еще до открытия II съезда Советов.

...Получив разрешение уйти на отдых, я тотчас снял солдатскую шинель, которую меня заставили надеть, чтобы скрыть мои юнкерские погоны. Я протестовал против этой маскировки, доказывая, что плохо показать народу существование юнкеров-большевиков. Но товарищи были непреклонны: кому нужны лишние расспросы и разговоры при передаче оружия?

Помещение 1-й Петергофской школы прапорщиков, где стояла и моя койка, было погружено во тьму. Малюсенький ночник на столе дневального давал не очень много света, но достаточно, чтобы разглядеть, что все на месте и блаженно спят, а возле дневального сидит «дневальный революции» юнкер-большевик Зельдин. Наблюдение за школой нельзя было прекращать ни днем, ни ночью, и мы учредили должность «дневальных революции», которые в ночные часы по очереди дежурили, чтобы иметь возможность предупредить исполком в случае какой-либо попытки контрреволюции начать действия.

Отойдя в сторонку, мы перебросились с Зельдиным несколькими словами.



— Все благополучно?

— Да.

— Что они делали днем?

— Все то же самое. Разговаривали.

1-я Петергофская школа прапорщиков целиком состояла из студентов. Давно уже исчерпались те привилегированные круги, из которых в царское время комплектовался основной контингент юнкеров и студентов. Подавляющее большинство учащихся школы составляли дети всяческих «разночинцев», что определяло пеструю картину их политических симпатий. Была в школе немногочисленная группа сторонников монархии. Значительно больше было активных приверженцев Каледина и Краснова. Основная масса являлась беспартийной, не знала, куда ей склониться, и шаталась из стороны в сторону. Были эсеры, меньшевики, народные социалисты и прочие. Большевиков в июле было всего четверо, в октябре — двадцать семь.

Учебная жизнь школы давно развалилась: занятий не было, в том числе и строевых. Каждый делал, что хотел, а чего он хотел, не каждый знал.

Большевики-юнкера выполняли многообразные поручения партийного комитета Петергофской организации. Шла деятельная работа: сплочение рабочих и солдатских масс, сбор оружия, подготовка точных составов красногвардейских отрядов. Нас посылали на собрания других школ прапорщиков, ибо надо было не только сплачивать свои силы, но и внести разложение в те слои, которые могли быть поставлены нашими врагами себе на службу. Времени на отдых у нас почти не было.

Что же касается остальных юнкеров, то они весь день митинговали, за исключением времени, необходимого на завтрак, обед и ужин. Они разговаривали...

Об этом почти непрерывном митинге стоит сказать, ибо он был зрелищем весьма красочным.

Монархисты молчали. Адепты Корнилова, Каледина и Краснова яростно убеждали юнкеров не митинговать и в случае выступления большевиков стрелять, не колеблясь. Все прочие вертелись в замкнутом круге рассуждений, сводившихся к следующему: что нам делать, если большевики начнут ак-

тивные действия для передачи власти в руки Советов? Мы, мол, являемся сторонниками Временного правительства, и, очевидно, придется стрелять. Но ведь мы демократы, мы не можем стрелять в народ! Но если мы не будем стрелять, мы этим самым предадим Временное правительство. Значит, надо стрелять? Но ведь у нас рука не подымется: ведь мы демократы, а выступит как-никак народ! Значит, не стрелять? Но ведь тогда...

И так весь день.

Поэтому, услышав ответ Зельдина «все то же самое... разговаривали...», я спокойно улегся спать.



Весь день двадцать третьего октября был наполнен обычными делами. Как член Петергофского исполкома, я получил ряд поручений не только военного, но и чисто хозяйственного порядка. Этому не следует удивляться, так как в самом Петергофе власть фактически давно уже принадлежала Совету.

К вечеру собрался красногвардейский отряд, которому предстояло после получения соответствующего приказа занять почту и телеграф. Как рядовой отряда, я участвовал в разработке плана операции. Было решено сразу же установить наблюдение за этими объектами по опыту «дневальных революции» нашей школы. Установили очередность дежурств и отправили первого дежурного на его пост. Перед этим произошел у нас «обряд знакомства». Вызвали двух телефонисток и двух работников почты, которые сочувствовали большевикам, и познакомили с ними весь состав отряда, чтобы каждый знал, что от этих людей он может получить достоверные сведения, а в случае опасности — сигнал тревоги.

Ночью я дежурил в исполкоме. Ничего похожего на персональное дежурство не было. Все свободные от поручений члены исполкома и Совета находились в комнатах и залах Петергофского дворца.

В разных комнатах собирались красногвардейские отряды. Кто чистил оружие, кто в сотый раз проверял план той или иной операции, кто ждал поручений. И все вместе переживали радость или огорчение от тех сообщений, которые поступали со всех сторон. В победе революции никто не сомневался, но хотелось, чтобы она совершилась организованно, молниеносно, хотелось предупредить любую опасность, учесть все возможные повороты грядущих событий. Речь шла не о нашем маленьком Петергофе, а о всей огромной Родине, о первой в мире социалистической революции. А в нашем городишке все было в порядке: меры по захвату необходимых объектов были приняты.

Двадцать четвертого октября утренние газеты принесли известие о том, что правительство запретило центральный орган большевиков «Рабочий путь», запретило большевистскую газету «Солдат» и отдало приказ арестовать руководителей Петроградского Совета и членов Военно-революционного комитета. Контрреволюция двинулась в поход.

В час дня получили мы газету «Рабочий и солдат» с воззванием «подарестного» Военно-революционного комитета. Там говорилось, что враги перешли в наступление. Комитет призывал весь гарнизон Петрограда и весь пролетариат нанести врагам народа сокрушительный удар. Чуть позже прибыл «запрещенный» «Рабочий путь» с призывом свергнуть Временное правительство.

Из Петрограда сообщали, что рабочие и солдаты приступили к боевым действиям.

Восстание началось.

К вечеру один из петергофских красногвардейских

отрядов занял станцию Старый Петергоф, а другой — станцию Новый Петергоф. Наш отряд двинулся к почте и телеграфу. Операция совершилась без каких бы то ни было осложнений. Не все телефонисты и почтовики встретили нас дружелюбно, однако ни малейшего сопротивления оказано не было.

Почти весь состав нашего отряда остался на почте и телеграфе. Товарищам было поручено особенно внимательно следить за телефонными разговорами из школ прапорщиков и из квартир их командиров и инструкторов. Вернувшись в исполком, я получил задание отобрать оружие у этих командиров и инструкторов. Запасшись солидным количеством домашних адресов, я двинулся глубокой ночью в путаницу петергофских улиц и переулков во главе тут же спешно организованного отряда красногвардейцев.

Подавляющее большинство тех, кому мы обязаны были нанести визит, оказалось в постели, что было признаком успокоительным. После знакомства с нашим мандатом, поглядывая на дула наших винтовок, они отдавали свое личное оружие. Во многих случаях это оружие оказывалось испорченным. Мы производили летучий обыск и двигались дальше. Но вот, постучавшись в дверь одной из комнат, мы услышали яростную ругань и угрозу открыть стрельбу. Дождавшись краткого перерыва в офицерских душеизлияниях, я приказал четырем красногвардейцам приготовиться и ударил в дверь заранее припасенным топором. Лязг затворов и удар топора произвели, очевидно, сильное впечатление — дверь открылась. Пожилой подполковник, в ночной рубашке, размахивая зажатой в руке револьвером, продолжал осыпая нас бранью. Вид его, конечно, был смешон, и один из красногвардейцев засмеялся, будучи, наверное, человеком очень веселым. Но смех замер на его губах, когда в подвале обнаружился огромный сундук, наполненный револьверами и обоймами. Подполковника мы арестовали и отправили в Совет, оружие переслали в «Военку».

Часам к восьми утра 25 октября закончилась наша операция, к девяти — наш отчет исполкому.

Получив разрешение, вернее, приказ, я еле добрался до своей койки и проспал часов до пяти вечера. Разбуживший меня юнкер-большевик Краснопольский передал приказание немедленно явиться в исполком и сообщил, что в Петрограде войсковыми частями и Красной гвардией заняты телефонная станция, вокзалы, телеграф, почта, министерства, государственный банк. Ленин в Смольном и лично руководит восстанием. Министры арестованы. Опубликовано обращение большевиков «К гражданам России», где говорится, что Временное правительство низложено и государственная власть перешла в руки Советов.

Явившись в исполком, я получил назначение на «пост» военного комиссара станции Старый Петергоф. Инструкции мне давал мой сотоварищ по школе, член партийного комитета Петергофской организации большевиков Владимир Гришанин — человек неисчерпаемой энергии, умница, весельчак, вносящий во все, что он делал, молодой задор и вместе с тем большую практическую сметку. Его указания и советы очень мнегодились.

На станции Старый Петергоф было тихо. Поезда из Ораниенбаума и Петрограда ходили исправно, по расписанию; люди, едущие в обоих направлениях, вели себя смирно; пассажиров было мало.

Немедленно была организована проверка документов у тех, кто садился на станции в поезд, идущий в Петроград. Всех подозрительных лиц приводили ко мне, и я встретился с немалым количеством людей, в том числе и юнкеров, которые отправлялись в Пет-

роград с явной целью помочь врагам революции. Этих людей мы не пропускали в вагоны или арестовывали, предварительно обыскав. К концу дня нашими трофеями оказались двенадцать арестованных и семь револьверов. Выбраться из Петрограда кое-кому не удалось.

Одновременно началась проверка дальних пассажиров. Когда поезд, идущий в Петроград, останавливался, красногвардейцы входили в вагоны и расспрашивали пассажиров, куда и зачем они едут, у иных проверяли документы, иных ссаживали. Мы поймали группу из пяти подозрительных субъектов, отправлявшихся, по их словам, в Петроград «на экскурсию». Мы изменили их маршрут, отправив всех пятерых «на экскурсию» в Петроградский Совет, разумеется, под стражей. Как это ни странно, в нескольких поездах оказались такие же «экскурсанты», хотя и одиночки. Вполне возможно, что это был сговор.

Путь в Петроград по железной дороге для врагов революции был в известной мере прегражден. А в случае если бы они попытались двинуться большой массой, начали бы действовать наши пулеметы, установленные на станции. Группа юнкеров (в том числе человек восемь из нашей школы) все-таки удара разными путями к Краснову, но массового юнкерского выступления не получилось. Сорвали!



Весь день двадцать шестого октября я находился на станции и хотя был горд полученным заданием, но тяготился сравнительным бездействием. А телеграф и газеты приносили сведения о том, что еще накануне, 25 октября, открылся Второй съезд Советов, что власть перешла в руки Советов, что приняты декреты о мире и земле, что Керенский и Краснов двинули войска к Царскому Селу. Как же получается? Где-то идет борьба, а тут? Тут просто курорт, а не схватка со старым миром!

Поздно вечером сел я на мотоцикл и, явившись в исполком, а затем в партийный комитет, потребовал, чтобы меня отправили в Красное Село, в штаб войск, действующих против полков Керенского и Краснова. Товарищи наконец согласились. В это время был в исполкоме один из известных вожаков кронштадтских матросов, Семен Рошаль, отправлявшийся через Гатчину в Красное Село. Он взял меня с собой.

Но и в Красном Селе сражения не было. Мне давали отдельные задания, но они не соответствовали моим желаниям и порывам. Днем включили меня в состав крупного отряда солдат и матросов, которому поручили разобрать какой-то железнодорожный путь. Это уже было лучше, тем более что сотоварищи мои обладали великим запасом юмора. Шла работа весело, с шутками и прибаутками. Все были возбуждены радостью победы. Власть, земля, воля — все в руках народа.

Во время перекура подошел ко мне человек в довольно потрепанной кожаной тужурке и весело спросил:

— А как ты считаешь, товарищ, трудно управлять государством?

— Думаю, что нелегко, — ответил я.

— Вот и я так думаю. Все ведь будет для нас впервой! Парижская коммуна не в счет — недолго правила, да и неумело. А теперь, у нас-то есть, дело навеки. Привыкать надо будет государством править. Ну что ж, Ленин научит, жизнь научит. Может, и я большую задачу получу, скажем, министром стану. Сергей Трохин, обуховский рабочий, — министр! Красиво?

— Красиво! — засмеялись окружающие.

— С такими орлами, как вы, не пропадешь, — проговорил Трохин, оглядывая всех любовным взглядом. — Сдюжим!..

Это слово крепко запало мне в сердце...



К вечеру двадцать восьмого октября в Красное Село приехал член Военно-революционного комитета Петроградского Совета Чудновский, высокий человек в солдатской шинели. Он имел поручение провести разведку вражеских сил. Получив все имеющиеся данные, Чудновский оглядел присутствующих и сказал:

— Сведений у вас немного. Поеду в Царское Село. Машина у меня сильная, большая — генеральский «Пежо», но одному скучно. Прошу дать мне мотоциклиста на всякий случай и выделить одного спутника.

Я тут же встал.

Взгляд Чудновского скользнул по моим юнкерским поганам, и лицо его выразило некоторое смущение. Но, видимо, он преодолел в себе чувство вполне естественного недоверия и быстро задал несколько вопросов:

— Эсер? Большевик?

— Большевик.

— И давно?

— Больше года.

— На смерть готов?

Увидя мою улыбку, он явно смутился.

— Едем!..

В машине Чудновский сообщил:

— Из Гатчины передали непроверенные слухи о том, что казаки заняли Царское Село. Придется соблюдать максимум осторожности. Ничего! Машина бесшумная, а в случае если придется сражаться, — глядите, вот дюжина револьверов и гора обойм. Стоит нагнуться — и весь арсенал под рукой.

На всем пути до Царскосельского дворца, в одном из флигелей которого помещался Совет, нам никто не встретился. В окнах Совета темно, дверь заперта, кругом безлюдно. Что делать? Решили отправиться во 2-й Царскосельский стрелковый полк. Этот полк был в целом не очень-то надежен, однако и там были верные товарищи...

Вдруг машина резко затормозила. Дорога оказалась заваленной камнями. Нас окружил отряд казаков.

— Не сразу стреляйте, — шепнул Чудновский, — поговорим с ними. А если...

Остальное было понятно без слов.

— Кто вы такие? — послышался не очень уверенный голос, показавшийся мне знакомым. Очень уж характерным и своеобразным был выговор казака. Кто хоть раз слышал этот голос, забыть его не мог.

— А вы кто такие? — спросил Чудновский.

Секунда молчания показалась нам вечностью. Стрелять или не стрелять?

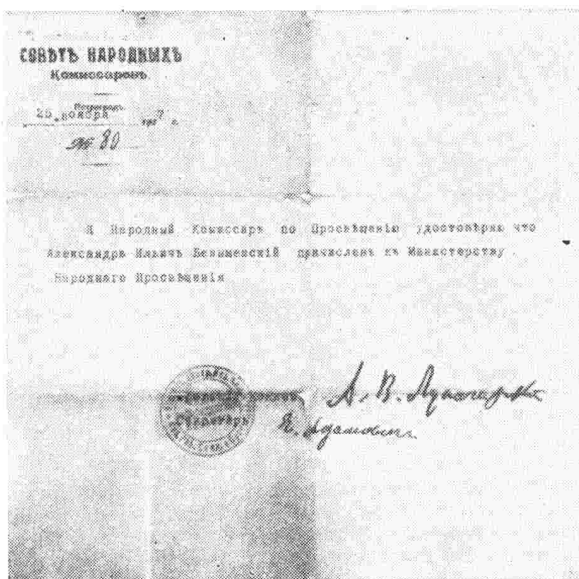
Казаки, задавший вопрос, чиркнул спичкой и зажег «летучую мышь». Едва ее слабый луч осветил наши лица, тот же голос произнес:

— Отойдите, братцы. Это свои...

Легко понять весь объем нашей удачи. Случилось подлинное чудо, произошел один из тех невероятных фактов, которыми так богата жизнь.

Начальником отряда, который окружил машину Чудновского, оказался казак Матвей Мионов...

Когда отряд отделился от машины, между нами и Мироновым завязался негромкий сердечный разгово-



вор. Миронов торопливо делился с нами всем, что его волновало, спрашивал, сообщал, советовался.

Потом он тревожно спросил:

— Правда ли, что съезд Советов постановил разделить казачьи земли между крестьянами Великой России?

Чудновский вытащил из кармана пачку листовок и передал казаку.

— Вот декреты о мире и о земле. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно и без всякого выкупа. Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются. Да всего не расскажешь. Читайте сами, другим покажите.

Миронов еле перевел дух.

— А правда ли, что Ленин собирается отобрать земли и имущества у наших помещиков и разделить их между трудящимися казаками?

— Ленин очень хочет этого, на то он и Ленин. Однако сделать это должны сами казаки. Создайте казачьи Советы и распоряжайтесь землей на благо трудового народа, а не кровососов. Советское правительство поддержит вас, поможет вам, сомневаться не приходится...

— Спасибо,— тихо вымолвил Миронов,— самое главное стало ясным. Спасибо.

Мы посоветовали послать казачью делегацию в Смольный, чтобы товарищи казаки увидели все собственными глазами и разузнали о делах мира и земли подробно.

— Теперь уезжайте,— сказал Миронов,— а то кто-нибудь еще нагрянет. Через пару верст после Царского можете свет зажечь, никого не встретите. А за все, что сказали, еще раз спасибо!

Машина развернулась и дала полный ход. Через короткое время мы прибыли в Красное Село.

Чудновский доложил все, что мы узнали, и тут же умчался в Петроград. Изнемогая от усталости, я сидел у стола, едва различая лица и предметы. Поручик Хаустов, один из руководителей штаба, молча указал мне на соседний столик, на котором была кое-какая еда, и на постель. Два этих молчаливых приказа были мною немедленно выполнены.

А через два я вернулся в Петергоф. Как и все школы прапорщиков, наша школа была вскоре расформирована. Нас пока что продолжали исправно кормить, но личный состав школы таял не по дням, а по часам. Господа юнкера ринулись по домам, добывая себе «липовые» бумаги. А многие обходились и без бумаг.

Юнкеров, состоящих членами Коммунистической партии, Петергофский комитет домой не отпустил. Ожидая общего решения, комитет давал нам самые различные задания. В конце ноября мне дали наказ явиться к Луначарскому и включиться в работу Наркомата просвещения ввиду саботажа служащих. Было похоже на то, что должно осуществиться предсказание нашего predisполкома...

И вот я в здании наркомата, направляюсь к кабинету Анатолия Васильевича. Я прошел десятки огромных пустых комнат, считал единицы находившихся там людей: один... три... пять... семь...

Анатолий Васильевич что-то диктовал своему секретарю, но принял меня сразу: других посетителей не было. Когда я изложил суть полученного мною партийного задания, Луначарский набросал несколько строк и попросил секретаря «превратить это в документ». Тут я напомнил ему, когда и где мы в первый раз встретились.

— Вы юнкер-большевик? Студент, как мне помнится? Да ведь это прекрасно! Восхитительно! — промолвил мне в ответ руководитель народного просвещения России, только что ставшей Советской страной. — Вы не подозреваете, как совпадает это обстоятельство с моими сегодняшними размышлениями!

Луначарский вышел из-за стола и заговорил так, как будто перед ним находился не один человек, а все население Родины:

— Студент! Великолепное слово, не правда ли? Мы сделаем всю Россию грамотной, мы дадим ей тысячи школ, сотни высших учебных заведений, не так ли? Школьники превратятся в студентов, студенты — в инженеров, врачей, писателей, в работников тысяч профессий, но быть студентами они не перестанут. Вы знаете ли, юноша, что существует выражение «вечный студент»? Знаете? Очень хорошо. Но мы изменим суть этого понятия, лишим его иронического смысла, дадим ему смысл патетический. Каждый человек Советской России должен стать и всю жизнь оставаться вечным студентом коммунистической революции, кормчим которой является Ленин. Вот что такое вечный студент в нашем понимании! Учиться всю жизнь у коммунистической революции и творить ее — вот наша цель, вот радость, с которой ничто не может сравниться...

Принесли мой документ, и мы с Анатолием Васильевичем расстались. По фотографии документа можно убедиться, что в те времена Луначарский не мог точно определить название учреждения, которым он руководит...

...С тать работником этого учреждения мне не пришлось. По решению партии я выехал во Владимир, в город моего детства и юности. Перед завоевавшим власть рабочим классом во весь рост встала задача управления государством. Это было делом нелегким, все было впервой. Но незримо властвовали над сердцами слова Сергея Трохина, обуховского рабочего:

— Сдюжим!..

Трудовой народ, ведомый большевиками, во всем сдюжил.



● Иван Купцов

По-
ГОВО-
РИМ
О
ПРО-
ЧИТАН-
НОМ

ХУДОЖНИК ВЗЯЛСЯ за перо...

Как повествует древнегреческое сказание, городу Фивам угрожало разорением и смертью злое чудовище Сфинкс. На состязание с ним вышел мудрый Эдип. Он разгадал загадку чудовища, победив человеческим разумом мрачные силы природы. И как в жизни свет прогоняет тьму, так и в старой сказке Сфинксу ничего не осталось иного, как сгинуть с лица земли. Фивы были спасены.

Подлинное произведение искусства всегда несет в себе ответ Эдипа. Но сложности жизни и самого творчества приводят к тому, что появления на свет еще одного художественного произведения само по себе недостаточно. Входя в мир человека, искусство вызывает ответную реакцию. Происходит диалог. И в некоторых случаях в него непосредственно вступает и сам художник.

За последние годы в наших издательствах вышло несколько книг, в которых видные советские художники сами рассказывают о своем искусстве. Эти книги привлекли внимание читателя, желающего глубже разобраться в живописи, скульптуре, графике.

«Художники пишут очень мало,— отмечал более ста лет назад Эжен Делакруа. — Многие из них, даже самые прославленные, не по-

лучили достаточно глубокого образования, чтобы иметь возможность изложить в письменной форме результаты своего опыта...»

«Впрочем,— продолжал Делакруа,— теория искусства занимает их так же мало, как и сочинительство. Искусство заключается для них только в практических знаниях... К тому же выражать свои мысли в письменной форме очень



трудно. Нужно привести их в определенную систему, следить за их развитием, уметь вовремя остановиться...»

Наш современник Александр Дейнека также замечал нелюбовь

художников к словесному разговору. «Художники мало говорят о своей работе, а если и говорят, то не всегда искренне. ...Художник не всегда в гармонии с самим собой, не всегда он умеет передать то, что глубоко чувствует».

Во всяком случае, серьезный художник, говоря о своей профессии, поостережется надуманностей, помпезных правоучений. Он остановится перед тем, чего не знает. Выскажется предположительно, опасаясь нерыцарски показать себя человеком скоропалительным, все постигшим.

В строках художника создается новый мир, который я сравнил бы с рекой, чьими берегами являются живопись и литература. Живой поток мысли соединяет их. И художник повествует уже не просто о красках и линиях, а об их нравственности, поэзии, обо всем том, что позволяет нашим чувствам постигать мир, творя его заново, по законам красоты.

НЕОБЫКНОВЕННОСТЬ ОБЫКНОВЕННОГО

Литературные выступления покойного живописца Сергея Герасимова еще не изданы отдельным томом. Автор с этим не спешил, считая, что слово дол-

жно следовать в искусстве за делом. «Важно не то, — писал он, — что ты посулишь, а то, что выйдет из-под твоей кисти или резца. Не нужно особой искусственности, чтобы понять: каковы бы ни были программные выступления художника на трибуне, решающее слово все же будет сказано делом, в мастерской, за мольбертом».

Пытливый художник недолюбливал вещания и «советы», граничащие с рекламой. Сергей Герасимов не давал готовых рецептов хорошей живописи, ее миссии в мире, места в жизни общества и гражданина.

А. Дейнека, мастер другой школы живописи, в книге «Из моей рабочей практики» признается читателю: «Я, как и другие, не могу точно указать, как зарождается произведение, так же, как я не смогу дать полный ответ, почему одно мне удалось, а другое нет, ибо зарождение произведения все же весьма таинственно, как судьба личности, иначе можно было бы создавать таланты и шедевры по плану».

В этих строках заключено признание самооценности творческих способностей человека, которые ничем нельзя подменить. Не существует философского камня, превращающего все металлы в золото. Нет и такой формулы, владея которой можно было бы создать произведение искусства.

Читая С. Герасимова и А. Дейнеку, замечаешь именно такую устремленность художников. Чувствуешь их возвышенное и строгое отношение к своему труду, постоянную озабоченность и любовь.

С. Герасимов не просто связывал философские определения с примерами художественной практики. Для него обе области оставались взаимосвязанными и самостоятельными. Будь все просто, человек не особенно бы дорожил искусством, так как, однажды постигнув его, исчерпал бы сей предмет знанием, нашел бы извечный способ его утилитарного применения.

Но история показывает, что «утилитарность» искусства — особого рода. «Польза» и «пользительность» борются много упорнее и бескомпромисснее, чем во многих житейских понятиях и укладе. Единственная польза искусства — развитие непрерывающейся духовной жизни человечества, а в наших социалистических условиях — активное участие в формировании психологии нового человека.

В статьях живописца Сергея Ге-

расимова дается открытый бой примитивности, в какой бы форме она ни выступала. Но подлинный художник не станет состязаться с противником в демагогии и профанации высоких идей. С. Герасимов поэтому испытывал склонность к спокойному, рассудительному тону. Живописец замечал относительно натурализма: «Научиться в точности копировать натуру и стать настоящим художником-творцом — как далеко это одно от другого». Художник пола-



гал, что «настоящее искусство приходит только к глубоко мыслящему художнику». Сергей Герасимов показывает теоретическую несостоятельность примитивов, не могущих предположить, что действительность обильнее и сложнее того, что они «признают» в ней, устав от поисков и работы, удовлетворившись уже достигнутым.

И как бы соизмеряя масштабность творчества с величием человека, с возможностями его познания, живописец с удовлетворением вчитывается в ленинские «Философские тетради», цитируя выделенную Лениным в конспекте аристотелевской «Метафизики» открытую мысль: «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепок — понятия с нее не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни...»

И далее, помня ленинское упоминание о трактовке мечты в работах Писарева, художник пишет, что «с не менее строгим критерием Писарев подходил и к вопросу о конкретном воспроизведении конкретных явлений жизни, выступая за живое чувство, за мысль, за горение высоких и благородных страстей в искусстве, против всякой мертвечины, холодности, ме-

щанского благолепия и убогой схожести».

С. Герасимов приводит любопытный случай, не так уж часто вспоминаемый в искусствоведческих дискуссиях: «В шестидесятые годы прошлого века Писарев проинизировал: «Наши великие живописцы, господа Зарянко и Тютрюмов, воспевают бровные воротники красками, и воспевают их так неподражаемо хорошо, что каждый отдельный волосок превращается в поэтическую картину и в перл создания».

«То, что было смешно в шестидесятые годы прошлого века, — продолжает художник, — еще более смешно в шестидесятые годы нового века, когда познание человека проникло в тайны атома и космоса, когда необычайно расширился человеческий кругозор и глубина искусства».

«Искусство — это совесть человека», — пишет Александр Дейнека. И действительно, глубина и широта представления человека о мире зависят от того, насколько творческая личность сможет аккумулировать те сложности, ясности, проблемы и противоречия, которые несет в себе жизнь.

Дейнека в своей книге просит у читателя согласия на то, что искусство имеет право в нужной образной форме отображать лучшее в поведении человека». Лучшее — да ведь это и есть мудрость мысли и умная отзывчивость чувства. И не значит ли это, что не через искусство назидательно преподается уже существующий где-то идеал, а в самом искусстве воплощается мощь и величие человека.

«Необыкновенность обыкновенного» — так не случайно назвал свою книгу Юрий Пименов. Одну из важных особенностей художника автор находит в том, что художник поражает всех не абсолютно новым, а тем новым, что незамеченным жило среди старого. Художник мобилизует свои чувства тогда, когда мы с вами размагничиваемся, дав увлечь себя текучке.

В литературных высказываниях художники обосновывают свой метод, сверяют с ним пройденный путь. О том, что искусство — точная и вместе с тем особая, духовная продукция, а не репродуцирование готового, напоминает в «Страницах жизни» график Н. Долгоруков. О ремесле рук и мастерстве сердца художника пишет Бор. Ефимов в книгах «Работа, воспоминания, встречи» и «Сорок лет. Записки художника-сатирика».

ЧУДАКИ И ПРАКТИКИ

Каков же он сам, художник, художник как тип? Брошюра Бор. Ефимова «Рассказы о художниках-сатириках» представляет нам художника на улице, в электричке, на собрании. Автор показывает не строго зависимую, но очень чуткую к изъятиям и хирургическому вмешательству цепочку «чужаков» «непрактичного» художника.

Приводя свидетельства личной храбрости и житейской принципиальности художника Д. Моора, Ефимов добавляет: «Безбоязненным был Моор и в своих творческих поисках. Он смело экспериментирует над изобразительным языком плаката, не боится быть «непонятым», новаторски деформируя манеру и стиль рисунка... Он ставил себе задачей овладеть вниманием зрителя, взволновать его и, как выражался Моор, вывести из состояния душевного равновесия. И это удавалось ему».

Вот Черемных. Молчаливый, степенный, не любивший много говорить. Но однажды, уступая просьбам, он сделал доклад... предварительно изобразив весь словесный ряд рисунками и эмблемами. Ефимов замечает, что «такой чудной «текст» доклада был чрезвычайно характерен для оригинального и самобытного черемныховского склада, для его изобретательного и находчивого ума,

ские куранты на мелодию «Интернационала». Вот и в «курьезах» проявился-таки художник атакующего мира.

И еще один пример доброго непостоянства. Ефимов так преподносит его: «Ротов совершенно свободен от той архаичности и старомодности в трактовке персонажей, которой иногда грешат даже маститые, но несколько обленившиеся сатирики. Он не знал, что такое, выражаясь медицинским языком, застойные явления, свойственные тем художникам, которые однажды найденные ими образы постепенно превращают в трафарет и, не утруждая себя дальнейшими поисками, с железным постоянством повторяют из года в год одни и те же законсервированные типажи рабочих и крестьян, капиталистов и фашистов, лодырей и бюрократов... Таких художников немало не смущает то, что «все течет, все изменяется», что время и жизнь вносят существенные поправки во внешний облик людей и характер явлений».

Но гораздо печальнее, когда художник отдает себе отчет в том, что жизнь развивается и не стоит на месте, да только порицает это движение как ложное. Гораздо опаснее, когда художник говорит о святости и принципиальности творчества, а по сути про ф а н и р у е т творческий акт.

Белинский писал: «Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, в нем не может быть ни прекрасных мыслей, и никаких вопросов...»

Скульптор Евгений Вучетич приводит эту цитату в своей книге «Художник и жизнь» — толстом томе, уже самым заголовком привлекающем внимание читателя. Художник и жизнь — это в искусстве вопрос вопросов.

Скульптор справедливо говорит: «Художник, который стремится запечатлеть в своем творчестве современность, призван осмысливать деяния своего народа, обобщать явления общественной жизни, выражать их в художественных образах. Осмыслить жизнь — это значит понять главное направление ее развития, увидеть победу нового, торжество прогрессивного над старым и отживающим». С этим нельзя не согласиться.

Однако в ходе чтения, переступая от одной концептивно изложенной общей мысли к другой, читатель книги известного скульптора не находит их развернутых по-

яснений и невольно обращается к лирическим отступлениям автора, рассчитывая в них постигнуть личное понимание, углубленное проникновение автора в вопросы скульптуры.

Лирические отступления в книге Вучетича являют собой живо набросанные диалоги. Большая часть из них посвящена встречам скульптора со знаменитыми людьми. То скульптор припоминает, как сразу после войны к нему в мастерскую зашел некто «он», одобрил все работы, кроме одной, заподозрив в ней «символизм». Впрочем, памятник был вскоре изваян, установлен и удостоен всех тогдашних почестей. В дальнейшем, когда суждения не особенно посвященного, но благосклонно настроенного к Вучетичу деятеля начинают отхватывать целые абзацы и страницы книги, автор весьма превозносит их, уже не замечая некоторого своего субъективизма.

К беседам второго сорта относятся диалоги с простыми людьми, в которых автор не подчеркивает своей близости к собеседнику, зато высказывает мысли о прекрасном, принципиальном и святом творчестве.

Во время создания фигуры Разина скульптор остановился перед сложной проблемой. Он раздобыл в музее кафтан той поры, узнал от знакомого писателя, что нос казака был с горбинкой, но, несмотря на это, никак не мог представить облик Степана. Его, как известно, казнили; прямых потомков по мужской линии он вроде бы не оставил... Верный принципам работы с натурой, скульптор решил найти человека, похожего на Разина.

Натурщик и натура — разные довольно-таки вещи в искусстве. Взаимоотношения с ними художника всегда сложны, если он не желает быть копировальной машиной или всецело отречься от действительности.

Один из основоположников советской скульптуры, Александр Матвеев, на занятиях у которого в юности бывал и Вучетич, в подготовительных материалах к «Программе курса скульптуры», которые высказывались им устно студентам, а ныне воспроизведены в монографии Е. Муриной, писал: «Общезвестно, что натура не дает готовых образов, что натура, как сказал Делакура, — словарь, в котором художник ищет отдельные слова. Если спросить: имеется ли в природе готовая скульптура, готовый образ, который стоит только хорошенько измерить, скопировать и получить скульптуру



который посещали самые неожиданные, подчас курьезные, а большей частью интересные и плодотворные идеи».

Да, таким «чужаком» был зачинатель «Окон РОСТА», человек, за две недели настроивший Кремлев-

то приходится разочаровываться — готовых образов в натуре не имеется. Образы живут, водятся только в нашем собственном воображении, это есть художническая способность мыслить образно, пластически-образно мыслить в частном случае скульптуры.

Но что теория. Практика смотрит на нее сверху вниз. Как следует из книги «Художник и жизнь», экспедиция, отправившаяся на волжские берега, где-то на базаре нашла «подходящего» мужика, торговавшего яйцами. Их оптом купили, чем и заслужили доверие местного жителя. Скульптор стал лепить с него лик Степана.

Но, узнав в чем дело, простой человек проявил характерную для него осведомленность, заметив, что он владеет бородой-лопатой, тогда как, согласно народному сказу, Разин носил кудлатую бороду. Творческие поиски сразу зашли в тупик. Прочитируем подлинник: «— Дедушка, давай подправим (бороду).

— Мне пельзя, я старовер.

Что делать? Сели за стол, достали водку. Не пьет.

— Старовер, — говорит».

Пришлось пойти на уловку, пообещав, что никто о вышивке не узнает. «Словом, уговорили, — продолжает автор, — напился наш дед до чертиков». После этого Вучетич взял ножницы и обкромсал пьяному старцу бороду «а-ля кудлатый Стенька».

Если бы этот эпизод описал не сам скульптор, можно было бы считать все это за анекдот, не очень умный, компрометирующий само заглавие книги. Но, увы, он описан, и, говоря об этой серии книг, нельзя не остановиться на нем.

Остальные процессы творчества образа Разина, судя по описаниям автора, протекали более спокойно, но столь же «творчески».

Отсутствие поэзии!.. Не об этом ли писал Белинский? Отсутствие воображения у художника — это ли не настораживает, особенно тогда, когда оное отсутствие самоутверждается в грубой выходке...

«Художник без воображения не может существовать, — учил Матвеев. — ...Воображение нам нужно не для того, чтобы делать фантастические вещи, но для того, чтобы осмысливать действительность. Я думаю, что можно так охарактеризовать реализм: это такое явление, которое неизбежно рождается в головах людей, одаренных творческим воображением. Фантазия на манер действительности — можно так сказать».

Встретив в книге эпизод с «де-



дом», невольно задумываешься, а так ли уж прав автор, монтируя в долгие периоды общеизвестные истины, нет ли в этом монтаже ложных смещений.

Например, скульптор пишет, что «фиксирование явлений действительности, ее фактов — удел и призвание фотографов, да и то плохих».

Да только зачем, с каким смыслом фиксирование? Об этом Вучетич не думает и не говорит. Он озабочен тем, как бы на всякий случай его не спутали с натурализмом. Вот он и отрешивается от натурализма тем, что отрицает фиксирование явления и факта действительности как возможную часть художественного образа, как один из моментов творческого акта.

Однако натурализм не тем плох, что фиксирует факты. Напротив, он их игнорирует, потому что разрушает их взаимосвязи, абсолютизируя одни и «не замечая» другие. Натурализм сказывается в системе художественного мышления, его произвольности, грубости, примитивности, когда едва ли не главным становится не страсть характера, выступающая в музыкально организованной форме, а похожесть какой-то детали, какая-нибудь кудлатая борода.

Автор книги «Художник и жизнь» любит размах. Но в его монументальных фразах отсутствует логическая монолитность. Они цемментируются не внутренней взаимобусловленностью речи, а насилием руки, их написавшей. Вучетич утверждает: «При работе над монументальным произведением скульптор стремится создать художественно совершенный, жизненно правдивый образ. Изображая человека, героя наших дней, или того, чье имя запечатлено в истории, скульптор должен очень бережно относиться к его индивидуальным особенностям, показать

его как можно более похожим» (разрядка моя. — И. К.).

С одной стороны, известный ватель порицает фиксаторов явлений и фактов, называя их плохими фотографами, с другой — призывает очень бережно относиться к индивидуальным особенностям человека, суммируя все это в кредо: показать как можно более похожим... Но в чем похожим — в духовном порыве, житейской простоте, на грани пробуждения прозы в поэзию? И на этот вопрос Вучетич, в сущности, не отвечает, ограничиваясь приведением на страницах книги фотографий прототипов скульптурных бюстов и самих скульптур. Да, узнать можно. Но зачем же преждевременно хулить фотографов?..

МУДРОЕ СЕРДЦЕ ИСКУССТВА

О гюст Роден в своем завещании молодым скульпторам, всем тем, кто когда-нибудь притронется к глине или мрамору, писал: «Не теряйте времени на завязывание светских или политических связей. Вы знаете, что многие из ваших собратьев путем интриг достигают славы и богатства: но это не истинные художники. Однако некоторые из них очень умны, и если вы вздумаете бороться с ними в их сфере, то, как и они, вы потратите на это массу времени, иными словами, всю вашу жизнь; у вас не останется ни одной свободной минуты на то, чтобы стать художником».

Это хорошо понимал Владимир Фаворский. Я представляю покойного художника таким, каким его изобразил на своей известной гравюре Илларион Голицын. На столе среди взвихренных листов бумаги, строгих резцов и уже испещренных врезанными штрихами досок — радиоприемник. Музыка.

Она сопровождала жизнь гравера и рождалась ею. Она и в этой работе — классическая, ясная, насыщенная внутренней страстью.

Отложив резцы, Фаворский пишет. Для учеников... для детей. Что же это — голос из прошлого или вечное эхо? А может быть, современность? Современная суть человечества, пришедшего из прошлого и совершающего переход в будущее...

Художник живет страстью этого великого и мудрого движения. Таким был Владимир Фаворский. В его записях — речь средневекового немецкого прокламатора и слог Пушкина. В его записях — сложно организованный, приведенный в систему и очень живой,

пульсирующий, страстный мир творческого человека.

Книга статей Фаворского еще издается, и я сужу о ней по журнальным публикациям. Гравер говорил своим ученикам о том, что искусство имеет свою систему, как и мир. Очень ответственно заступать во владение того, что было создано человеческим познанием до тебя. Но познание человека не может удовлетвориться достигнутым. Настанет время, когда старая модель мира должна будет уступить место новой. Искусство отличается от науки тем, что художественно-философские открытия художников не стареют. Гравюры Дюрера и Мазереля могут быть помещены в одной экспозиции, как в одном томе могут предстать лирические строки Кагулла, Ли Бо, Пушкина...

Фаворский верил в мудрость искусства. Это отношение к творчеству выражается и в его слове, несущем в себе неожиданное узнавание чего-то весьма закономерного. Мы привыкли листать книги. И не всегда замечаем, что одги тома держатся в руке совсем по-другому, чем, казалось бы, такие же по формату и по объему. Разница — в стиле и мере художественности, в том, насколько художник сумел подчинить все измерения книжного томика законам прекрасного.

«В нашей книге — европейской, — пишет Фаворский, — мы имеем двухстороннюю страницу, правую и левую сторону... А когда мы переворачиваем страницу, то ожидаем увидеть тоже правую, и левая страница оказывается для нас несколько неожиданной, мы на нее оглядываемся. Поэтому все титулы, списки, заставки ставятся на правой странице — они ведут нас в глубь книги; а большая картинка на правой странице будет мешать нашему движению в книгу, она поведет в глубину своего пространства... Поэтому мне кажется, что страничные иллюстрации нужно помещать на левой стороне. Как бы оглянувшись назад, мы можем сосредоточиться, рассматривать изображение, и это не будет мешать нашему движению в книгу».

Когда-то Фаворский говорил, что в пространственной характеристике иллюстраций должно присутст-

вовать внутреннее дыхание стилиста писателя. Некоторым это представлялось бессмысленным, чем-то обособленным от задач художника книги.

Но прислушаемся к словам самого гравера: «Я иногда в мыслях думаю об оформлении какой-нибудь вещи, которую в действительности я не оформлял, и иногда затрудняюсь, как иллюстрировать произведение...»

Я не знал, например, как иллюстрировать «Сказку о рыбке и рыбке». Мне казалось, что монументальное, спокойное течение всей сказки, которую я очень люблю, не выражалось в суете со старухой — то она дворянка, то царица, — и иллюстрировать это было неприятно.

Я понял тогда значение происшествий, когда увидел, что позади всего, как основа, видится море, тихое и бурное, и это поставило все на свое место, и сказка приобрела свое монументальное течение».

Художник нашел не просто фон, а меру событий, удивительный образ реакции возвышенности и вечности на низменную суету. И как же это бесконечно далеко от примитивного иллюстрирования, когда видимый сюжет книги настолько сходен с рисунком, что создается впечатление ненужного зеркала.

Раздумья о жизни, о призвании художника, о миссии искусства... Заботы художника... Сергей Тимофеевич Коненков так и озаглавил свою книгу — «Наши заботы». В ней автор вспоминает свою юность, учителей, работу... Перед читателем проходит вереница лиц. Миллионерша, спесиво «закупающая» искусство и до смешного возмущающаяся, когда мастер отказывает ей в этом. Работница с текстильного комбината, назвавшая скульптора понравившимся ему словом «лепило».

А вот «жрец искусства». Он не виден, но работа его заметна. По чьей-то воле работы скульптора были задвинуты в самые темные музейные углы. Коненков делится с читателем своими переживаниями.

«— За что скульптуры в такой немилости?..»

— Стыдятся, Сергей Тимофеевич.

— Чего стыдятся?

— Зрители скульптур обнаженных стыдятся.

Вот так оказия! Стыдятся люди красоты!.. Так что же выходит: специально для Смоленска должен я обрывать свои модели в посконные рубахи и холщовые штаны? И тогда будут выдвинуты мои скульптуры на светлое место?!

И хотя много времени прошло со дня этой музейной истории, Коненков стремится постигнуть ее моральный смысл: «Я все не могу забыть суетливого равнодушия, сквозившего в каждом жесте, в каждом слове смоленского почитателя искусств! В этом равнодушии — одна из серьезнейших бед жизни искусства. Да только ли искусства! Сказано: служенье муз не терпит суеты».

Старый художник щедро и всыскательно к себе делится опытом с читателем всех возрастов, но особенно с молодежью. В «Слове к молодым» он поясняет закономерность этой особенности, говоря: «Нам нужны высокоразвитые молодые люди, которые не пренебрегают всем тем, что гармонически обогащает человека, и всегда стремятся знать неизмеримо больше того, что уже постигли».

...Художник взялся за перо. И это понятно: люди ищут взаимопонимания. Только по-разному. «Человек средний, — писал А. В. Луначарский, — когда ему больно, стонет или кричит, а гениальный человек, когда ему больно, поет».

Песня — искусство. А в нем предстает мир одаренной, красивой и чистой личности, разумеется, во всем противоречивом кипении этих понятий. Будь иначе, гармония распадется, человек «средний» встанет перед зеркалом.

В жизни, направленной субъективным усилием человека, эти зеркала иногда приобретают кривизну. Из них строятся мифические королевства. Но оптический обман побеждается рассудком и сердцем, знанием и чувством.

Эталон нашего духа — его бодрствование, сомнение, здоровье, объединенные единой сущностью, неотрывные друг от друга. «Сон разума порождает чудовищ», — написал на одном из своих офортов Гойя. Фивы еще не спасены. Фивам нужны Эдипы.



История



Нормального мальчика

1

Сижу на выпускном вечере восьмиклассников в интернате. Играет аккордеонист, на длинных праздничных столах снедь и лимонад (вино не положено, опасно, как взрывчатка), девочки танцуют с девчонками, мальчики иронически поглядывают, посмеиваются. Изредка кто-то смущенно и важно встанет, подойдет, пригласит; учителя сидят в углу, улыбаются, не теряя бдительности; звучит sentimentalный вальс: «Давно, друзья веселые, простились мы со школою» — словом, все мило, празднично, чуть неестественно, как на всех выпускных вечерах, и я сижу, смотрю с интересом, будто я и приехал сюда специально на этот выпускной вечер.

Но приехал я, к несчастью, совсем не за тем. Приехал потому, что незадолго до выпускного вечера учащийся этого интерната, пятнадцатилетний мальчик Володя Дроженин ударом ножа убил человека.

И вот теперь я каждый день хожу в интернат, разговариваю с учителями, с учащимися, с людьми, так или иначе соприкоснувшимися со страшной этой историей. Хочу размотать весь этот клубок — не поступков, не обстоятельств, — клубок мыслей, настроений, состояний, клубок нравственный, психологический, человеческий, точнее же сказать — бесчеловечный.

Дело это не типическое. Об этом говорили мне в управлении охраны общественного порядка. Это я и сам понимал, потому что мотивом преступления были не деньги, не нажива, сюжетом — не обыкновенное хулиганское столкновение по пьянке в парке — мотивом была ревность и любовь.

Впрочем, попробуем разобраться: что же это за ревность и что это за любовь?

Хочу рассказать эту историю в том виде, в каком она пришла ко мне, в каком я брел по ее следам, нелепым, горестным и противоречивым, что-то вроде бы понимая и в итоге убеждаясь, что единственный смысл готовых решений в том, что мы их в конце концов отбрасываем.

В редакцию пришло письмо, написанное учительницей того класса, в котором учился Володя Дроженин, убивший Васю Антонова. Письмо было длинное, подробное, с вопросами и рассуждениями, но все это не читалось, читалось только: мой воспитанник пятнадцатилетний В. Дроженин зарезал восемнадцатилетнего В. Антонова.

Потом я перечитал письмо еще и еще, там сообщалось о некоей девушке (назовем ее Зоей), в которую Володя Дроженин был влюблен и которая пошла в кино с другим, и Володя был на этом сеансе, и после сеанса догнал ее и этого парня, и ударил парня ножом. Затем в письме были общие рассуждения о том, что у нас плохо поставлено половое воспитание, и о тех несправедливостях, что были допущены после этого случая по отношению к учителям интерната. Письмо мне, честно говоря, не понравилось. Мне показалось оно слишком спокойным и обиженным, и это спокойствие, смешанное с обидой, было непропорционально простому, бесповоротному факту человеческой гибели.

Я ехал с предубеждением... Я думал о том, что равнодушные учителя порождают равнодушных учеников. Что равнодушие подчас идентично жестокости. А жестокость долго не раздумывает, она наносит удар.

Я пришел в общежитие интернатских учителей, где жила учительница Лилия Евстифеева. Ее я не застал. В комнате стояли чемоданы, лежали платья, пахло сборами, нафталином, отъездом.

— Она уезжает завтра вечером, — сказали мне.

— Куда?

— Кажется, в Москву, а затем в Саранск.

— Надолго?

— Кажется, навсегда.

Предубеждение росло, как снежный ком. Еще немного — и оно обрело бы твердые черты уверенности... Ее ученик совершил такое, а она убегает. Уходит, чтобы не портить себе нервы.

В этот же вечер я познакомился с Лилией Евстифе-

своей, следующим вечером я провожал ее в Москву. Провожал ее не я один — учителя, ученики, просто знакомые по городу... Среди них была длинная, нескладная девочка, она стояла чуть поодаль других и плакала.

— Чего ты плачешь? — спросил я.

Она помолчала, помялась, потом, всхлипывая, пряча покрасневшие глаза, пробормотала:

— Самая хорошая учительница уезжает...

И все люди, что провожали эту женщину, прощались с ней с подлинной сердечностью и сожалением. Теперь я уже знал почему.

Потому что Лилия Евстифеева — педагог, может быть, и не очень опытный, но серьезный, честный, преданный своему делу, потому что она просиживала часы внеурочного времени с этими ребятами, потому что она покупала им билеты в кино и доставала для них книги, потому что никакой ее прямой человеческой и педагогической вины в совершившемся нет. А если и есть какая-то педагогическая вина, то восходит она к общей педагогической вине, вернее, беспомощности перед сложнейшими проблемами воспитания пятнадцатилетних, людей самого трудного возраста, называемого переломным.

Во всяком случае, если она и являла какой-то пример своим ученикам, то это был пример бескорыстия, равнодушия и доброты.

2

«А о тебя я жил как бы во сне, не думая, красивый я или нет, хороший или плохой. Да и вообще мало о чем думал в этой части жизни. Я многим увлекался, и у меня не оставалось времени на это.

Сейчас я не могу без тебя. Я хочу, чтоб ты скорее меня поняла, мои интересы и увлечения. Тогда нам будет очень весело».

Это писал Володя Дроженин Зое. По словам людей, его знавших, он не был ни хулиганом, ни человеком с нравственными или психическими отклонениями, ни даже просто грубым, злобным парнем. Был он, по словам этих людей, молчалив, замкнут, самодовольчив, характером мягок, привязчив, в себе не уверен, читал много, без разбору; по статистике, он идет на первом месте по числу прочитанных книг. Увлекался фотографией, в ночь перед убийством печатал до рассвета фотографии Зои.

На девочек начал поглядывать рано и с интересом, с юношеской тоской, со смущением, с ожиданием... Драться был не мастер, его нередко били, впрочем, в последнее время он стал резче, стал давать отпор, стал тоже тяготеть к тому идеалу, который ему в прошлом и не светил, который его мало прежде вдохновлял, — к идеалу решительного, железного мужчины. Я был у него дома, видел его фотографии, рисунки, не лишённые наблюдательности и фантазии. Мальчик как мальчик. Вполне нормальный мальчик. Не хуже других. Лучше многих. Учителя мучительно вспоминают каждую его фразу, каждый поступок, каждое движение, вспоминают под тягостным впечатлением преступления, освещают эти поступки и движения трагическим светом случившегося и ничего не могут вспомнить не только плохого, но даже и странного. Весь краткий сюжет его жизни накануне преступления ясен, ординарен и не внушает опасений.

Но нормального мальчика нет. Потому что нормальные мальчики из-за того, что их девушка пошла с парнем в кино, будут страдать, может быть, даже плакать от первой обиды и несправедливости,

может быть, они станут писать печальные, упаднические стихи; они могут, на худой конец, даже подраться с тем, кто пошел с его девушкой в кино, хотя этим ничего не докажешь да и девочку не вернешь.

Нормальные мальчики не бьют отточенным, как бритва, ножом в грудь. Нормальные мальчики не убивают.

Значит, ненормальный мальчик? Или ненормальное чувство? Может быть, дикая, ослепляющая страсть на грани помешательства, страсть уже не из области поэзии, а из области патологии...

Володя познакомился с ней на пляже прошлым летом во время каникул. Ей было четырнадцать лет. Ему тоже. Что-то пленило его в Зое, кто знает, что. Пути здесь воистину неисповедимы. Во всяком случае, он стал искать встреч с ней, а потом они стали «ходить» вместе.

Сейчас бытует среди подростков такое выражение: «ходить». Это значит: встречаться, гулять, прохаживаться по центральной улице, идти в парк на танцы. Я не раз слышал: «Валя сейчас «ходит» с Костей. А раньше «ходила» с Сережей». Или: «С кем ты «ходишь»?». В этом есть что-то бытовое, принижающее отношения, кудее, но это существует...

Итак, они «ходили» друг с другом.

Ему, видно, нравилось с ней «ходить». Он готов был ходить каждый вечер, каждый день, ходить и сидеть с ней на скамейках, и печатать ее фотографии, и провожать ее домой. Когда он уехал в лагерь на каникулы летом, он скучал, даже тосковал по Зое. В некоторых его письмах сквозит настоящая острая тоска — тоска любви. «Как скучно без тебя. Как ты уехала, я все время думал о тебе. Вспоминал твою улыбку и лицо. Перебрал в памяти все наши встречи и вспомнил нашу первую встречу. Видишь ли, Зоя, человек — это сложное существо. Его надо понять и узнать. Для этого нужно очень много времени. Я тебя знаю мало, но очень много о тебе думаю и мечтаю».

Действительно, знал он ее мало. Когда он приехал из лагеря старшеклассников, она встретила его холодно, сказала ему, что он ей не интересен, что он, в сущности, девчонка, а не парень, кисель, слюняк, ей такие не нравятся. Володя расплакался, ушел, возненавидел себя и стал «тренироваться» на мужчину. Начал курить, выпивать... Он появлялся теперь в закоулках маленьких деревянных «частных» домов: в Магнитогорске есть такие приземистые, горбатые улочки, дома там с палисадниками, на окнах тяжелые ставни, заборы там высокие, добротные, с тяжелыми и громкими засовами. Около этих домов, вернее, между ними, свои закоулки, закутки, там темно, сидят парни, курят, лущат семечки, рассказывают истории, доблестные, с уголовным оттенком. В этих компаниях всегда есть свой заводила, «душа общества» — эдакий сплевывающий, небрежный, блатноватый, с фиксой на зубах, в мятых узеньких брючках, как бы очень взрослый, нагловатый, самовлюбленный. В этих закутках все начинается с легкой выпивки, потом идут «прошвырнуться», потом встречаются кого-то из чужого клана, какого-нибудь «Косого» или «Леху», начинается блатная, изощренная «толковнища», выяснение отношений с игрой в «джентльменство», в товарищество, в некую кастовость («Мы с такого района, вы — с такого, у нас свой порядок, свои нравы, у вас — другие»). Это есть почти во всех городах.

В этом мирке словно вечный, безлунный вечер, тьма города, его тень. Кажется, и солнце сюда не доходит, так же как не доходят хорошие стихи, песни, так же как не доходит свет нормального, действительно-

го, живого мира. За парнями и девушками этого мира следят детские комиссии и милицмейские отделения, их увещевают и убеждают, если что-то случилось, сажают, а вечерами они снова сходятся (те, кто остался) и «по нозой» вершат свою страстную, неюношескую, затхлую жизнь. Я бы сравнил эти переулочки с полуподвалами города. Это своего рода город в городе, затхлый и призрачный городок «Полуподвалня».

Володя Дроженин стал чаще появляться в этих местах, хотя органической потребности в таких компаниях у него не было. Он искусственно «мужал». Он хотел пройти свои «университеты». Но в этом клане он был все же случайным человеком... У него были другие интересы, и жизнь его была не здесь. Учился он неплохо, читал Майн-Рида и Войнич, рисовал в узких альбомах белые океанские пароходы, скучал о Зое.

Весной 1965 года, после экзаменов, возмужавший и сильный, человек уже как бы нового качества и новой психологии, походкой героя «Великолепной семерки» он подошел к Зое и решительно сказал, что хочет «ходить» с ней снова. Она поколебалась и согласилась. Начался новый этап, но уже через вечер Зоя обнаружила, что едва только они остаются вдвоем, как Володя перестает быть сильным мужчиной, смущается, мямлит, говорит что-то не то. Нет, на сильного мужчину он все-таки не тянул. И Зоя параллельно стала похаживать с другим. Он не знал, как теперь быть. Что-то объяснить ей, повзрослеть всерьез, обрести дар убеждения и мольбы — этого он не то чтобы не умел, не пробовал, не думал об этом, это было не принято в том полуподвальном царстве... Был принят мужской разговор, разговор с позиции силы. И по законам мужского разговора он заявил ей, что если она будет ходить со всякими, то он ее прирежет... Ей это польстило, но не испугало. Такие обещания она уже слышала, если и не обращенные к ней, то к ее знакомым, подругам постарше. Ей не нравился Володя, но она встречалась с ним. Зачем? Она и сама не знает. Она лгала Володе. Лгала не из сострадания к его любви и слабости, а просто так, механически, по привычке... Она знала: чем больше будешь лгать, тем легче выкрутиться. Так ей казалось.

Ей не нравился и тот, второй...

В школе твердили: «духовный облик», «идеалы», «интеллект»... У ее отца, смертельно избивавшего мать, был «духовный облик». У ее отца, который сидел в тюрьме, был «духовный облик». Правда, были люди, которые жили иначе. Но их духовного облика она не знала.

Ей нравились спокойные и уверенные в себе парни, которые понимали подход к девушке, знали веселые анекдоты, а в драке не суетились, не махали попугасту руками, а били точно и наверняка.

Гибель Вальки Антонова испугала, но не потрясла ее. Через несколько дней после его смерти она встречала какой-то праздник в компании взрослых, подвыпивших ребят. Под утро мать почти силой увела ее.

Но вернемся к истории ее отношений с Володей Дрожениным.

Однажды он назначил ей свидание, хотел пригласить в кино на «Бродягу», и она согласилась. Но на условленное место не пришла. Он встретил ее по дороге в кино, спросил:

— Почему не пришла?

— Да так.

— В кино пойдешь?

— Пойду. С подружкой.

Он расстроился, чуть опоздал на сеанс и увидел

ее с «подругой». «Подругой» был парень года на три-четыре старше Зои и Володи. Володя пытался смотреть фильм. Бродяга ходил, улыбался, воровал, а он смотрел не на бродягу, а на них. Они сидели впереди на ряд. Минут через двадцать, измаявшись и устав, он вскочил, выбежал из душного кинотеатра, прибежал домой, взял нож — столовый, заточенный доостра, полагавшийся в полуподвале каждому мужчине. Затем он занял у соседки трешник, купил пол-литра водки и выпил половину. Его развезло. Много это было для него. Потом зашел в магазин, выпил стакан сухого вина. А фильм все шел. Две серии — тут что угодно можно успеть... Вернулся он к концу фильма. Снова смотрел на них, растравливал себя, взбадривал, озлоблял...

«Мсть, — говорил он себе. — Мсть, мсть. Настоящая мсть. Мсть мужчины».

Они вышли из кино. Он — за ними. Зоя его увидела, чуть занервничала (вообще-то она на редкость спокойна, даже флегматична) сказала спутнику: «За нами идет тут один». Спутник сказал: «Ну и пусть... Как пошел, так и отвалится».

Володя в несколько шагов догнал их. Нож уже держал в руке. Развернул на себя парня, тот не успел даже слова сказать, не среагировал. Володя ударил его один раз. Сверху. Точно. Нож вошел странно, как-то нечеловечески легко, как в масло. Володя мгновенно отрезвел и похолодел. Парень еще шел несколько шагов, потом, ничего не сказав, пополз вниз и сел на землю, свесив голову. Володя постоял, поглядел на него, еще ничего не понимая, потом увидел странно блеснувший белый подбородок, вяло опущенные руки, обвисшие пальцы. Тогда он рванулся с места и побежал. Хотел на поезд, в другой город, в другой мир, во что-то другое, где ничего этого не случилось. Он еще не знал точно исхода.

Но иного города не было. Было только то, что случилось, только это. Теперь это стало реальностью. Уже и опьянение прошло, и игра, и мсть. Уже приходила реальность, реальность совершенного и реальности предстоящей расплаты. Он побегал домой, забрался на чердак, спрятал там нож. Потом, задохнувшись, выскочил на улицу и снова побегал, точно еще не зная куда. Он останавливался, блевал в подворотнях от водки, от гнусной, ломающей его тоски, от никогда не испытанного им произзительно-го, опустошающего страха. Блевал, как сосунок, как шкодливый мальчишка.

Но в том-то и дело, что он уже не был ни сосуном, ни шкодливим мальчишкой. Нормальный мальчик Володя Дроженин уже не существовал. Теперь он вступил в новое качество — он был у б и й ц а.

3

В поезд он не сел, до другого города не добрался, просто пришел домой, где его уже ждали. Зоя показала на него. Его спросили, где нож, он задумался, повел головой, сонно полукрыв глаза, после секундной паузы полез на чердак вместе с людьми, которые пришли за ним. На следствии говорил все, как было, не отрицался, смотрел вялыми, постаревшими глазами. Дали ему восемь лет.

Я был у него в тюрьме, долго разговаривал с ним. Я знал: нормального мальчика нет, как не было и до того дня патологического мальчика, беззастенчивого, обещавшего такую смертельную подлость. Не было и безумного патологического чувства. Была, казалось бы, нормальная первая любовь, со всеми ее атрибутами, со всеми ее огорчениями, обращенная, по всей вероятности, не к той, к которой надо. Но

здесь ведь не бывает выбора, пути здесь непонятны, подчас темны. Так что же все-таки было?

Вот он сидит передо мной, говорит. Слушаю его. Пытаюсь что-то понять. Глаза темные, посажены глубоко, лицо маленькое, ссохшееся, как грушка. Иногда разговаривает внятно, иногда давленно, неясно. Чувствую: страдает, находится на пределе отчаяния и одиночества. Но из-за чего? И вот тут-то я начинаю нащупывать главное.

Страдает он из-за чудовищно непривычного для себя положения, из-за страха перед будущим, оттого, что нить привычной, естественной его жизни навсегда разорвана... И кроме того, потому что он убил человека. Да, он жалеет, он вспоминает с ужасом, он говорит: «За что я его?.. За что же я его?» Но это не стало главным, трагическим контрапунктом всей его нынешней жизни. И я начинаю понимать: он просто еще не ощутил всей необратимости случившегося. Он не вырос даже до того, чтобы нести не уголовную, не эмоционально-преходящую, временную, а подлинную, огромную, на всю жизнь нравственную вину и ответственность за случившееся. Он трагически безответствен. В нем не воспитано понимания ценности человеческой жизни. Не хулиган и не уголовник, пусть даже в минуту опьянения и обиды, он, почти не задумываясь, преодолел барьер, который не под силу преодолеть другому человеку, наделенному настоящей ненавистью, тоской и непримиримостью, даже справедливой.

Нормальный мальчик... Оступился... В первый раз... Действительно, оступился. Но как? Взял и отнял у человека жизнь, у восемнадцатилетнего, не ожидавшего смертельного удара. В пьяной, шальной голове могло родиться такое решение. Пусть оно плод возбуждения, ярости, недомыслия — оно родилось. Вот в чем социальная опасность безответственности.

Не попади Дроженин на скамью подсудимых, он бы и не задумался даже над мерой своей ответственности за отнятую жизнь, над мерой ответственности, даже и на сотую долю не осмысленную им. Здесь не столько преступное злоумыслие, сколько преступное недомыслие. Какой-то воинствующий, опасный инфантилизм. Это не так просто распознать, и с этим не так легко бороться. Человек ведь не так мало может — и в добрую и в страшную сторону.

Возможно, об этом не говорила Дроженину хорошая учительница Лилия Евстифеева. Она говорила о стихах, о прозе, о искусстве, ходила с учениками в кино, спрашивала, как дела дома. Была добросовестна, заинтересована в них, честна. Они ее любили и любят. Вот и сейчас Володя Дроженин говорит: «Она была самая лучшая учительница... Привет ей»... Но и сама не понимала, что так бывает, так бывает не только в кино или в книгах, а и в жизни. Кто-то расскажет, не поверишь, не задумаешься, а в учебниках об этом вообще ничего. Сейчас она думает об этом, она говорила мне:

— У нас в школе как-то отодвинуту гуманитарное начало, не в смысле того, что мало часов на литературу (хотя и здесь нас, гуманитарников, ужимают), а в более широком, человеческом. Некоторые говорят: без Лермонтова можно жить, а без технических навыков нельзя. И мы немножко отодвигаем Лермонтова, и занимаемся «техническими навыками», и не замечаем, что забыли о других навыках — человеческих. Мало говорим о жизни, а если и говорим, то плоско, стандартно: будь хорошим, учись на «отлично», подавай пример... И в характеристиках ни од-

ного живого и конкретного слова о человеке, о его особенностях, нраве, характере, а ведь само-то название — характеристика! А пишут вот как: хороший товарищ, аккуратен, исполнительен, услужлив со старшими. И все хорошие товарищи, и почти все важливы со старшими. И ни слова о том, какой же это человек. Своенравен ли, мягок ли, уверен ли в себе или застенчивый. А если хороший товарищ завтра зарежет человека, все поразятся: «А мы ведь не знали, нам он казался другим». Я никогда не забуду, как мы в школе проходили такую науку — психологию. Мы еще называли презрительно ее «психоложество». И действительно, это было чистой воды психоложество, что-то абстрактное, необязательное, устаревшее, не имеющее ни к нам, ни к людям вообще отношения. Там только говорилось на каждом шагу: «Наш советский человек принципиален, отзывчив, на работе и дома показывает пример...» Как в этих характеристиках. Но это ведь давно было, в пятидесятые годы — время не самого пристального внимания к этой самой психологии человека... Сейчас мы больше и внимательнее стараемся думать о человеке, о комплексе разнообразных его чувств, о его возможностях и невозможностях, о его психологии. Но внимание-то более осязано в литературе, чем в педагогике. В педагогике всерьез, по-настоящему нет такого предмета, если можно назвать предметом человеческое существо, нет такого предмета — психология. Говорят о Фрейде, ругают Фрейда, а мы его не читали, может быть, он ошибался — мы не знаем. Нам надоели общие слова, это мы и сами умеем, только надоело, ужасно надоело...

Об этом говорила учительница Володи Дроженина. Она казалась думающим человеком, и она много страдала оттого, что произошло. А мыслящие люди, когда страдают, становятся глубже, старше и печальнее.

Ей дали выговор. Не знаю, за что. По-моему, все это слишком серьезно, чтобы отделяться выговорами. Это ведь для самоуспокоения, и выговоры здесь так же формальны, как характеристики. Случилось — неси ответственность. Ответственности!

И вновь она думает об ответственности, но о другой — о моральной ответственности каждого, даже, казалось бы, случайного человеческого шага.

— Буду еще много думать об этом, — говорила мне учительница. — Не потому уезжаю отсюда, что сдаю, просто тяжело, да и мать у меня в Саранске... Буду теперь смотреть на каждого своего нового ученика и думать: «Кто ты? Кто ты? Двоечник, троечник, четверочник, — кто ты есть на самом деле, чего ты хочешь, что любишь, что тебя гложет? Кто ты есть, нормальный мальчик или нормальная девочка восьмого или девятого класса? Ты умеешь решать задачи, Пушкина знаешь наизусть, помнишь кос-что из истории средних веков, а понимаешь ли ты простую ответственность человека, живущего на земле? И не только за весь наш мир, как об этом часто и хорошо пишут очеркисты, — это тоже важно и необходимо, — за весь мир. Но еще важнее, хотя и скромнее, и с этого все начинается: ответственность за себя».

Она помолчала, посмотрела на меня, усмехнулась грустно.

— Не сердитесь, поймите правильно. Я знаю, Дроженину нет оправдания. До сих пор в голове это у меня не укладывается... Никак не укладывается. Ведь такой был неплохой, в общем, даже добрый, нормальный мальчик...

—



● Владислав Ширьев

ЛЕТОПИСЬ „НЕУНЫВАК“

Фото Ю. Ардашева.

«Если ты не трус, если на тебя можно положиться в трудную минуту, приходи 20 марта в 7.30 вечера в горком комсомола. Есть дело, которое могут исполнить только волевые, настоящие парни. О письме никому ни слова».

— Кого же вы набираете? Это же отбросы, хулиганье!

(Реплика у горкома комсомола.)

В половине седьмого в вестибюле сидят трое и недовверчиво смотрят на нас. Молчат.

Входит Василь.

— Посмотри, что на улице творится!

У парадного на противоположной стороне улицы бродят косяками ватаги «королей», вдруг ставших кроткими и нерешительными перед вывеской «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Липецкий городской комитет».

— Эй, парни, чего мерзнете? — бросаю им.

В вестибюль входят еще пятеро. Эти ведут себя куда свободнее, чем первые. Еще через некоторое время набирается человек двадцать пять. В вестибюле чуть сдержанный шумок. Семь часов. Вваливается еще десяток. Стекла дрожат от шума. Кто-то грызет семечки. В углу закрутился дымок папирсы. Семь пятнадцать. Орава закуролесила. Носятся, как угорелые. Курят напрапалую.

Ровно в семь тридцать в актовом зале около сотни мальчишек подозрительно глядят на громадную карту, приколотую кнопками к трибуне. Голос мой «сел» от волнения, потому, наверное, звучит внушительнее, чем обычно.

— Дата двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года вам известна. В этот день...

Я немножко помню войну. Из десяти моих близких родственников, принимавших в ней участие, домой вернулись только трое. Помню пустынные деревенские

улицы, помню тревожные глаза женщин при появлении почтальонов и стук деревянной ноги соседа о дорогу. Говорю о людях, чьим мужеством крепилась наша победа, о подвигах, подробности которых открываются даже теперь, через двадцать лет после окончания войны.

Показываю оранжевую черту на карте нашей области. Это бывшая линия фронта. Слева от нее — оккупированная гитлеровцами территория. Там, в фашистской неволе, оставались наши советские люди. Как жили они, как боролись — об этом известно еще очень мало...

— Поэтому мы решили в начале лета направить в эти места для сбора материалов об истории войны экспедиционный отряд...

(Из личного дневника.)

«Назначить штаб экспедиционного клуба подростков в следующем составе: О. Соколова, А. Ширьева — студентки педагогического института; Г. Шмакова — аппа-

ратчица — кислородной станции; В. Акулов — слесарь тракторного завода; В. Шевелев — студент строительного техникума; командир — В. Ширяев, заведующий отделом учащейся молодежи газеты «Ленинец»; комиссар — В. Савельев, инженер тракторного завода.

Секретарь горкома комсомола В. СОСНОВСКИЙ».

«Нас девять взрослых. Мы идем по чуть подтаявшему снегу между высоченных сосен. За нами «хвост» мальчишек. Им нелегко, но они идут.

— Напрасно закуливаешь, — предупреждаю Шурку Томилина.

— Ничего не случится.

— Посмотрим...

И снова марш. Сто шагов в минуту. Километров через пять привал.

— Построиться!

Проверяю, как у кого работает сердце. У Ивана Буракова сердце стучит спокойно, ровно. Шурка Томилин чуть дышит, сердце его будто у меня в кулаке, и вот-вот развалится на кусочки.

роху сушняка — подходим мы с Шуркой. Костер запылал с первой спички.

А в это время Мишук пытается определить высоту дерева с помощью теоремы о подобии треугольников, но тщетно: в математике он слаб...

После первой встречи в горкоме даже странно немного, что ребята пытаются разбираться в разных там теориях. Еще удивительнее такой разговор:

— Я в экспедиции дневник вести не сумею. Двойка у меня по русскому...

— Что же раньше молчал? Какой же толк из тебя в экспедиции, если ты ни географии не знаешь, ни математики, ни русского? Туристу без этого шагу ступить нельзя...

На лбу у Мишуки обозначились от огорчения две морщинки, часто-часто заморгал вдруг Серега Медведев, опустил голову Шурка.

Выход мы, конечно, нашли. С теми, кто не сможет выправить положение сам, будут заниматься наши девушки из пединститута.

рано или поздно его возвращали домой. А тут езжай, иди хоть на край света, и ничего с тобой не случится, потому что рядом товарищи.

Я помню, как меня увлекло после первого же похода, как увлекло других. Сходишь в поход однажды — потом за уши не оттащишь от туризма. Именно на это мы и делали ставку, ведя ребят в экспедицию. Ну а пока будем ходить в тренировочные походы, учиться разводить костры, ориентироваться, правильно дышать при ходьбе. А главное — отрубить «хвосты» по геометрии и русскому языку. Нужно, чтоб все у нас было, как у настоящих туристов».

(Из личного дневника.)

— Алло, редакция! Мне сказали, что вы набираете для экспедиции отряд из трудновоспитуемых ребят...

— Да, это верно.

— У меня в школе есть несколько кандидатур, очень подходящих для этого...

— К сожалению, Иван Иванович, ничем помочь не можем. Отряд укомплектован...

— Помилуйте! Да ведь это такие хлопцы! У одного четыре квартирных кражи. Другой — голубятник. Третий — всю улицу в страхе держит...

— Ну-у, таких красавцев нельзя не взять...

— Завтра к месту вашего сбора сам приведу...

(Телефонный разговор.)



Это дерево мы посадили в Брестской крепости. Под него высыпали землю, привезенную с могилы советских солдат из села Ломингоры, Вововского района, где им поставлен временный обелиск.

— Попробуйте, — предлагаю пацанам. — Это цена одной папиросы.

Мальчишки, как диагностики, выслушивают ладонями «цену одной папиросы» и качают головами. Шурка мнет папиросу.

Теперь Томилин пробует развести костер. Даю возможность «опозориться» и Мишук Лаврину и другим ребятам. Потом к во-

Едим, обжигая пальцы, печеную картошку, рассказываю о походах, в которых принимал участие, о ребятах-туристах, о нашей туристской дружбе.

Шурка смотрит на меня, будто впервые встретил. Он много видел за свои короткие четырнадцать лет: восемнадцать побегов из дому... Но путешествовать в одиночку трудно и опасно, к тому же

«1. Наша цель: изучать родной край, его историю, природу. Делом доказывать любовь к нему.

2. Членом экспедиционного клуба может быть всякий, для кого самый главный закон в жизни — закон дружбы, кто постоянно воспитывает в себе волю, выдержку, характер, на кого можно положиться в любом трудном деле, ребята сильные, смелые, находчивые, честные, трудолюбивые.

3. Клуб имеет свою эмблему (эдельвейс — международный символ туристов — на фоне красной звезды с расходящимися лучами); флаг (голубое полотнище с эмблемой клуба); песню. В клубе ведется летопись. Члены клуба имеют единую форму.

4. Требования к каждому:

а) уметь быть ответственным за все, что делаешь сам и что делаешь товарищ;

б) в отношениях друг с другом — откровенность, требовательность, забота, доброта, честность;

в) поручили—значит, доверили; взялся—сделай, не будь трепачом;

г) не отступать от намеченного ни при каких обстоятельствах: мы живем, чтобы побеждать».

(Из устава клуба «Неунываки», принято на общем собрании на Западном озере 1 мая 1965 г.)

«После завтрака — военизированная игра. «Северяне» прячут в лесу ракетницу, «южане» — кобур от нее. Нужно найти эти места и «уничтожить живую силу противника» — сорвать с рукавов повязки. Мне, судье игры, завидно видеть, как Славка Байрачный, в мгновение ока превратившийся в проводника «северян», увел свой отряд в лесную чащу, как комиссар, азартно размахивая руками, предлагал «южанам» какой-то план. Зависть беспощадно снедала меня, когда один из «убитых», вернувшийся в лагерь, рассказал, как «медвежонок» — Ольга проползла четыре километра по сырой земле, чтобы разыскать штаб «северян», и была «убита» в двух метрах от него.

Честное слово, нам самим — это в двадцать, а то и больше лет! — понравилось играть в «войну», вахтить по кухне, получать «ответственные задания» от вахтенного командира...

Чтобы нас не считали «руководителями», мы решили «раствориться» в делах, заботах и настроениях наших мальчишек. А чтобы все-таки идти впереди и чтобы за нами шли, мы будем тащить самые тяжелые рюкзаки, строиться — на зависть пацанам — быстрее всех на линейку, брать себе самую трудную вахту, петь самые веселые песни. Мне кажется, эта ставка надежная...

(Из личного дневника.)

«Здесь 1 и 2 мая 1965 года жили туристы — «Неунываки». Вы о нас еще услышите!»

(Текст записки, вложенной в ружейную гильзу, которую мы закопали под самым высоким дубом на Западном озере.)

— Ну как, Юрка? Отчего грустный? Жалеешь, что праздник за городом встретил?

— Не, что ты! Раньше что было? Ну, пойдешь в Дикое... Ну, напьешься... Ну, драку устроишь. Вот и все. А тут...

«И вдруг все вдребезги разлетелось. Утром в день отправления

мальчишки явились к месту сбора «вооруженные». Неведомо откуда взятые на ремнях висели зачехленные тесаки.

Кое-кто из родителей, пришедших проводить нас, беспокоился. Отзывают меня в сторону.

— Отберите ножи — наделают беды, — требует один из папаш.

— Нож в походе — вещь необходимая: палку срезать, окопать палатку от дождя, — успокаиваю их.



В зенитном снаряде — земля из Бреста. Ее мы передали рабочим тракторного завода, которые будут служить в Кантемировской дивизии.

Не хотелось начинать экспедицию с какого бы то ни было насилия. В душе же понимал, что родители правы. Мальчишки, прежде бросившие курить, беззастенчиво держали в зубах сигареты, лихо, как мексиканские сомбреро, заломив зюйдвестки.

Автобус выехал из города. Через каждые десять минут приходилось приказывать закрыть окна на левой стороне, но все равно кто-нибудь спустя некоторое время открывал их снова. Свободно почувствовали себя и любители карт.

Я верю в силу, заключенную в песне. Достая баян, растягиваю меха. Галка запекает:

Рисует узоры мороз на оконном стекле...

Это ее любимая песня. Мальчишки подпевают жиденько и неохотно. С переднего сиденья донеслось чуть слышное, потом все более громкое:

Была бы шляпа,
Пальто из драпа —
Все остальное
Трын-трава...

Последовала вторая песня, третья... И мы... стали петь вместе с ребятами «такие» песни. Мальчишки удивились. А мы, не дав им опомниться, запели коганаовскую «Бригантину». Потом последовал пяток «таких» песен. И снова «наша» — «Глобус». Поединок песен длился до самых Тербунов.

Через Тербуны мы проезжали с дружным:

Главное, ребята, сердцем
не стареть...

А вечер был трудным. Лесок, в котором остановились, начинается от околицы Тербунов. Кое-кто норовил улизнуть в сельский клуб. Пришли деревенские ребята, принесли заржавленное противотанковое ружье. И наши готовы были всем лагерем идти в село искать по домам уцелевшие с войны каски, испорченное оружие. Спать в палатки загонял мальчишек чуть ли не по одному: завтра начинается 350-километровый марш по местам боев, и нужно беречь силы».

(Из личного дневника.)

«Этот разговор был неизбежен. Мы волей-неволей вынуждены были спуститься с розового облачка восторгов, на каком плыли до

сих пор, на землю. Попробуй улыбаться, когда увидишь избитого в кровь мальчишку. Били за «дело»: украл ножичек у товарища. Но ведь можно было разрешить этот конфликт по-другому, а мы по занятости недоглядели...

И еще: до восторгов ли, когда отряд догоняет женщина с полными слез глазами и сообщает:

— Ваши ребята оборвали цветы на могиле моего сына...

Вернулись в село, привели в порядок могилу. Но какой толк от нашей экспедиции, если отряд приходится держать «на вожжах»?

Положение усугублялось еще и тем, что Алла и Ольга должны были догнать нас в Ломигорах (у них экзамен по английскому), Володя Савельева тоже пока не было с нами, потому что у него тяжело заболела мать. У Василия разболелся желудок. «Слоник» (Володя Шевелев, прозванный так за двухметровый рост) вел из Липецка до Тербунов лошадей с повозкой, и его хватало только на то, чтобы суметь пройти дневной маршрут. Коняга попался «с характером» — норовистый, пугливый, поэтому Слоник шел сто двадцать километров, чуть ли не обняв его за шею.

Нелегко было еще и потому, что нам, взрослым, приходилось самим вникать во все мелочи: готовить с новичками пищу, строить палаточный городок, закупать молоко и продукты, «ремонтировать» ноги, на которых появились первые мозоли и ссадины.

На вечерней линейке Владик сказал откровенно:

— Мы не собираемся перевоспитывать вас. Но мы хотим помочь вам, хотим показать, как жили и живут настоящие люди... Хотите — идемте с нами, нет — лучше вернитесь домой...

В этот вечер, в отличие от предыдущих, вахтенная команда распределила без суеты часы вахты. Лагерь после отбоя затих сразу.

Такая встряска ребятам была, может быть, даже нужна. Нужна для того, чтобы повернуть мальчишек лицом к тому, что окружало нас в селах и деревушках, которые во время войны были заняты фашистами. На нее, историю войны, с которой будут знакомиться ребята, мы с самого начала возлагали всю нашу надежду.

(Из вахтенного журнала одной из команд.)

«Седая, сторбленная возрастом женщина напоила нас студенкой водой. Спросили ее: жила ли она в селе во время войны? Она как-

то сразу стала печальная, неприступная и задумчиво проговорила:

— Как же, как же, жила...

В избе Прасковьи Ивановны во время оккупации спрятался старик односельчанин, которого немцы приняли за партизана. Фашисты окружили хату и с криком «Партизан! Партизан!» стали бросать в окна гранаты. Тут же находились дети Прасковьи Ивановны. Прикрыв их собой, она чувствовала, как в нее впились осколки. Истекающая кровью, израненная, как в тумане, видела фашистов, которые ворвались в избу и стали выволакивать детей и ее саму на улицу. Односельчане потом выходили ее, спасли детей.

Но это было не последнее несчастье, которое уготовила ей война. Умер от ран сын. На фронте погиб брат. Муж и второй брат вернулись инвалидами.

В Вышнем-Большом завуч местной восьмилетней школы Николай Яковлевич Подоприжин рассказал нам о случае, который не забудут в этом селе. Фашистское подразделение, изрядно потрепанное партизанами на полустанке Лачино, решило выместить злобу на местном населении. Собрал стариков, мужчин-инвалидов, детей — шестьдесят четыре человека мужского населения, «потенциальных партизан», как объяснил переводчик, — фашисты заперли их в большую избу, облили бензином и подожгли. Лишь двое чудом спаслись. Остальные сгорели заживо.

И так вот почти в каждом селе...

(Из вахтенного журнала 2-й команды. Летописец Володя Ногтев.)

«Здесь живут очень хорошие люди. Хотя война была страшная, люди стали еще добрее и милее».

(Из вахтенного журнала 2-й команды. Летописец Володя Ногтев.)

«Война напоминала о себе на каждом шагу. Часто попадались прямо у обочины дороги или в поле осколки снарядов, стреляные гильзы, пробитые каски.

В надежде найти какие-то документы и собрать образцы оружия для нашего клубного музея Володя Савельев водил ребят на раскопки заваленных окопов и блиндажей. На пятый день экспедиции повозка была полна «трофеев».

В этих поисках для ребят был не просто интерес к стреляющим «штучкам» или каким-то диковинкам военного времени.

В найденной нами немецкой по-

левой сумке мы обнаружили несколько русских трубков и мундштуков.

— Мародер подлый! — взорвался Володя Маркин.

Кто-то извлекает из сумки поржавевший ключ от дверного замка. На ключе немецкий штамп. Видимо, это был ключ от двери квартиры фашиста в Германии, куда он собирался вернуться после «молниеносной войны».

Кто-то из пацанов поменьше надел на голову немецкую каску. Поддетает Валерка Бирюков, срывает каску и кричит:

— Сними сейчас же! Ты же не гад фашистский! Сними!»

(Из вахтенного журнала одной из команд.)

«В Ломигорах в сорок втором году была ставка Гудериана. При освобождении села погибло более тысячи советских солдат. Нам не хотелось уйти отсюда просто так...»

(Из вахтенного журнала 3-й команды.)

«Открывая этот обелиск, мы, члены экспедиционного клуба «Неунываки», клянемся 9 мая 1966 года установить на месте временного обелиска памятник воинам, павшим героями за землю нашу! Средства на этот памятник мы заработаем сами. Клянемся! Клянемся!»

(Клятва принята при открытии обелиска в селе Ломигоры.)

«Между Ельцом и Измаковым не было удобных мест для стоянок. Вес рюкзаков вдвое выше нормы. Переход длиннее самых длинных — сорок километров. И ребята шли... Даже нам, взрослым, было нелегко. Мы крепились потому, что рядом были ребята. А они, мальчишки, почему шли?..

После перехода на вечерней линейке говорю:

— Вы читали немало книг о героях и подвигах. Вы завидовали сильным людям, их воле, мужеству. Так вот знайте, что подвиг начинается с маленького «не могу», которое ты переборол однажды. И, быть может, сегодня не один из вас сделал свой первый шаг к подвигу...»

(Из личного дневника.)

«Олым — река неприступная, камни и камни на несколько десятков километров, ни кустика, ни деревца вблизи от нее. Трудно идти по Олыму. Здесь от нас уехали четверо. Один истосковался по голубям, оставленным на по-

печенье бабки, другому... Впрочем, ребята расценили бегство товарищей категоричнее, чем мы, взрослые. У них отобрали зюйдвестки и рюкзаки, а вещи закатали в одеяло и перевязали бечевкой. Кто-то из ребят назидал в это время:

— Это чтобы вы ничем не были похожи на туристов.

А когда четверка, избегая взглядов товарищей, уходила из лагеря, им вслед полетел чей-то пронзительный свист, к которому присоединился второй, третий. Свистели все.

(Из вахтенного журнала одной из команд.)

«...Нас было семьдесят. Двадцать пять дней мы шли по нашей липецкой земле. Мы много услышали, увидели, записали. Мы знаем теперь цену звездному небу и тихому плеску наших прудов, знаем цену многому, чего не замечали прежде. И хотим, чтобы собранный нами материал был солдатом, вставшим в боевой дозор, солдатом, охраняющим палаточные городки, наши песни, улыбки наши. Чтобы над землей дымились только трубы деревенских хат, домны и наши туристские костры...»

Всякое случалось за 350 километров пути, но мы прошли их, потому что нас было семьдесят, и мы были друзья. А еще потому, что называемся мы «НЕУНЫВАКИ».

(Из донесения в Центральный штаб Всесоюзного похода молодежи по местам боевой славы. Принято на общем собрании клуба 25 июля 1965 г.)

«Присудить вторую премию за наиболее интересный и содержательный поход липецкому экспедиционному клубу подростков «Неунываки»... Вторую премию за выставку собранных во время похода материалов...»

(Из решения Центрального штаба Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам боевой славы советского народа.)

«Наградить за проделанную работу клуб «Неунываки» юбилейной медалью «Международная встреча ветеранов войны и участников антифашистской освободительной борьбы».

(Из решения президиума Советского комитета ветеранов войны.)

«Однажды в экспедиции уставший донельзя Володя Савельев с горьким юмором произнес:

— Как мало нужно, чтобы ребята стали хорошими: отдать им двадцать четыре часа в сутки и

все-все, что есть у тебя в душе, не оставив себе ни малой толики...»

Мы жили вот этой одержимостью, этим энтузиазмом. Живем им и сейчас. Но...

Как мало только нашего энтузиазма!

На одном из совещаний областного масштаба некто, чье мнение пользуется неизмеримым авторитетом среди ремесленников от педагогики и чиновников, от которых во многом зависит судьба нашего клуба, сказал:

— Не понимаю, что происходит: шпану возят в Брест, а наши хорошие советские школьники сидят в Липецке!..

Слова эти подхватили.

И день спустя:

— А вас как... одобряют или не одобряют?— спрашивают из одной молодежной редакции.

Почему-то до сих пор ни из одной школы не пришли к нам, не спросили:



«Неунываки» на проводах липецких парней в армию.

— Ну как там наш Витя (или Коля, или Саша)?

Мы ждем этих вопросов...

Многое, очень многое изменилось в наших мальчишках. И нас это, разумеется, больше чем радует: мы счастливы тем, что удалось наше дело, что сколько-то десятков мальчишек встало на правильную дорогу. Но как это мало!..

Один избалованный, эгоистичный, а это не менее страшно, чем всякие там «криминальные похождения». Другой мелок душой. Третий не постоянен ни в увлечениях, ни в привязанностях своих. Четвертый просто приноравливается к нам, оставаясь в глубине

своей лживым и лицемерным. Вот в чем истинная-то трудность в воспитании — очистить, если так можно сказать, ребят от этих скверных черточек. А проблема «трудных» (в том смысле, как ее представляет большинство: плохо учится, сквернословит, ворует...) у нас в клубе разрешилась сама собой.

Экспедиция и клуб неожиданно завоевали громадный авторитет у мальчишек города. К нам приходят новые ребята, наши «старички» приводят своих товарищей. И мы уже не можем остаться в рамках клуба для нескольких десятков ребят. Уже сейчас можно сказать с уверенностью, что через полгода у нас будет их несколько сотен.

Представляю, сколько времени и нервов нужно будет потратить, чтобы обеспечить материально в недалеком будущем несколько отрядов... А в областном управлении охраны общественного порядка на просьбу дать нам на время экспедиции мотоцикл ответили:

— Вдруг кто разобьется — мы отвечать будем...

Прошу дать хотя бы мегафон (мы десятки раз убеждались, как до зарезу он нам нужен), и опять в ответ:

— Мегафон дорого стоит, вдруг что...

Мы должны ходить по разным организациям и выпрашивать, как милостыню, гвозди, ситец для стендов, стекла, доски, драные волейбольные мячи... Ох!..

...Да, наши мальчишки больше не будут дружить с «улицей». Да, они без всякого принуждения, по одному лишь напоминанию вестовых являются и на воскресники и на работу на тракторный завод или в «Заготзерно», чтобы заработать деньги на обелиск Славы в Ломногорах. Да, мы все чаще слышим слова, подобные тем, какие говорила мать Коли Волокитина, того самого, что в двенадцать лет приходил на уроки пьяным:

— Кольку-то, Кольку-то моего ну прямо подменили!.. Даже обед к моему приходу готовит...

Но как много нужно сил, чтобы отстоять их, даже вот таких, повернувшихся лицом к хорошему, от стойкого до дикости мнения, что они, во-первых, «трудные», а во-вторых, не заслужили и тысячной доли тех «благ», которыми пользуются в клубе.

Чем больше будет у нас ребят, тем большее количество людей «оскорбится»: ведь, в сущности, наш клуб — живой укор тем, кто не верит в наших мальчишек...

(Из личного дневника.)



Десятки телеграмм и писем со всех концов страны несли в этот день по адресу: Тула, улица Макса Смирнова, 33, Елизавете Федоровне Введенской. Это были поздравления старой учительницы от множества ее бывших учеников. Для них на всю жизнь стал праздником день рождения любимой учительницы.

Газета «Молодой коммунар» напечатала коллективное письмо ее мальчиков — теперь, спустя сорок лет, это уже были ученый-биолог, заслуженный врач республики, писатель, профессор, инженеры, литературовед, министр СССР, юрист, ученый-математик... «Мы всегда любили и уважали Вас и сейчас, сами уже отцы и деды, с великой благодарностью шлем Вам свой земной поклон...»

Как она была рада, как счастлива! Я подумала: ведь, в сущности,



на новых началах, по-своему поставить обучение и воспитание. Они набирают сирот и полусирот и в 1920 году создают Первую опытно-показательную школу с интернатом. Лучшие из учителей города искали новые пути воспитания и обучения. Сергей Иванович Розанов — преподаватель истории, Иван Ксенофонтович Лепорский — учитель биологии и географии, Антонина Сергеевна Кириловская — учительница черчения и рисования, Аксель Эрнестович Купффер — учитель немецкого языка, Виктор Александрович Смирнов — учитель русского языка и литературы... Но душой этого коллектива были Елизавета Федоровна и Виктор Федорович. Для нас, сирот, они стали родными. Их труд, их страсть, их боль — это наши судьбы, наши жизни...

Вспомнить себя, оглянуться в детство — это шелестит листвою сад, льется издали золотистый свет, скрипит крылечко любимого деревянного дома Введенских, такого же, кажется, вечного, как сама эта земля, и этот сад, и ветер

У МОГИЛЫ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

совсем немного нужно человеку — теплое слово привета и верности, — чтобы быть счастливым в своем samozабвенном труде.

4 ноября Елизавете Федоровне исполнилось восемьдесят лет, а сегодня, 14-го, ровно через десять дней, мы провожаем ее в последний путь.

Мы стоим у гроба.

Перед моими глазами, как на экране, проходит вся жизнь этого удивительного человека.

Помните, как говорил Шульга в фадеевской «Молодой гвардии»? «Учитель! Легко сказать! В нашей стране, где учится каждый ребенок, учитель — это первый человек. Будущее наших детей, нашего народа — в руках учителя, в его золотом сердце. Надо бы, завидев его на улице, за пятьдесят метров шапку сымать из уважения к нему».

Так вот, человек с золотым сердцем — такую была наша Елизавета Федоровна, великая учительница.

Она родилась в Туле в семье конторского служащего Общества страхования от огня. Семья была

большая — одиннадцать человек детей. Их знала Тула: Мария Федоровна, Екатерина Федоровна и Петр Федорович — врачи, Елизавета Федоровна и Виктор Федорович — учителя, Федор Федорович — инженер...

Семнадцатилетней девушкой уехала Елизавета Федоровна по окончании гимназии в глухую тульскую деревню Сухотино учительствовать. Через три года она поступает на Высшие женские педагогические курсы и, окончив их, едет в Петербург учительницей начальных классов. Любимый предмет ее, ее призвание — естественные науки, природоведение, ботаника. Она поступает, продолжая работать, на сельскохозяйственные курсы, каникулы проводит в Никитском ботаническом саду, в Батуми на Зеленом мысу, служа экскурсоводом.

Под Тулой канонада гражданской войны. Голод, разруха. Город наводнен беспризорными. У Елизаветы Федоровны и ее брата Виктора Федоровича возникает идея создать новую, советскую школу,

в ливне. Идешь мимо, глянешь в щелку забора — Елизавета Федоровна непременно там, со своими растениями, в чудесном ботаническом мире, возвращенном ее руками.

Совсем недавно, минувшей осенью, в последний ее год, забегала я в сад. Грязь была, сыкость, сырость и стылый мрак, а Елизавета Федоровна, больная, слабенькая, задышающаяся, из последних сил, — там, в мире своем. «Шура, Шура, сюда иди, сюда!» — крикнула она, завидев меня. И засияла, засветилась: — Вот оно что происходит с растениями, с этим, с этим, смотри, смотри!»

Но слабенькой она мне не запомнится. Останется она в памяти быстрой, порывистой, энергичной, очень властной и в то же время нежной, со всевидящей добротой в глазах. Эти глаза, этот добрый и умный взгляд! С самого детства чувствую его на себе. Все видели эти глаза, насквозь видели.

На снимке: Е. Ф. Введенская после окончания гимназии.

Солгать бы я им не смогла. Непременно услышала бы: «Шурка, врешь!»

Я перебираю старые фотографии, коричневые плотные открытки — застыла в удивлении и в горделивой торжественности давно отпавшая молодость. Три девушки-курсистки. Елизавета Федоровна, большелобая, с широко поставленными глазами, красивая и гордая. Еще — в лаборатории. Еще — на экзаме-не у какого-то веселого щеголя из преподавателей гимназии. Какая юная, какая решительная! Мне думается: подвиг жизни начинался тогда, во цвете молодости и обаяния. Ведь Елизавета Федоровна сознательно пожертвовала радостями любви и семьи, чтобы посвятить себя без остатка учительскому подвижничеству. В то время это было актом гражданского мужества, вызовом «обществу». «Идеалистка!» — говорили о таких.

Как-то приехал уже в эти годы Мстислав Евгеньевич Колосовский, архитектор Ленинграда, наш Славка. Куда? К Введенским в дом. А куда же еще? Сорок лет это была штаб-квартира питомцев Елизаветы Федоровны. Виктор Александрович Арсеньев приехал, привез свою книгу «В стране китов и пингвинов», изданную Московским университетом, — опять же первым долгом сюда, в этот дом, в заветный дом нашей юности. Юности, с которой мы так и не расставались, пока жива была Елизавета Федоровна.

Только сейчас, когда мы оспротели, ушло куда-то далеко школьное наше, комсомольское наше время, отодвинулось в прошлое.

Много мы сейчас говорим и спорим о педагогике, о трудовом воспитании. Боже мой, да в те годы творилась самая талантливая, революционная педагогика! Учебная программа проходила как стержень, а вокруг нее — прекрасное многообразие волнующих дел, внеклассная деятельность, общественная жизнь, поглощающая и одухотворяющая. Мы жили этой жизнью, мы горели ею, нас растили ответственными, одержимыми, готовыми все отдать коллективу.

Альбомы наши, дневники, сокровенные памятные строки! В Ольгинской гимназии в подвале лежали старые классные журналы с чистыми последними страницами — вы и сейчас узнаете их в пожелтевших самодельных тетрадках.

1921 год. Коптево. Вечер. Проселок. Старенькая неприветливая лошадка Полтавка тащит наш нехитрый багаж, а мы идем, полем и лесом, в бывшее имение Воейкова, к черному страшноватому озе-

ру, зловеще блестящему среди валежника. Над водой, над омутом склонились в печали ивовые ветви.

Шарабанчик наш едет и едет, громыхая. Наконец достигли цели. Мальчишки наши уже там! Встречают нас.

Ужинаем жареной тыквой. Громадный костер на берегу, прыгаем через него, купаемся в теплой тяжелой воде. А Елизавета Федоровна с нами, как всегда: «Сначала я, сначала я промерю глубину!» Мы долго сидим с ней на берегу у костра, мы чувствуем, как она счастлива. «Ну-ка, Шура, глянь, какое это созвездие? Ну, да ну же!» Вслушивается: «Тише, девочки, пеночка засыпает...» Замерт: «Поползни баюкают себя...»

Невозможно забыть эти наши выезды в дивный мир природы! Предмет естествознания преподавался нам как возвышающая любовь к живому миру, как поэзия жизни, как наука добра.

Просыпаемся в лесу — Елизавета Федоровна хозяйничает... А мальчишки наши тут как тут, с букетами лесных цветов — кавалеры!

Самые замечательные экскурсии были у нас с Елизаветой Федоровной весной. Снег уже стаял, на опушке леса появились первые цветы медунцы и гусиного лука, поют птицы, и Елизавета Федоровна рассказывает нам о жизни леса, учит понимать и любить природу.

Летом мы выезжали на дачу всей школой. Время своего отдыха учителя целиком отдавали нам.

Походы наши боевые! Мы ведь и не считали тогда обувь обязательной принадлежностью туалета. Так-то ближе к природе! «Девочки, девочки, одну минуту, — так и бонится Елизавета Федоровна упустить что-либо, обойти вниманием. — Персидская сирень! Розы белые — ползучки! Певчий дрозд!»

Вся округа была в нашем ведении. Речка Непрейка мне помнится. Елизавета Федоровна — такая красивая и отважная пловчиха, гордость наша, совесть и защита. «Девочки, не расшвыривайте сено!», «Девочки, грибы не так собирают... Нужно нагнуться и посмотреть, грибок любит листиком прикрываться...»

Сидим вечером, созерцаем красоту русской земли. Луна. Мы поем:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля.
Тебе поем мы песню,
Вечерняя заря.

Елизавета Федоровна, сидя, дирижировала с необычайным увлечением. Музыка она ввела как обязательный курс познания мира. Располагались в живописных местах и под гитару пели Никитина,

Кольцова, Некрасова. Да у нас и свой был, собственный гимн: «Наш юный хор натуралистов природе громкий гимн поет. Пусть вольный ветер напев наш чистый на крыльях мощных вдаль несет. Хотим мы ближе стать к природе, хотим в лицо ее взглянуть. Мы изучаем лес и горы, и славным кажется нам путь!»

Интернат у нас был по тому времени идеалом обучения, трудового воспитания и культурного быта. Десять мальчиков и десять девочек. Обували нас, одевали нас, а из собственного имущества был попугай Сони Библиковой, кричавший по утрам: «Вставайте, дуры!»

В школе возникли у нас кружки: литературный, драматический, краеведения, корреспондентов, пения. Открылись мастерские — столярная, слесарная, швейная, сапожная, картонажная. Наша школа, опытно-показательная, была участницей первой советской сельскохозяйственной выставки. Тема наша — «Березы и липы в кустарном производстве». Ребята с Елизаветой Федоровной ездили по Тульской области и привозили ступки, веретена, гребенки, сделанные из липы и березы. Смотрите, куда простиралось наше поле — бескрайнего, безграничного естествознания. Мы собирали свой урожай и имели овощи на всю зиму.

С той же страстью Елизавета Федоровна зажигала в нас интерес к истории. Это ведь опять же ее предмет, взятый во времени, на глубине веков. Водила она нас на курганы, к остаткам древних городищ, на торфяные болота, на реку Шат, будто бы потекшую вспять. Тащилась с нами наша Полтавка, нагруженная пожитками и трофеями.

Ходили на Щегловскую засеку, набрали там однажды краснопузеньких лягушек-жерлянок для аквариума с вечно бьющим фонтанчиком. Ночью они нам концерт давали: куууух, куууух, куууух...

И математику тоже пристегивала Елизавета Федоровна к своему предмету! Всегда волокли мы с собой в походы нивелиры, астролябии, всякие приборы.

И это ведь тоже естествознание: в 1924 году Елизавета Федоровна предприняла массовые экскурсии на молодые тульские шахты. Мало того, она возила школьников в Крым, в горы, она ездила с ребятами на Волховстрой, вовлекая нас в огромный мир хозяйства, политики, романтики необычайных социальных преобразований. Какой это предмет? Какая дисциплина? Широкое жизневедение дерзновенных и пытливых!



Группа учеников Тульской опытно-показательной школы. Во втором ряду сидят преподаватели: В. Ф. Введенский (основатель и первый директор школы), Е. Ф. Минаев, Введенская, Розанов, Мошанский.

Кончается экскурсия — и обязательно отчетная выставка. Каждый класс вел дневники с иллюстрациями. Это сейчас фотоаппараты у каждого, а тогда мы карандашиком рисовали с натуры.

Наконец — это тоже, можно сказать, по курсу естествознания, — собственное естество закалить спортом и физкультурой! Обязательно обливаться холодной водой! Никаких исключений! В этом Елизавета Федоровна была неумолима. И, представьте себе, никаких не случилось гриппов. Спорт наш не был так красив, как нынешний, неказисты были наши костюмы, какие-то байковые штанишки, ситцевые рубашонки, тапочки — у кого есть, а у кого и нет.

А как она сама одевалась... Летом на ней всегда простое сатиновое платье, тапочки по давней тульской моде непременно на босу ногу. Ее привычка, ее стиль, ее пожизненное рабочее обмундирование.

Нам не казалось обидным, что в столовую, например, мы шли строем. Нам было весело и легко. На деревянной ложке кто-то нацарапал: «Навернем, благословясь!»

Тридцатые годы ввели нас, питомцев Елизаветы Федоровны, во взрослый мир. Вот я уже учусь в педагогическом институте, а биологию преподает там Елизавета Федоровна. И детство мое как будто продолжается.

Ранние годы жизни — они как ранние лесные цветы. У времени тоже свой аромат. Нахлынет на тебя вдруг опьяняющая волна воспоминаний...

Принесла я в прошлом году Елизавете Федоровне шоколадный набор, и отругала она меня. В следующий раз поступила умнее — пришла к ней, обложенной подушками, с весенними цветами. Вспыхнула радостью моя Елизавета Федоровна: «Шурка, ах, медуницы!»

Вот уже и голова моя побелела, а все еще за каждым моим шагом следит моя учительница, хотя мы уже на равных работаем с ней. Ведь я единственная ее ученица, пошедшая по ее стопам. Только у меня не естествознание, а география. Елизавета Федоровна, как ребенок, радовалась каждому моему успеху, советовала, как обогатить уроки, чем их дополнить, как разнообразить занятия, как увлечь класс, как зажечь его. Бывало, трудно тебе — идешь к Елизавете Федоровне за выручкой. Она вся внимание. Бегут ко мне, бывало, в школе, ищут по этажам: «Быстренько, быстренько, звоните Введенской!» Что такое? «Шура, — кричит мне в трубку Елизавета Федоровна, — возьми «Известия», слышишь, непременно прочти, это тебя прямо касается...» Или: «Вышла книжка... Обязательно прочти, слышишь!»

Дом Введенских был для всех. И дом и сад. Всегда радужные, всегда живой интерес к каждому гостю и почти всегда — лекция, целая научная лекция о живом богатстве сада. Елизавета Федоровна даже виноград культивировала на тульской почве.

Титанический труд! 58 лет такого труда отдано школе. Но и с выходом на пенсию продолжался гражданский подвиг моей учительницы.

Было — тяжело и грубо обижали ее. Но в ней столько было душевной силы, что она оставалась всегда жизнерадостной и всегда счастливой, и счастья этого хватало на всех нас.

Прошлым августом увидела я, как она еле-еле сходит со ступенек в сад. Сошла. Попросила подать ножницы. Нарезала букет цветов — не уйдешь из этого сада с пустыми руками. К букету в придачу еще и сеточку яблок приказала взять.

И вот теперь провожаем мы Елизавету Федоровну в последний путь.

Смотрю на тех, кто был ее воспитанниками, вижу слезы на глазах. Шура Агафонов спешит снять в последний раз дорогое лицо. Рядом стоят Юра Колосовский, Вика Арсеньев, Ксения Владимирская, Валя Рожнова, Шура Соколов, Шура Коршунов, Ваня Ефимов, Володя Пушкарёв, Тамара Звездочкина, Лида Глаголева. А многих нет, но сердцем они здесь — Толя Балашов, Соня Бибилова, Костя Руднев, Боря Спасский, Слава Колосовский, Коля Кудряшов, Илюша Стариков и многие-многие.

Тула провожает свою учительницу. Несут ее орден Ленина, ее медали, ее награды.

Скорбно стоит у могилы толпа. Но не вся Тула знает, кого хороним, кого провожаем. Обидно мало знает город в своих выдающихся учителях. В газете не было некролога, только рамочка, да и в ней ошибка — фамилия с одним «в». Ой, как неуклюжи мы перед такими великими жизнями!

Митинг окончен. Опустили гроб. Засыпали землей. Все. Расходится толпа. А я стою у свежего холмика и думаю, какую красивую и полную жизнь прожила Елизавета Федоровна, сколько добра принесла она Родине, сколько света, сколько радости принесла она людям! Только здесь, у свежей ее могилы, я поняла, как это много значит — учитель. Как это огромно — советский учитель! И мне очень хочется, чтобы люди знали о Елизавете Федоровне, чтобы люди знали о подвиге ее чудесной жизни.

Прощай, моя Учительница.

Александра ГУСЕВА,
учительница 20-й средней школы
г. Тулы.



СРЕ- ДИ КНИГ

Почти анкетно жизнь Ларисы Рейснер выглядит так: родилась 1 мая 1895 года в семье профессора государственного права. Литературную деятельность на-чала в 1912—1913 годах. Издает журнал «Рудин», главная цель издания — клеймить «бичом сатиры, карикатуры и памфлета все безобразие русской жизни».



В 1916—1917 годах Л. Рейснер вместе с Маяковским печатается в горьковской «Летописи», в восемнадцатом — вступает в Коммунистическую партию, в девятнадцатом — комиссар Морского генерального штаба. Пишет книгу очерков «Фронт» — о походах Волжской флотилии. Лариса Рейснер — прообраз Комиссара в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского.

Она умеет правдиво и страстно говорить о революции. «Кто-то произносит речь — ах, эту речь, задиристую, малограмотную, грубую речь, которая еще неделю тому назад не вызвала бы ничего, кроме кривой усмешки, — а капитан первого ранга слушает ее с сердцбиением, с трясушимися руками, боясь се-

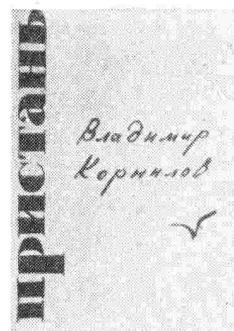
бе сознаться в том, что Россия этих баб, дезертиров и мальчишек, агитатора товарища Абрама, мужиков и Советов — его Россия, за которую он дрался и до конца будет драться, не стыдясь ее вшей, голода и ошибок, еще не зная, но чувствуя, что только за ней право, жизнь и будущее».

«Афганистан», «Гамбург на баррикадах», «Берлин в октябре 1923 года», «В стране Гинденбурга», «Уголь, железо и живые люди», «Декабристы», «Статьи о литературе» — вот книги Ларисы Рейснер, и каждая из них представлена в «Избранном» (изд-во «Художественная литература»). Все творчество писательницы посвящено одному: изображению того, как люди вершили Революцию и как Революция творила людей. Очерки Рейснер Михаил Кольцов называл точными, как маленькие часы, и волнующими, как стихи.

Высокая культура, пламенное слово, мужественная честность — на каждой странице книг Л. Рейснер. Ее книги — это исповедь чистого человека и борца.

Григорий АНИСИМОВ

Говоря о молодых поэтах, принято повторять: у него весенние стихи, весенний голос. Но хотя сборник стихотворений Владимира Корнилова «Пристань», вышедший в издательстве «Советский писатель», — первая его книга, о ней так не скажешь. Так получилось, что поэт, пишущий давно, вышел к читателю только теперь. И стихи его — стихи зрелого поэта. Часто сравнивают зрелость с осенью. В стихах сборника много раздумий об этой поре. Судя по всему, это — любимое время года поэта. Его, видимо, привлекает графическая простота осени, прозрачность ее воздуха, осознанная печаль последних осенних дней. «Здесь больше ума, чем страсти, и трезвости, чем мечты. И, как недовольный мастер, срывает ветер листья. А это в конечном смысле единственно верный путь: слетают пестрые листья, и остается суть». Суть мира, веселого и печального, стремится постичь герой стихотворений Вл. Корнилова,



и глядит он на этот мир «не с грустью, а всерьез...» Голые ветви деревьев, бесконечные косые дожди говорят ему о будущей весне. О нежной листве, которая покроет деревья, о пышных травах, о солнце.

Ему есть о чем рассказать, человеку, который был подростком, когда окончились войны. Для героя стихотворений Корнилова характерны строки: «Резон был беспокоиться поменьше о себе». И это не просто так сказано, это не поза, не бездумное кокетство — здесь смысл поэзии Вл. Корнилова, его философия. Поэт беспокоится о мире, о людях, о поэзии. И беспокойство его не суетливо — оно действительно и благородно.

Поэт объясняет, как понять им суть поэзии, а значит, и жизни: «В чем суть? Не в том, — мол, сядь, пиши, а в том, чтоб с дальних улиц все души ото всей души к тебе тянулись. Их должно ждать, спасать, снабжать и добротой и мощью. А после — можно и писать, писать — оно попроще». Святое беспокойство поэта заставляет людей тянуться к его стихам, а это, конечно, самое главное. «Пристань» — только начало пути Вл. Корнилова. От нее идет он в дальнее плавание — к читателю.

Алла КИРЕЕВА

«Республике Шкид» — почти сорок лет. Ее написали бывшие беспризорники Григорий Белых и Леонид Пантелеев. Недавно издательство «Детская литература» выпустило стотысячным тиражом очередное издание этой книги с предисловием Самуила Яковлевича Маршак.

«Республикой Шкид» зачитывались целые поколения.

Двадцатые годы... Где-то на Украине проводит свои педагогические опыты Антон Макаренко, а «Республика

Шнид» уже захватила читателя, ибо это была книга, удивительная своей достоверностью, точным и безошибочным взглядом на время.

Гражданская война и разруха разбросали по России десятки тысяч беспризорных и голодных детей. Это было бедствие, с которым молодая Советская власть с первых же дней повела беспощадную войну. Нужно было вырвать детей из лап черного рынка, из притонов и шаек, нужно было накормить, одеть и воспитать голодную ребячью армию. Детские дома нового типа, в которых жили бывшие беспризорники, хулиганы, ворышки, должны были выработать новые педагогические приемы «переновки». А начинать, в сущности, пришлось на пустом месте: никаких навыков у педагогов, никакой материальной базы.



Об одном из таких детских домов — школе социально-индивидуального воспитания имени Достоевского, — сокращенно «Шнид», и рассказывает эта книга. Острым и метким пером, выдающим художественную наблюдательность молодых авторов, написаны портреты воспитанников и беззаветно преданных своему делу воспитателей, таких, как Викниксор, — и рядом портреты ничтожных «халдеев», которых на пушечный выстрел нельзя допускать к детям.

Алексей Максимович Горький восторженно встретил «Шнид».

«Какая интересная книга, — писал он, — для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека».

Григорий Белых погиб в 1938 году, пав жертвой клеветы. Леонид Пантелеев стал детским писателем, его повесть «Пакет», рассказ «Часы» широко известны. Теперь уже совершенно ясно, что «Республика Шнид» не устарела.

Илья СУСЛОВ

В 1955 году, за три года до смерти, замечательный чешский поэт Витезслав Незвал написал одно из лучших своих стихотворений — «Париж без Поля Элюара». В нем были такие строки:

Я обнимаю тебя, Элюар,
И твой Париж обнимаю.
Я опять нахожу в нем тебя,
Твою боль, твою нежность,
твое дыхание...



Эти стихи не вошли в сборник лирики В. Незвала, изданный недавно издательством «Художественная литература» в серии «Сокровища лирической поэзии», быть может, потому, что много раньше, в 1936 году, Незвал написал стихотворение «Прага с пальцами дождя». Оно созвучно с «Парижем без Поля Элюара» и дополняет его... Нельзя почувствовать душу народа по путеводителям, даже если они предсудительно подробны. Но если хотите узнать душу Чехословакии, сердце Златой Праги, мысли каждого пражанина — вам поможет Незвал. Он поведет вас по улочкам Старого города на Староместскую площадь, а потом дальше — к Карлову университету, на Вышеград, Винограды. Не забудет заглянуть в старинные кабачки и на Чертовку, спрятавшуюся под Карловым мостом в зеленых живописных рукавах Влтавы. Он напомнит о том, кто до вас ходил здесь, и познакомит с теми, кто идет сейчас рядом с вами. И не забудет, как бы мимоходом, заметить:

...Как пахнут беспокойные
трамваи под мерный звон
колоколов церковных,
как самая современной
мода не портит ни вокзалов,
ни костелов,
Как горячо звучит язык наш
чешский на камнях
древних площадей и улиц...

В эту чудесную прогулку он непременно возьмет с собой музыку Бедржиха Сметаны, удивительно близкую ему народным характером и солнечной, искрящейся юмором жизнерадостностью. Встреча музыканта и поэта не случайна. Ведь Незвал долго колебался, что выбрать: поэзию или музыку. Выбрав поэзию, он остался и превосходным музыкантом. Мелодика его стихов так красива, прозрачна и естественна, что кажется, все они положены на музыку. И недаром лучшая его поэма зовется «Песня мира».

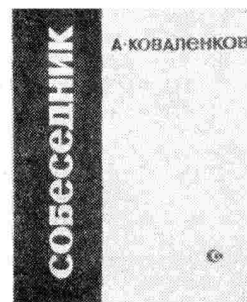
Он многое подарил своей родине. Многие подарил и нам, советским людям. Не только песни о любви... Он раскрыл нам гостеприимные сердца чехов и, приветствуя «роковую неизбежность счастья», расска-

зал, как это счастье пришло на берега Влтавы, на поля Словакии и Моравии. И поэтому когда сегодня идешь по улицам и площадям Праги, то везде и всюду тебе сопутствует Витезслав Незвал, который, как Поль Элюар в Париже, навсегда оставил в Праге свою боль, свою нежность, свое дыхание...

Н. ЛАГИНА

3 а творческим ростом в то время еще начинающего поэта Александра Коваленкова требовательно и внимательно следил Эдуард Георгиевич Багрицкий. Позже, в 1935 году, в «Правде» было напечатано и понравилось А. М. Горькому одно из первых стихотворений Коваленкова, «Мать». Потом были публикации в сборниках «Вагранка», первые книги стихов...

И вот перед нами самая свежая книга поэта — «Собеседник» (М., «Советский писатель», 1965). Уже название ее говорит читателю о близости к нему поэта, о единстве тем, интересующих и поэта и читателя. Но что же особенно дорого поэту?



«Новгородские зори, рассветы в Петровском парке, когда солнце еще не взошло, но в небе уже гудят моторы самолетов; следы девичьих босоножек на песчаной отмостке черного морского берега; затерянные в морозке и багульнике тропинки; коготь артиллерийских разрывов на снегах Карельского фронта; темный блеск окуляров Московского планетария...» — вот истоки творчества Александра Коваленкова.

Все в сердце, не забыто ничего. И далеко вперед видна дорога. А что крутой характер у него. Так это оттого, что дела много.

Эта книга будет интересна и молодым поэтам. Продолжая брянскую традицию обучения «науке стиха» на самих стихотворениях, Коваленков использует самые разнообразные поэтические формы. Мы встречаем и обновленный Коваленковым гекзаметр, и привычно тургеневские «стихотворения в прозе», и самые современные «тактовый» стих и верлибр. Не менее интересно и сознательное расширение Александром Коваленковым рамок классической поэтики за счет использования просторечия.

«Собеседник» понравится читателям.

С. Г.

«ЛЮБОВЬ И БУДНИ»

Наши читатели, должно быть, помнят озаглавленное так письмо аспирантки из Новосибирска Инны Н., опубликованное в девятом номере журнала «Юность» за 1965 год. Любовь нередко разбивается о рифы неустроенного быта; письмо Инны Н. пронизано чувством протеста против этих всегда горьких крушений. Где истоки увядания любви — в духовном, в материальном, а может быть, в том и другом? — вот, в сущности, главный вопрос письма Инны.

Откликов пришло несколько сот. Отбирая письма для публикации, мы предпочитаем те, что содержат дельные и конкретные предложения, а не ограничиваются рассуждениями, носящими общий характер.

«СЧАСТЬЕ — ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ». ТАК, ОЧЕВИДНО, МОЖНО ОЗАГЛАВИТЬ ЭТО ПИСЬМО

«Уважаемая редакция!

Я прочитала в вашем журнале письмо Инны Н. из Академгородка Новосибирска. И я очень ей позавидовала. В жизни ее действительно много трудностей, связанных с уходом за сыном, за мужем, с работой и отдыхом. Но у нее есть любимая работа, любимый муж, любимый сын! Разве это не счастье? И у нее есть своя квартира!..

Может быть, свои трудности каждому кажутся тяжелее. Но судите сами. Мы с мамой живем вместе: у нас одна небольшая комната в общей квартире. Беда в том, что мама хронически больная. Она беспомощна. Лежит в постели, не может обслужить даже себя. А я днем работаю и вечером учусь. Небольшая пенсия мамы и моя зарплата, — если экономить, на них прожить можно. Но я должна все делать сама: выстирать, вымыть, убрать в комнате (а в дни своей очереди — в кухне и в местах общего пользования), приготовить еду себе и маме, купить все в магазинах, обслужить полностью маму..

И мне надо вечерами ходить на лекции, делать задания, готовиться к экзаменам. И мне хочется быть чистой, аккуратной, одетой, причесанной. Мне хочется сохранить руки в приличном виде.

И у меня есть юноша, с которым я дружу, и мне надо найти время встретиться с ним. Надо иногда сходить в кино, в библиотеку. Мне надо читать, не должна же я отстать от века! Я не жалею о том, что мне так много надо сделать. Я делаю все это с радостью и стараюсь, чтобы времени на все хватило, хотя это и трудно.

Я и мой друг, мы любим друг друга. Но ему, чтобы жениться, надо уйти из своей большой семьи, которая живет в маленькой квартире. Он вернулся из армии, работает и тоже учится вечерами. Нам хочется пожениться, иметь свою семью, сына. Но мы только можем мечтать об этом. Я очень люблю свою маму и никогда не оставляю ее; он знает это и тоже хочет, чтобы мама была всегда с нами. Но в одной комнате жить невозможно.

Да, надо побольше квартир, детских яслей, садов, школ-интернатов, чтобы женщина не выбивалась из сил, работая и обслуживая семью. Когда-нибудь, наверное, все это будет. Но наша-то жизнь уходит! А счастья так хочется! Общего счастья и своего, личного, счастья!

Милая Инна! Вы счастливы и не замечаете своего счастья, как здоровый человек не замечает своего здоровья. Я хотела бы иметь Ваши трудности и Ваше счастье. Берегите его.

Елена М.»

СЛЕДУЮЩЕЕ ПИСЬМО СЛЕДОВАЛО БЫ НАЗВАТЬ: «ОДНА ИЗ СТОРОН РАВНОПРАВИЯ»

«Дорогая редакция!

Письмо Инны Н. в основном очень правильное и выражает мысли женщин, живущих и работающих вокруг.

Хорошая идея равноправия женщин обернулась для нее двойной нагрузкой: полная нагрузка дома и полная (наравне с мужчиной) — на производстве. К этому нужно прибавить, что большинство женщин привыкло к своей работе и работает с полной отдачей, любит свою семью и дома тоже отдает все свои силы (и откуда они только берутся!). А мужчину не переделаешь в женщину даже с помощью самых лучших законов. И какой бы идеальный муж у вас ни был, он никогда не сможет сориентироваться в домашних делах так, как это сделает женщина.

Посмотрите на женщин в метро, автобусе после пяти часов вечера — в руках хозяйственная сумка с продуктами, взгляд усталый, лицо осунувшееся.

Получается так: оканчивает женщина институт, работает с энтузиазмом 2—3 года. Потом появляется семья, ребенок, новые заботы. Взгляды и мысли женщины перестраиваются. А работать нужно! Мужчине платят столько же, сколько женщине, и рядовому инженеру одному практически трудно содержать семью даже из трех человек.

А что делать с ребенком? Если в таком виде, как они существуют сейчас, вызывают много нареканий. Далее — детский сад. Это хорошо и для детей и для родителей. Но опять же, какое слабое осуществление хорошей идеи! Детей везут из одного конца города в другой. И особенно жалко на них смотреть зимой, спящих на руках родителей в холодных троллейбусах и автобусах в 7—8 часов утра. Один воспитатель в детском саду на 25 детей. Тут даже и хороший человек, любящий детей, и тот будет раздражаться.

Далее, школа, и опять тот же круг, по которому бегают женщины. А если ребенок имеет какие-то способности и хочет заниматься в кружке в Доме пионеров, тут женщина изливается, как уж. Хорошо, если есть бабушка, которая отвезет и привезет. А если нет?

Послушайте женщину, проработавшую без перерыва 10—12 лет: «Господи! Ну хоть бы годик посидеть дома! Еще одного ребенка? Ни за что! Скорей бы на пенсию. Вот начнется жизнь! Вот тогда и мечта о втором ребенке осуществится — покачаю внуков».

Ходишь мимо книжных киосков и читаешь милые названия брошюр «Движение — путь к здоровью и красоте женщины», «О труде женщины», «Советы молодым хозяйкам» и т. д., и ни одной брошюры для

мужчин, а ведь именно от них часто можно услышать где-нибудь в метро: «Уступить место? У нас равноправие». Читаешь, смотришь и умиляешься: каким «вниманием» окружена женщина!

Не наболевший ли это вопрос? По-моему, нужно его решать в пользу женщин.

Мои предложения сводятся к следующему:

1. Семейные женщины, обремененные детьми, по их желанию должны переводиться на сокращенный рабочий день (с соответственным снижением зарплаты). Если же предприятие не может обеспечить детей яслями и детским садом, то, быть может, и без сокращения зарплаты. Такое право надо дать директорам предприятий и руководителям учреждений. Теперь, после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, это, на мой взгляд, вполне реально.

2. На время воспитания ребенка (до школы) женщины, если она сама того хочет, может уйти с работы, но без потери трудового стажа, что важно потом для получения пенсии. На мой взгляд, воспитание ребенка — работа не менее трудоемкая и важная для общества, чем любая другая.

3. Организовать заказы на продукты с доставкой на дом и на предприятия; организовать в самых широких масштабах и продажу детских вещей на предприятиях.

4. Детские сады — только по месту жительства. А доставлять детей в детский сад и развозить их по домам надо на специальных автобусах.

5. Организовать побольше бюро добрых услуг по уходу за детьми, чтобы родители могли куда-то пойти вечером.

6. Шире пропагандировать уважение к женщине-труженице, к женщине-матери и просто к женщине.

Таковы мои предложения. Без их реализации что-либо советовать Инне Н., как предлагает редакция, бесполезно. Могу только сказать ей по секрету: женщина может и обязана сохранять как можно дольше свою любовь и любовь мужа (на то она и женщина), хотя иногда кажется, что это нелегко — так устаешь и физически и морально.

Бот и все. Может быть, мое письмо получилось мрачное, но человек я веселый и стараюсь оставаться оптимистом, несмотря на жизненные неурядицы.

Маргарита Х.

ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬ ВАС, ЧИТАТЕЛЬ, И С ДРУГОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ, МЫ ПОМЕЩАЕМ ДВА ПИСЬМА, ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ КОТОРЫХ — САМА ВИНОВАТА.

«Уважаемая Инна! Вы слишком многого хотите от жизни в настоящее время, тогда как, судя по вашему письму, сами вы ей дали очень мало. Вы вышли замуж, по-моему, совершенно не подготовив себя к этому... И вообще, откуда только берутся эти нытики, белоручки? Кто их размножает? Общество? Я думаю, их плодит беспечность молодых людей, происходящая от избытка благополучия общества.

На вашем месте, Инна, нужно обвинять себя, а не общество.

Антонина Румина.

г. Владимир.

«Только что получили номер «Юности» с письмом «Любовь и будни». Оно нас просто возмутило! Эта Инна из Академгородка свои домашние заботы, естественные и неизбежные (пеленки — магазин — кормление семьи), называет испытанием для любви. Но разве это испытание, когда имеешь любимую ра-

боту, хорошую квартиру, любимого мужа, ребенка, ясли под боком, магазины, в которых все можно купить, и даже прачечную? На что же еще сетовать?

Мы с мужем живем в небольшом калмыцком хуторе, куда нас послали после окончания вуза. Здесь нет ни прачечной, ни квартир с удобствами, ни яслей. И продуктов в магазине недостаточно.

Мы поженились в мае прошлого года. Регистрировались в сельском Совете за четыре километра от дома, и там не было ни торжественной обстановки, ни даже картины «Десятый вал». Никто нам не вручал ключей от новой квартиры. И не было рядом мамы. Мы до сих пор живем на разных частных квартирах, ожидаем появления малыша.

Я и стираю, и готовлю три раза в день, и работаю учительницей. Но любовь наша не потускнела. Даже в таких условиях мы ничуть не опасаемся за романтику наших чувств, хотя нам и потруднее, пожалуй, чем Вам, Инна.

Зоя и Иван Ш.»

Калмыцкая АССР.

ЕЩЕ ДВА ПИСЬМА, НА ЭТОТ РАЗ — СОБСТВЕННО О ЛЮБВИ. АВТОРЫ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ТОГО МНЕНИЯ, ЧТО ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «УГАСАНИЕ ЛЮБВИ» — ПРОЦЕСС ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ДАЖЕ ЗАКОНОМЕРНЫЙ.

«В ответ на «рыдания» Инны Н. из Новосибирска. Я уже бабушка, но «Юность» читаю с интересом. Надо же мне знать, чем и как живут мои дети!

Да, таких, как Инна Н., немало. Быт наш очень еще не устроен. Но это одна сторона неудобств. Другая — это совершеннейшая неспособность нашей молодежи к трудностям.

Глупо из любви создавать кумир, не видеть ничего кроме. Для всего свое время. Юность — время любви восторженной и, может быть, немного и эгоистичной. Когда же две жизни соединяются в одну, уже другой этап настает — более сложных отношений. Третий этап — это появление нового существа. Может ли быть нормальным то, что было раньше: любовь только друг для друга? Часть любви, и немалая, расходуется на третье существо...

О. Федорова.

г. Карачев.

«Уважаемая редакция!

Первое чувство любви, возникающее у человека, как правило, настолько сильно — именно как чувство, — что никакому регулированию не поддается.

Никто не верит, однако (а если и соглашаются, то все же не осознают), что эти восторги не вечны, что они сменяются большим или меньшим спокойствием. Всем влюбленным кажется, что эти первые, «сумасшедшие» дни только и являются настоящей любовью и что они будут продолжаться до конца жизни. В эти дни любовь из жизни человека вытесняет все прочее. И любое возвращение к прежней деятельности переживается как ослабление чувств. Никто не мирится сразу с тем, что любовь должна занимать только часть сознания, только часть жизни.

Когда люди считают любовь угасающей, то чаще всего в этом случае они принимают за любовь восторг, возбуждение, страсть.

Тут нужно сказать несколько слов о физиологии. Некоторые боятся признать влияние физиологии на чувства, некоторые признают, но потом не учитывают эту сторону, когда ищут ответа на измененные отношения между супругами. Те и другие тревожатся, что таким признанием любовь сведется к животным отношениям.

...Любови хотят маниакальной, «религиозной в хорошем смысле этого слова», как Инна Н. И отсюда — разочарования из-за ее несбыточности. Здесь ни при чем «неудобства еще не совершенной жизни». Те или другие заботы будут волновать всегда. Нужно уметь не теряться и не ставить свое счастье в зависимость от материальных недостатков. Оно, в сущности, и не зависит от этого. Иначе получилось бы, что из-за «неудобств еще не совершенной жизни» люди разучились бы любить.

Не нужно ждать от любви невероятного. Она хороша и без этого. Инна хочет прежней остроты переживаний, прежних чувств. Как их вернуть, я не знаю.

Евгений Павлов, студент.

Москва.

В СЛЕДУЮЩЕМ ПИСЬМЕ ДЕЛАЕТСЯ ПОПЫТКА ОБОСНОВАННОГО АНАЛИЗА РОЛИ МАТЕРИ И В СЕМЕЙНОМ И В СОЦИАЛЬНОМ ПЛАНАХ.

«Письмо Инны Н. внушает доверие. Оно касается многих вопросов, над которыми заставляет задумываться сама жизнь.

Любовь — часть жизни, и она будет тем счастливей, чем реалистичнее будут представления, с которыми в нее вступает молодой человек.

Было время, когда в пылу борьбы за равноправие женщины в нашей стране в известной степени игнорировались законы природы. В какой-то мере это нашло отражение и в ваших, Инна, представлениях о жизни. Мне кажется, что вы не были психологически подготовлены к материнству. Кончился декретный отпуск. Ребенку только несколько месяцев, а для вас, как вы сами пишете, «все-таки главный интерес там», то есть на работе. Я могу понять вас и очень уважаю ваше стремление не замыкаться в кругу только семейных интересов. Но давайте внимательно разберемся в этом.

Известны мысли Льва Толстого о первых годах своей жизни: «Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние».

Кто же должен в этот нежный и наиответственнейший период формирования личности «воятелей грядущих поколений» стоять у колыбели? Я утверждаю: мать.

Что же мы наблюдаем зачастую? Маленькое существо, в котором все — от физического до психического — находится в бурном развитии, которое требует гармонии в своем воспитании, безжалостно в течение недели пересаживается от матери в ясли, а потом в детский сад, а из детского сада к бабушке, и наоборот. Если даже представить себе идеальную согласованность всех нянек в вопросах воспитания, чего фактически не бывает, то сама переменная обстановки вряд ли приносит пользу нервной системе ребенка. Так не рекомендуется поступать ни с растениями, ни с животными. До пятилетнего возраста ребенок должен воспитываться одним человеком. И если мать по каким-либо причинам не может выполнить своей священной обязанности, пускай это будет по крайней мере Арина Родионовна!¹

Когда известную итальянскую киноактрису Лучию Бозе спросили о ее творческих планах, она ответила: «Пока что я посвятила себя одной главной роли — роли матери...»

¹ Няня А. С. Пушкина.

Мне кажется, что роль матери хорошо понимали выдающиеся женщины-революционерки прошлого, женщины-ученые. Многие из них даже не имели детей, жертвуя материнством ради революции или науки. Но они не жертвовали детьми — отказывались от той ответственности, которую не могли взять на себя, ибо они уже взяли другую. Это драматическая ситуация, исполненная реализма в построении собственной жизни.

Вспомните биографию Женни Маркс, Софьи Ковалевской, многих других знаменитых женщин.

У нас же, к сожалению, часто получается так, что о детях начинают думать тогда, когда они уже факт, а не тогда, отнюдь, когда еще только планируется их жизнь (если она вообще планируется!). Я знаю случаи, когда некоторые студентки буквально перед дипломом обзаводятся детьми. Это безответственно.

Вы пишете, Инна: «Люди могут и должны быть счастливы. Их жизнь должна быть свободна от ситуаций, в которых обстановка противоречит чувствам, убивает их». Согласен. Вы спрашиваете: «Как это сделать? И возможно ли? И когда?»

Отвечаю: не надо самим создавать таких ситуаций, которые бы не учитывали реальную действительность. А это зависит, как правило, прежде всего от себя. Гораздо легче переносить любые трудности, когда идешь на них сознательно. Это ближе к счастью. Диоген и в бочке был счастлив... Потому что он знал, чего хотел и на что шел.

Совсем не надо мужу и жене всегда жить одинаковой творческой жизнью. Важно просто жить творческой жизнью. И если мать в течение определенного периода в силу естественных законов будет формировать личность нового человека, разве это не творчество? Специфика только разная.

Надо ли мне задавать такой вопрос: что важнее в человеческой жизни — созданное человеком или сам человек? На этот вопрос уже отвечено: женщины, которые посвятили всю свою жизнь исключительно материнству, в нашем государстве официально признаются героинями.

Я до сих пор ничего не говорил о юношах и мужчинах. Но они тоже должны быть психологически подготовлены к материнству своих любимых. Пускай это не кажется парадоксальным: юноша должен знать, что значит мать для малыша. И учиться любить и уважать в любимой Мать своего ребенка. Только в этом случае молодой женщине полностью откроется смысл и значение материнства, а молодой муж получит право сказать: «Да святится имя твое...»

А. Федоров.

Москва.

Р. С. Недавно я читал, что четверем больным пересадили почки от их матерей... Снимем же еще раз шапку перед матерью и поклонимся ей земно!».

И, НАКОНЕЦ, ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО, КОТОРОЕ ПОДВЕРГАЕТ СОМНЕНИЮ САМУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗВЕРНУВШЕГО СЯ НА СТРАНИЦАХ «ЮНОСТИ» РАЗГОВОРА.

«Надо воспитывать цельную личность, а не разбивать и насаждать каждое чувство в отдельности. Если у человека, прошедшего определенный жизненный путь, возникает вопрос, что такое чувство, то начинаешь сомневаться, способен ли на него этот человек.

Глубокие и настоящие чувства не требуют разглагольствований — на то это и чувства. И чем глубже они, тем меньше требуют слов. А если человеку все же понадобились слова, да еще: «Помоги, редакция, найти нужный ответ», — просто недоумевашь.

Хорошо ответил А. В. Луначарский на вопрос, что такое любовь: если этим интересуется молодой, я скажу — подожди, если старый — вспомни, а если человек средних лет — то его просто жаль.

Это, вероятно, относится ко всем разновидностям чувств.

Е. Сыркина, Д. Чикатунова.
Студентки.

Харьков.

Итак, надо ли поднимать темы, затронутые письмом Инны Н.? Ведь сами письма свидетельствуют, что по любым вопросам, тем более сложным, немисливо услышать в ответ стройный хор согласованных мнений: сколько голосов, столько и — продолжая сравнение — не согласованных между собою партий.

Однако же редакция ставит перед собой определенные практические цели, развязывая подобные беседы. Эти цели заключаются в том, чтобы заставить задуматься юношу или девушку над проблемами, о которых они никогда прежде не задумывались.

И в том, чтобы совместно обсудить их на страницах журнала. И, наконец, в том, чтобы привлечь общественное внимание к наболевшим вопросам.

Вот почему редакция намерена поместить в ближайших номерах журнала статьи ряда авторитетных лиц, ответственных за определенные области культурной и хозяйственной жизни. Поводом для этих выступлений послужит письмо Инны Н. и отклики читателей на него.

Действительно, разве не оказывают прямого влияния на молодую семью условия материальной жизни: квартира, бытовое обслуживание, магазины, парки, кинотеатры, кафе, где люди проводят свой досуг? И разве не имеют значения элементарные медицинские познания, которыми должны располагать вступающие в брак, а тем более ждущие ребенка?

Вот почему дальнейшее развитие начатого разговора редакция ожидает от известных специалистов градостроения, медицины, педагогики и других областей науки и хозяйства.

● Я. Буторина

На стендах
«ЮНОСТИ»

Эстонские графики в поиске

На всех выставках изобразительного искусства Эстонии выделяются произведения графики. Творчество таких мастеров, как Эдуард Вийральт и Айно Бах-Лийманд, является гордостью эстонской культуры. Их пример и влияние во многом способствовали яркому расцвету графики в советское время.

То и дело появляются новые имена, новые творческие индивидуальности. Большинство художников сейчас пользуется самыми различными графическими средствами (гравюра на дереве и линолеуме, офорт, литография), находя в них возможности для усиления выразительности, для более яркого воплощения увиденного, пережитого и передуманного.

На стендах «Юности» были экспонированы работы пяти молодых графиков. Самая старшая из них — Виве Толли; она выступает со своими произведениями на выставках уже десять лет. Начав с работ, близких по внутреннему строю творчеству Айно Бах, она вскоре нашла свой собственный путь. В ее искусстве чуткое отношение к изображаемому сочетается с некоторой суровостью; здесь находят вторую жизнь природа и люди родной Эстонии, их заботы и радости. В офорте «Штормовой день» (1965) люди тесной группой стоят на морском берегу, тревожно вглядываясь в бурное море. Сплоченность перед лицом стихии, ожидание ушедших, еще не вернувшихся рыбаков — вот что выражают их лица.

Главное в произведениях Виве Толли — человечность, поэтическое восприятие мира, в котором ее герои чувствуют себя уверенно и спокойно.

Эви Тихеметс интересуют порт-

рет, пейзаж. Ее работам свойственны сказочность и глубоко лирическое отношение к изображаемому, непосредственность, теплота. Радостное приятие мира привлекает и в листе «Принцесса Ту», и в портрете братьев Эскели, и в цветной литографии «Мать с ребенком». На редкость эмоциональны пейзажи Тихеметс, будь то «Промышленный мотив» или почти фантастический пейзаж с кораблем («Салацгрива»). Художница много экспериментирует, любит работать в литографии, находя в ней новые возможности, широко применяя линию и силуэт.

Свободное, смелое обращение с материалом, умение использовать его художественную выразительность типично и для других эстонских мастеров — Херальда Эльма, Хельдур Ларетей и Пеетера Уласа. Для ясного воплощения своих мыслей, своего видения они отказались от традиционного подхода к композиции графического произведения, применяют условную трансформацию предметов.

Очень привлекательны натюрморты Херальда Эльма. В них воплощено отношение современного человека к простым, обыденным предметам. Таковы «Натюрморт с грушами» и особенно «Натюрморт с рыбой». Поэтичность и прелесть юности раскрываются художником в цикле «Девушки». Гравюра на линолеуме «Старый Таллин» передает самый дух северного средневекового города, его неповторимость и обаяние.

Работы Хельдур Ларетей более драматичны, например, «Возвращение». Напряженная атмосфера, созданная резким контрастом черного и белого, сразу захватывает зрителя. Ощущаешь трагизм возвращения из плена, с войны, где

многие остались навсегда. Интерес к темам, требующим философского осмысления, характерен для Ларетей. Добрым юмором полны линогравюры «Мужчина с большой рыбой» и «Чайка на камне».

Сложная техника гравюры на линолеуме и гравюры на фанере использована в листе «Чайка».

Пожалуй, самыми сильными по внутренней насыщенности являются работы Пеетера Уласа. Тема моря, рыбаков волнует многих художников; не прошел мимо нее и Улас. На стендах среди других работ была показана линогравюра «Вечер в гавани». В тесной гавани сгрудились баркасы. Они напряженно замерли у берегов залива, а на фоне заходящего солнца сонм ласточек как бы поет гимн трудной, но прекрасной жизни.

В произведениях Уласа все предельно экспрессивно. Эпической силой веет от рисунков художника, сделанных на острове Муху. Природа поражает грандиозностью, с высоты открывается широкий морской простор, гористый передний план в сочетании с ним создает ощущение первозданности природы. Но эта суровая природа покоряется человеку.

Молодые эстонские графики не устанут экспериментировать, а только поиски, без которого немисливо подлинное творчество, способны двигать вперед искусство. Отраднo, что московские зрители увидели то новое, что сейчас определяет лицо эстонской графики, почувствовали человечность и подлинную красоту этого искусства.

(С некоторыми работами эстонских графиков наши читатели могут ознакомиться на 3-й стр. обложки этого номера «Юности».)

ПОЛЕТ

Начало этой суровой и трогательной истории связано с грозными днями осени 1941 года, точнее, с одной из боевых операций в ночь с 3 на 4 октября.

Мне довелось в качестве корреспондента фронтовой газеты «Боевой товарищ» лететь на тяжелом бомбардировщике в далекий тыл врага, на Гомель.

Задание, хотя и сопрягалось с серьезными трудностями, выполнено было в целом удачно. Машина, правда, вернулась на аэродром с пробоинами, но экипаж решил поставленную задачу.

Об этом полете я безотлагательно написал заметку, отослал ее в газету «Правда», где она и была вскоре напечатана под названием «Друзья капитана Гастелло».

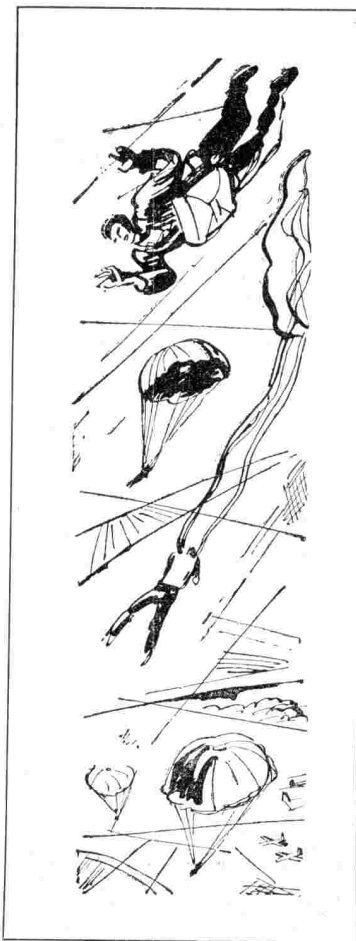
Казалось бы, нет смысла возвращаться к минувшему. Но время диктует иначе: есть смысл, даже есть нужда. Более того, если бы я, как участник полета, не возвратился к давнему ночному рейсу, я посчитал бы себя сегодня похитителем истины.

Дело в том, что тогда, по условиям строжайшего соблюдения военной тайны, я не мог, не имея права ни единым словом обмолвиться о грузе, который везла наша крылатая машина в далекий неприятельский тыл. А груз содержал в себе не только тонны тяжелых и мелких осколочных бомб, но включал в себя, так сказать, и живой вес — группу десантников-парашютистов в составе четырнадцати человек.

Помню, что это были крепкие, низенькие и коренастые ребята, комсомольцы-добровольцы из города Горького, «готовые и к смерти и к бессмертной славе». Нельзя было не удивляться и не восхищаться, глядя на этих стриженных мальчиков, сосредоточенно, в сотый раз проверявших на себе громоздкую амуницию, изредка перебрасывавшихся сторожкими шутками.

Командиром группы летел более старший по возрасту Владимир Николаевич Рябинин, с которым я познакомился еще до полета. Мы с ним обменялись адресами и условились, что, если останемся живы, обязательно постараемся встретиться после войны, отыскать друг друга.

Перелетев линию фронта, благополучно миновав огневой заслон



вражеской зенитной артиллерии, отбомбившись, самолет вошел в полосу кромешной тьмы и примерно через час-полтора полета стал снижаться. Сидя в штурманской рубке, я заметил, как с земли встала лиловая сигнальная ракета, обозначившая участок выброса десанта. На глубоком вираже десантники спокойно, словно они с берега прыгали в мирную волжскую воду, а не в аспидную бездну, поочередно покинули машину, и она легла на обратный курс.

Я вышел из штурманской рубки и увидел странное зрелище: один из десантников, оставшийся почему-то в самолете, плакал горькими слезами. Крупные, как бобы, слезины часто катились из его глаз, и он старательно подбирал их пухлой, по-детски розовой нижней губой, глотая соленую влагу, не давая ей скатываться на новенькую гимнастерку. На мой участливый вопрос о том, что же

НА ГОМЕЛЬ

случилось, на строгий вопрос стрелка-радиста юный боец сначала не отвечал: рыдания не давали ему говорить.

И удивительно, конечно, было видеть эту немыслимую картину: навзрыд плачущего парня, вооруженного пистолетом, финским ножом, рацией и взрывчаткой.

Что же произошло? Через минуту все выяснилось. Оказывается, перед самым прыжком у молодого десантника вышел из строя парашют. Бессмысленной неразберихой матерчатых складок и путаницей строп лежал его парашют возле люка.

Нет, солдат не боялся ни обратного пути через линию фронта под обстрелом, ни заслуженного наказания за неряшливое отношение к снаряжению. Не это страшilo его и мучило. Его угнетала неотвязная мысль: вдруг ребята из десантной группы подумают, что он сдрейфил в решающий миг, увильнув от боевой комсомольской клятвы! Весь экипаж близко к сердцу принял горькую тревогу честного, гордого воина, все, в том числе я, подтвердили готовность удостоверить причину печального недоразумения. Как могли и сколько могли, мы развевали мрачные думы юноши. Мы сделали все, что было в наших возможностях, мы только не в состоянии были сделать одного: не могли гарантировать, что комсомольцы не подумают о возможной трусости своего товарища.

И самое страшное состояло в том, что десантники могли никогда и не узнать правду, ибо, прыгая в логово врага, парни шли на смертельную схватку, на подвиг самопожертвования.

Когда самолет вернулся на базу, я с чувством какого-то томительного беспокойства, грустно и неловко распрощался с симпатичным неудачником, которого, кажется, звали Геннадием.

На фоне бесчисленных фронтовых событий, среди сотен и тысяч подчас потрясающих по своей самоотверженности фактов воинской доблести, среди массового героизма военной поры постепенно забылся нелепый и обидный случай с юным бойцом.

Кончилась война, затянулось дымкой, отдалилось минувшее. И вот однажды, спустя много лет,

в Москве на моем рабочем столе раздался телефонный звонок.

— Простите, это Сергей Александрович Васильев?

— Да, я у телефона.

— Вы поэт Сергей Васильев?

— Так точно!

— А вы помните, как летали на «ТБ-3» из-под Юхнова на Гомель?

— Еще бы! Я этот полет никогда не забуду... Я же, когда летел, трепетал, как кролик, хотя пытался выглядеть бравым парнем!

— Ну так я Рябинин, с которым вы сговорились увидеться, если оба будем живы!

— Ясно!

...До рассвета рассказывал пришедший ко мне Владимир Николаевич, как ему пришлось действовать в тылу фашистских войск, какие испытания выпали ему на долю, сколько пришлось перенести в борьбе с захватчиками. Руководить партизанскими вылазками, жечь мосты на пути у врагов, карать предателей и поддерживать дух честных советских граждан, оказавшихся в ярме насильников, голодать и холодать, вязнуть в бо-

лотах и все же не отступать от намеченной цели.

Теперьшее его положение механика в одном из белорусских совхозов, весь его сугубо штатский облик: никак, разумеется, не выдавали в нем вчерашнего грозного вожак вооруженных народных мстителей. Непосвященному человеку Рябинин вообще мог показаться скорее флегматичным тихоней, чем смельчаком.

И только орден боевого Красного Знамени, горевший на лацкане его пестрого пиджака, свидетельствовал о героической биографии бывшего партизана.

Не один раз мы возвращались в разговор к дню нашего знакомства. Между прочим, Рябинин бросил:

— Все мои подопечные, прыгнувшие тогда темной ночью с «ТБ-3», показали себя молодцами... А один все-таки оказался гадом...

— Неужели? Что же он сделал?

— Да ну его к дьяволу... Даже вспоминать противно...

— Нет уж, рассказите!

— Струсил, мерзавец, прыгать на парашюте. Опоганил всю группу. Если бы я его сейчас увидел, я бы не знаю, что с ним сделал... А ведь был комсомольцем!

Я замер. У меня вдруг перехватило дыхание. Я вскочил из-за стола, словно меня ударили по лицу.

— Позвольте, позвольте, Владимир Николаевич! — закричал я, не в силах сдержать волнение. — Этот парень не виноват перед товарищами! Это не парашютист-комсомолец предал своих боевых друзей, а парашют оказался изменником!..

И я с горячностью, задыхаясь от нахлынувших воспоминаний, подробно изложил все, что видел в самолете в ночь с 3 на 4 октября 1941 года.

Суровое лицо Рябинина подобрело. В его улыбчивых глазах я увидел счастье. Это было счастье и его, и мое, и того чистого, ясного паренька, которому время вернуло его боевую человеческую честь.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

У каждого есть своя навязчивая идея. Например, увидеть столб Европа — Азия. Или выучить английский. Я же хочу найти гнездо белого журавля. Его называют еще стерхом, а в Якутии, куда мы летим, — каталыком.

Я собираю яйца птиц, или, как говорят орнитологи, кладки. Правильно собранная и документированная кладка — это научный материал, который очень важен для людей, изучающих жизнь птиц, то есть для орнитологов. А по профессии я и есть орнитолог. Но почему именно стерх так привлекает меня? Нигде в мире, кроме Яно-Индигирских тундр, он не гнездится. Стерх вообще одна из самых загадочных птиц нашей фауны. Мало кто видел живого стерха, а его гнездовая область выяснена совсем недавно. Предполагается, что на всем земном шаре сохранилось лишь около 450 пар белых журавлей. Недаром стерх внесен в знаменитую «Красную книгу» — международный список вымирающих животных.

Впервые я видел стерха в тургайских степях. Мы жили в ту осень на берегу озера — наблюдали перелетную птицу. Три стерха появились неожиданно: огромные, белые, лишь концы крыльев черные. Описав широкий полукруг,

Я ВИДЕЛ



ГНЕЗДО СТЕРХА

птицы опустились среди лебединой стаи. Четыре года спустя я сидел у небольшого лесного озера, отдыхал после долгих блужда-

ний по баргузинским болотам. Я слушал, как плескались на мелководье ондатры, и вдруг над самой головой — тихое, предостерегающее «кrrррум». Поворот головы — и вот они, два стерха, так близко, что отчетливо видны красные клювы и «лица», видно, как, чуть склонив головы, стерхи рассматривают меня. До ружья я, конечно, не дотронулся. Эти стерхи спешили из Индии на гнездовье, в тундру. И вот теперь я лечу в тундру, в сердце журавлиного края, для изучения болезней разных животных. Но «за пазухой» — мечта о стерхе. Повезет ли?

Конечный пункт нашего путешествия — поселок, или, как говорят в Якутии, наслег Берелях. В пути сменяем московский «ИЛ» на «МИ-4» и еще долго летим над тундрой, над озерами. Хорошо вижу уток, чаек, гагар. Но едва мы вошли во вкус наблюдений, кабина вертолета накренилась, замелькали двойные полосы тракторных следов, пронеслась какой-то сарай, лошади — и сразу под нами правильный ряд домов на берегу реки, бегущие люди. Берелях!

На снимке: птенец стерха. Этот уникальный снимок удалось сделать якутскому зоологу В. Перфильеву.

Олени, которых мы должны обследовать, уже на летних пастбищах, в районе реки Хромы, километрах в ста от поселка. Да, туда послезавтра едет группа пастухов. Лошади? Дадим. Каталык? Есть, только мало, очень мало. Как повезет. Гнезд не находили, но если поискать, отчего не найти?

Едем по кочкарнику, по воде. Да еще льет дождь. Намокают перчатки, разбухают, становятся скользкими и противными. Потом дождь пробивает плащ. Наконец вода начинает стекать в сапоги. Даже мысли о встрече со стерхом уже не греют. В ту ночь — мы провели ее в яранге, забившись в спальные мешки, — мне снилась лишь вода да кочки.

Потом было солнечное утро, и тундра сразу ожила. Путь наш — самая ломаная линия на свете. Дело в том, что весной протоки между озерами разливаются, и нужно очень хорошо знать местность, чтобы найти брод. Но оленеводы ориентируются в тундре, как дома. На третий день мы благополучно достигли Хромы, где кочевали стада. Еще два дня ушло на то, чтобы взять кровь у оленей для исследования — работа не сложная, но утомительная. И, наконец, в сопровождении пастуха Володи Слепцова, молодого парня, только что вернувшегося из армии, налегке двинулись назад. Тут-то и начались стерхи. На желтой равнине, далеко впереди, я вдруг отчетливо вижу белую точку. Каталык! Вероятно, самец стоит на страже. А самка где-то сидит на гнезде, ее, конечно, не видно: до журавля километра три.

Некоторое время двигаемся слепо: без бинокля стерх не виден, слишком далеко. А потом уже видим, как оба журавля высоко летят, оглябля нашу кавалькаду, затем снижаются и садятся на тундру. Теперь сомнений нет: раз такие осторожные птицы сели на глазах у людей, — гнездо где-то поблизости.

Но напрасно исколесили мы все болото (желтая равнина вблизи оказалась болотом: воды по колено, еще хорошо, что дно мерзлое!). Напрасно загоняли лошадей по брюхо в воду, чтобы осмотреть островки на соседних озерах. Нет никакого гнезда. А между тем мы твердо знали, что оно тут, где-то рядом. Наконец решаем, что я останусь следить за журавлями, а остальная публика демонстративно, чтобы видели птицы, уедет в

сторону поселка. А на следующий день Володя приведет мне лошадь.

На сухом месте, среди кочек и жестких кустиков ивы, расстилаю спальный мешок. Сняв сапоги, забираюсь в него с головой, так что смотрю теперь, как из норы. Передо мной болото, где в первый раз был замечен стерх. Журавли где-то сбоку и сзади. Мысленно вижу, как настороженно провожают они взглядом удаляющихся всадников. Нужно ждать, может быть, долго. После бессонных суток подступает дремота, хотя и кажется, что лежишь на льду.

В выслеживании гнезд редких крупных птиц заключена особая прелесть. Саму-то птицу увидишь случайно, мельком, может быть, раз в жизни. А уж гнездо и подавно. Его ведь прячут. И крупные птицы особенно осторожны именно у гнезда. Журавль, например, гнездится так, чтобы обзор был хороший, а при появлении опасности обязательно отбежит, пригнувшись, метров на сто и лишь затем демонстративно поднимется. Попробуй, поищи гнездо!

Что-то долго не видно моих стерхов. Ведь уже три часа прошло, пора бы им вернуться: яйца могут застыть. Ладно, померзну еще час, а там... Что же могло случиться? А может, яиц в гнезде нет? Может, журавли разыгрывали нас? Или, потревоженные нашими поисками, они бросили кладку? Бывает ведь такое! Или они незаметно облетели холм сзади и увидели меня? Хотя сапан, сидящий на вершине бугра, на что уж беспокойная и хитрая птица, а не обращает внимания на мой мешок. Больше нет сил терпеть: слишком холодно. Вылезаю из мешка и лежа натягиваю сапоги. Не только подныться, но даже сесть нельзя: все дело испортишь.

Надо увидеть журавлей раньше, чем они меня обнаружат. Медленно ползу, прячась за бугор, через каждый метр осматривая в бинокль вновь открывающиеся участки болота. Из-под колен выступает холодная вода — это на сухом-то месте! И наконец, о радость! Вот он, стерх, стоит величаво среди кустиков ивняка, совсем не там, где мы его уже видели и где я ждал его появления. Во всей позе птицы чувствуется спокойствие, ощущение безопасности. Так, наверное, стерх стоял, когда по земле еще не ходили люди. Вот журавль делает несколько шагов и, нагнувшись, что-то рассматривает под ногами. Но он

один — где же самка? И тут у меня останавливается сердце: метрах в ста от журавля из травы торчит белая палка! Это может быть только шея, сидящей на гнезде самки! Теперь спокойно. Ни одного неверного шага! Прежде всего — убедиться, что самка на гнезде. Может быть, птица вовсе и не сидит, просто тело ее скрыто кустами ивы? Замечаю несколько кустов впереди и сзади журавлихи. Она — вернее, ее шея, — по-прежнему неподвижна. Ну, попробуем!

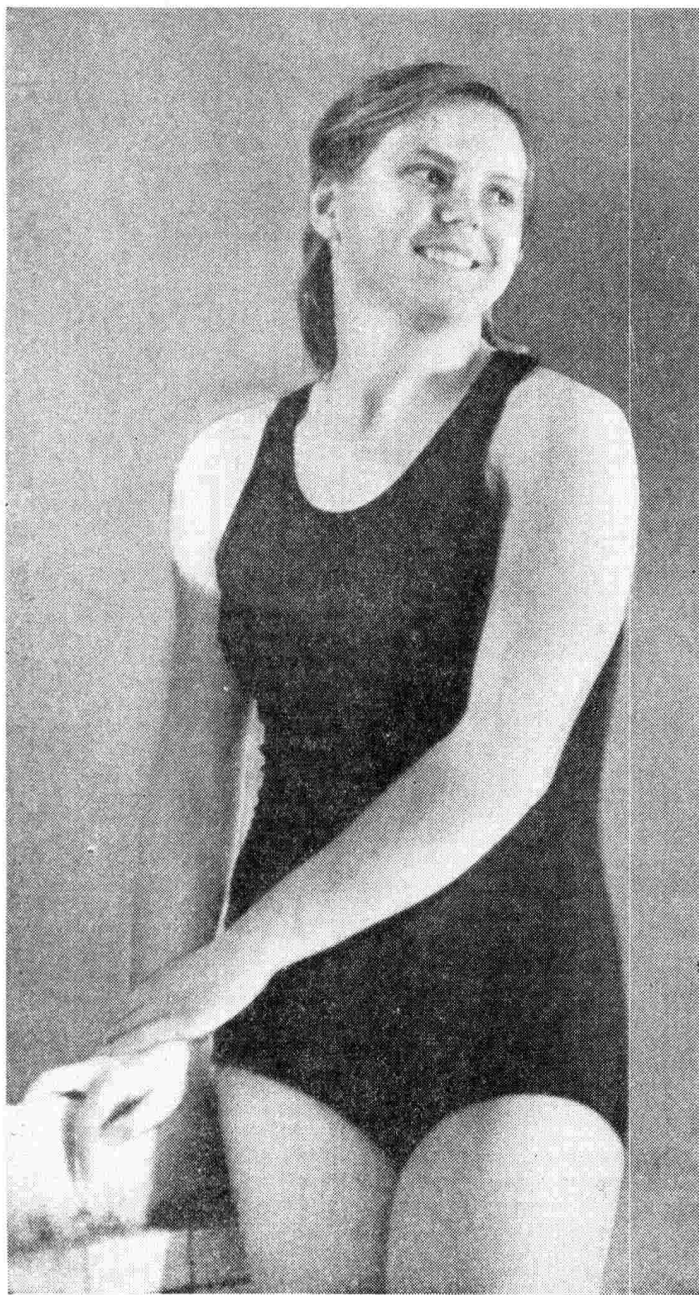
Медленно, не отрывая бинокля от глаз, начинаю подниматься. В течение нескольких секунд ничего не меняется, затем вдруг птица решительно встает. Заметила! С минуту она неподвижна, потом шея пригибается к земле, и птица, чуть присев, быстро, но довольно спокойно выходит из поля зрения. До нее около километра. Я сбегая с бугра и, не спуская глаз с противоположной горы, шлепаю по болоту. Ближайшие ориентиры сейчас же пропали, но я не беспокоюсь: до гнезда еще далеко. Вода выше колен, потом она наливается в сапоги. Лишь бы не было протоки выше пояса! Через пятнадцать минут я у края поляны, среди ивняка, где сидела самка. Гнездо где-то здесь. Впереди небольшое возвышение, плоская кочка — не там ли? Нет, пусто, обыкновенная кочка. Становлюсь на нее — так обзор намного шире. И совершенно отчетливо вдруг вижу совсем близко и гнездо и два крупных яйца в нем! Несколько прыжков по воде, и вот я стою над гнездом белого журавля! Ничего не изменилось кругом, ярко светит солнце, на дальнем озере кричит гагара, тундровый день идет своим чередом. Но я твердо знаю: сейчас на земле я самый счастливый! Передо мной одна из интимнейших картин природы, одна из страниц уходящей истории, зрелище, которого не видел почти никто!

Я дотрагиваюсь до зеленоватых с рыжими пятнами яиц. Они еще горячие. Зацепившись за стебель осоки, трепещет на ветру белое перышко — последний след покинувших гнездо птиц. А потом... потом я кипячу на бугре чай в консервной банке, сушу сапоги и жду обещанную лошадь. На разостланном спальном мешке лежат два великолепных яйца, и, все еще не веря себе, я то и дело осторожно дотрагиваюсь до них рукой.

Владимир ФЛИНТ

СПОРТ

на приз "ЮНОСТИ"



В прошлом году в июньском номере мы сообщили, что редакция нашего журнала учредила спортивный приз «Юности» — самому молодому чемпиону страны.

Итоги года подведены. Редакционная коллегия «Юности» присудила приз московской школьнице Тамаре Сосновой, которая в 15 лет стала чемпионкой страны в плавании вольным стилем на дистанциях сто и четыреста метров.

Самая юная чемпионка страны — Тамара Соснова.

Фото Н. Хорунжего.

ГОД РОЖДЕНИЯ 1949

Надо признать, что борьбу за приз «Юности» спортсмены вели в крайне неравных условиях. Приз присуждается самому юному чемпиону или чемпионке страны 1965 года (в олимпийских видах, в индивидуальном зачете). Но, конечно, самый юный штангист или яхтсмен не мог бороться на равных за приз, допустим, с Галиной Прозуменщиковой!..

Справедливость будет отчасти восстановлена в этом отчете: будут названы самые юные чемпионы и в самых «возрастных» видах спорта. Но с точки зрения «Юности» все же вполне справедливо выделить самых юных среди всех чемпионов. Как же шла борьба за приз «Юности»?

В начале марта в Горьком 27-летний Виктор Косичкин стал сильнейшим конькобежцем страны в беге на 10 тысяч метров.

В интервью после финиша Виктор сказал:

— Молодежь что-то не очень агрессивно наступает, не теснит нас, которых уже называют ветеранами.

К этому лишь можно добавить, что прошлогоднему чемпиону мира норвежцу Пер-Ивару Му было 20 лет!

7 марта на Большом горьковском трамплине золотую медаль чемпионы страны по прыжкам на лыжах впервые завоевал 18-летний Михаил Веретенников. А спустя неделю на склонах Чегета 19-летняя Нина Меркулова победила сильнейших горнолыжниц страны на трассе гигантского слалома.

Борьбу за наш приз повели те, кому нет еще двадцати.

Киев. Чемпионат страны по фигурному катанию. Юные фигуристки проигрывают опытной Тамаре Москвиной, но в одиночном катании у мужчин побеждает сверстник Михаила Веретенникова — Александр Веденин.

И еще один лыжник. На этот раз гонщик. Под занавес зимнего сезона 23-летний Анатолий Аментьев побеждает на дистанции 15 километров. Пусть не смущают вас его 23 года. Анатолий ведь гонщик! О лыжной гонке и, в частности, об Анатолии Аментьеве рассказывает в этом же номере «Юности» спортивный журналист Игорь Немухин.

В конце марта на ринг московского Дворца спорта вышли боксеры. Однако единственный серьезный претендент на приз «Юности», — Лев Эстрин проиграл в финале Олегу Григорьеву.

В мае соревновались штангисты. По мнению Юрия Власова, золотой возраст штангиста — 28—32 года. Однако полусредневес Виктор Куренцов стал в 24 года не только чемпионом страны, но и мира, выступив гораздо удачнее многих своих старших товарищей по сборной. К тому же в Ереване на первенстве страны Виктор установил новый мировой рекорд в сумме троеборья — 450 килограммов.

Между тем пришло лето, а в борьбе за наш приз по-прежнему лидировали два зимних чемпиона: Михаил Веретенников и Александр Веденин.

Ничего не изменили июньские состязания фехтовальщиков в Каунасе. История фехтования знает чемпионов мира и в 50 лет (венгр Геревич) и в 18 (француз д'Орнот). Самый молодой наш чемпион прошлого года — 24-летний олимпиец Григорий Крисс.

В июне настала пора гимнастов. И лидерство в борьбе за приз «Юности» перешло к ленинградской школьнице Наташе Кучинской, получившей высший балл в упражнениях на бревне. Год рождения Наташи — сорок девятый!

Июль. Чемпионаты велосипедистов и конников. Любопытно, что гонщик Омари Пхакадзе (21 год), проиграв первенство страны, стал затем первым советским спринтером — чемпионом мира!

У конников на наш приз нацелился было Владимир Лындия, которому едва исполнилось семнадцать. На своем Гроссе Володя выиграл соревнование по преодолению шести препятствий. Но... золотая медаль за эту победу в прошлом году не присуждалась.

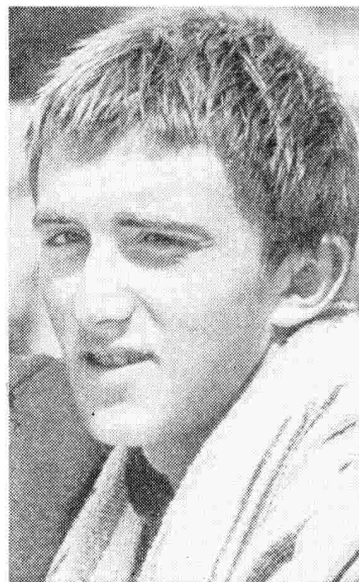
Теперь все решали пловцы, чемпионат которых начался 25 августа в Харькове. Сегодняшнее плавание — спорт самых юных. Из почти пятисот спортсменов, собравшихся в Харькове, семьдесят девять родились, как и Наташа Кучинская, в 1949 году! Самой же юной участницей соревнований была 12-летняя мастер спорта Ира Позднякова.

Финальные заплывы на 100 и 400 метров вольным стилем закончились победой московской школьницы Тамары Сосновой. А другой московский школьник, Андрей Дунаев, победил в комплексном плавании на 400 метров. Год рождения и Тамары и Андрея — сорок девятый!

Выиграла свое золото и Галина Прозуменщикова, но наша юная олимпийская чемпионка уже «ветеран» плавания, ее год рождения — сорок восьмой.

В сентябре — октябре соревновались гребцы, яхтсмены, борцы, прыгуны в воду, стрелки, легкоатлеты.

Очень молод (24 года!) для чемпиона-яхтсмена рулевой «Летучего голландца» Лев Рвалов. 20 лет борцу вольного стиля Таризю Алибегашвили и стрелку из пистолета



Андрей Дунаев.

Фото Ю. Маргулиса.

Стаиславу Францевскому, 18 лет чемпионке по прыжкам в воду с трамплина Елене Анохиной.

Перспективен двадцатилетний бегун Олег Райко. Обойдя на последних метрах полутораклометровой дистанции опытного Вильта, он выиграл первую в своей жизни золотую медаль. Олег мечтает о всесоюзном рекорде, а его конечная цель — стартовать на 5 000 метров.

В конце ноября, на этот раз в московском Дворце спорта, вновь встретились сильнейшие гимнастки, чтобы бороться за звание абсолютной чемпионки страны. И опять — Наташа Кучинская! Она выиграла это звание в упорной борьбе с Полиной Астаховой.

Итак, подведем итоги. На приз «Юности» претендуют трое: Наташа Кучинская, Тамара Соснова и Андрей Дунаев. Все они родились в 1949 году.

Но кто же все-таки первый? Кто из троицы всех моложе?

Тамара Соснова родилась в декабре и стала чемпионкой в 15 лет.

Андрей Дунаев родился в мае. Наташе Кучинской «не повезло» — она старше всех, родилась в марте.

Приз «Юности» — у Тамары Сосновой!

Н. САМОЙЛОВ

ТАМАРА, АНДРЕЙ И НАТАША ДАЮТ ИНТЕРВЬЮ

Эти чемпионы еще сидят за партами, но карту мира знают уже не только по атласам.

В шестнадцать — они уже кумиры болельщиков. Не слишком ли рано они повзрослели? Не слишком ли они дети, чтобы быть кумирами? Но так или иначе — это закономерно. Век не тот, чтобы засиживаться на старте.

Тамара Соснова рассказывает:

— Если не плаванием, то я занялась бы лыжами. А если бы не стала спортсменкой, то, наверно, играла бы на пианино.

Спорт приносит мне радость, но я многого из-за спорта не успеваю. Я редко хожу в театр — в кино, правда, чаще. Мало времени остается на книги, а я очень люблю книги. Сейчас читаю «Сагу о Форсайтах». Очень нравится. На телевизор тоже времени не остается, но это не так жалко. Тренировки ежедневно. После тренировок мне обычно хочется спать, но спать нельзя: надо делать уроки.

Мне надо еще очень много стараться, чтобы подняться до мировых результатов. А борьба с каждым годом возрастает. Сзади много молодых, которым по 13—14 лет. Да и «старушки» еще поплавают.

— А вы еще не «старушка»? — спрашиваю у Тамары.

— У меня средний возраст — так можно сказать.

— Вы помните свой самый радостный день?

— Это было в шестьдесят четвертом году, когда я впервые стала чемпионкой страны — 400 метров выиграла.

— Почему вы занялись именно плаванием?

— Это было совершенно случайно. Мне было восемь лет тогда. Как-то вечером никого не было дома. И сестра Галя — она на шесть лет меня старше — сказала: «Идем со мной в бассейн». А в бассейне Галя сказала: «Хочешь попробовать?» Я смотрела в воду, и мне казалось, что там ужасно глубоко и я утону. До этого я никогда не плавала... Потом, когда Галя стала чемпионкой страны, я

ей ужасно завидовала. А она говорила: «Тренируйся». Я тренировалась и в 13 лет стала мастером спорта.

— Насколько помог вам тренер?

— Сычев? Владимир Васильевич? Я его очень уважаю. И как человек он просто исключительный.

— А кто еще исключительный человек?

— Еще? Светлана Бабанина. Она для меня идеал спортсменки. А как работает! Просто нет слов. Молодец!

Тамара — то чемпионка, которая знает, ценой какого труда достаются победы, то самая обычная девочка-школьница. Вот я спрашиваю:

— Что вы любите, Тамара?

— Люблю считать этажи, конфеты «Маска» люблю, люблю собак, хотела бы иметь овчарку, но очень боюсь овчарок, племянника своего Алешу — ему два года — еще люблю, очень люблю!

— А самое большое ваше желание?

— Хотела бы жить в XXV веке, когда люди будут совершеннее, умнее...

— Какой недостаток вы не прощаете?

— Ложь.

— Ваш любимый литературный герой?

— Печорин.

— А кем вы хотите быть, Тамара?

— Я люблю литературу, хотя мне очень интересно и на уроках физики. В каком институте хочу учиться? Не знаю. Еще не решила.

Ожидая в бассейне «Москва» Андрея Дунаева, я познакомился с его тренером Борисом Ананьевым.

— У Андрея средние данные, но он очень любит спорт, предан спорту. Очень честолюбив и уверен в себе. Даже слишком уверен. Но это позволяет ему не бояться соперников. Что значит предан спорту? Никогда не нарушает режим, например. Был, правда, случай, когда он лег спать в 12 часов — встречал праздник. Я об этом узнал, и мы крупно поговорили...

Так говорил тренер. А затем я убедился, что Андрей, давая интервью, столь же уверен в себе, как и на водной дорожке.

— Один раз нарушишь режим, еще ничего не случится. Но важен принцип. Без режима никем не станешь. Один день я ложусь спать в девять, другой — в десять часов. И успеваю все, что надо: плавать,



Наташа Кучинская.

Фото Б. Светланова.

учиться в школе, читать, слушать музыку...

— У Тамары Сосновой отец спортсмен. А у вас?

— Мой отец — участник первого чемпионата страны по плаванию. Просто участник, чемпионом он не был. По профессии он инженер. Мама же была балериной, сейчас — хореограф. Я хотел тоже поступить в училище Большого театра, но 4 сентября шестьдесят первого года пришел сюда, в бассейн «Москва»... Число «4» — самое для меня счастливое. 4 сентября шестьдесят второго года я выполнил первый разряд, 4 сентября шестьдесят четвертого года стал впервые чемпионом страны.

— Ваш идеал спортсмена?

— Австралийский пловец Роуз. Когда все говорили, что он стар и больше ничего не добьется, он опять выиграл олимпийскую золотую медаль. Роуз разработал современную методику плавания, методику больших нагрузок. Наш тренер ее знает. И вообще лучшего тренера, чем Ананьев, не бывает.

— Ваша ближайшая цель?

— Надо выиграть очередное первенство Союза и попасть в сборную команду, чтобы поехать на первенство Европы. А дальше — Олимпийские игры... Если выдержу тренировки, то скину те секунды,

которые отделяют меня от мирового рекорда. А сейчас весь упор — на первенство Европы...

— А когда окончите школу?..

— Я буду спортивным врачом.

Поговорить с Наташей Кучинской мне удалось лишь в автобусе, который вез на вокзал ленинградских гимнастов. Абсолютная чемпионка страны только что опустила флаг первенства. Она была еще взволнована и, конечно, счастлива. Но каково же было мое удивление, когда Наташа сказала, что чемпионкой должна была стать Полина Астахова, если бы не ее случайный срыв на бревне...

— Астахова очень лирична, человечна, — влюбленно говорила Наташа.

Затем Наташа сказала, что она хотела бы поступить в театральное училище, но как совместить театр и гимнастику? Гимнастикой она намерена заниматься до тридцати восьми лет!

И тут я имел неосторожность спросить Наташу: какой актер ей больше всего нравится?

— Смоктуновский сыграл Гамлета, конечно, очень своеобразно, но потом я увидела исполнение Рецетера и поняла, что лично я именно так представляю Гамлета... Я не умею анализировать, но...

Когда мы подъезжали к Ленинградскому вокзалу, Наташа рассказывала, как она ловит щук, когда папа берет ее на рыбалку!

Поговорить о гимнастике мы не успели. Зато Наташа пообещала, что все, что она думает о гимнастике и о жизни вообще, она изложит в письменном виде и пришлет в редакцию «Юности». Свое обещание Наташа сдержала, и в одном из ближайших номеров журнала ее записки будут опубликованы.

Три интервью с шестнадцатилетними чемпионами, три совершенно различных шестнадцатилетних человека. Все трое равно убеждены, что век не тот, чтобы засиживаться на старте. Может, поэтому они и стали чемпионами уже в шестнадцать?

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ

● Игорь Немухин

РАДОСТЬ ГОНКИ

В детстве я мечтал походить на отца — чемпиона по лыжам, художника. Представьте мальчишку, выросшего в квартире, где всегда немного пахло просмолкой для лыж и красками.

Отец не был уверен, что из меня получится чемпион, но все же привел меня в детскую секцию ЦДКА. Он считал, что спорт вреда не принесет, а бездарный художник — явление социально опасное.

Три раза в неделю, а то и чаще гонял я на лыжах по аллеям Сокольнического парка и с презрением смотрел на мальчишек, которые прикручивали лыжи веревками. Мы же в секции бегали на сияющих, как скрипка, лыжах «Экстра», крепленных намертво «Рота-феллами», щеголяли в голубых свитерах с красной звездой на рукаве — эмблемой клуба.

Моей спортивной карьере помешала война. И хотя я вернулся к спорту после демобилизации и довел свои лыжные до размера кузнечных мехов, но чемпионом не стал — время было упущено. Я стал журналистом, спортивным журналистом. И вот уже двенадцать лет каждую зиму, хотя взаимной любви у

нас не получилось, пишу только о лыжах.

Уже много лет мне снится один и тот же сон: я снова стартовую на свою любимую пятидесятикилометровую дистанцию и иду по лыжне так же легко, как и в молодости. Это смущает: я ведь давно не тренируюсь. Но радость от гонки остается и после пробуждения. К сожалению, финишировать во сне мне еще ни разу не удалось, а то, наверное, я давно бы стал чемпионом... Ничего, все еще впереди... Пока же я спешу на чемпионаты страны, мира, Олимпийские игры как журналист. Мне трудно, я сознаю свою профессиональную неполноценность: вопреки всем нормам журналистской этики я не вполне объективен.

Не знаю, может быть, это смешно, но порой я меряю лыжный спорт своей довоенной меркой. Тогда для меня, мальчишки, впрочем, как и для взрослых лыжников, соревнования были событием, большим, радостным праздником. Чувство радости гонки я сохранил до сих пор.

Я понимаю, что лыжный спорт уже иной: возросла скорость, возросли нагрузки. На тя-

желых подъемах сейчас лыжники стонут, преодолевая усталость, вызванную бешеным темпом. Двадцать лет назад так «выкладываться» не умели.

Но все же и сегодня, я знаю, есть лыжники, которым самая тяжелая, самая головоломная гонка приносит радость. И, мне думается, ощущение радости — верный предвестник победы.

Вспоминается эстафета на последних Олимпийских играх в Инсбруке. Хорошо провел первый этап Иван Утробин. На втором — Геннадий Ваганов вырвался вперед. На третьем этапе Игорь Ворончихин упустил было норвежца Ёстбо, но за четыре километра до финиша, на подъеме, убежал от него.

Последний, решающий этап шел наш ветеран Павел Колчин. В маленьком домике близ трассы, где он готовился к старту, стояла включеннаярация. Не знаю, что повлияло на Колчина: может быть, волнение тренеров, кричавших в эфире, что норвежец обошел Ворончихина, а может быть, тяжкий груз ответственности. Техника Павла всегда привлекала легкостью, изяществом. Его длинный, скользящий шаг при небольшом росте создавал иллю-

зию парящего бега. Но на этот раз Колчин не бежал — убега л. На все его движения наложило тяжелую печать нервное напряжение. Он убегал от гиганта норвежца Грэннингена, который рьяно мерил лыжную своими длинными шагами.

Норвежец не соперник. Я это понял, стоило мне увидеть искаженное лицо Грэннингена, его выпученные глаза. А дыхание норвежца я услышал задолго до того, как увидел его на лыжне.

Прошло еще несколько томительных секунд, и мимо меня прошел тандем: впереди финн Мянтюранта — уже двукратный чемпион этой Олимпиады и швед Рённлунд — чемпион мира. Непокоримо спокойное лицо финна контрастировало с веселой физиономией шведа. В этой чуть беззаботной улыбке отражалась золотая медаль.

Что потом произошло на лыжне, я узнал из сообщений наших тренеров по радио. Когда Грэннинген обошел Колчина, финн и швед были рядом.

Последний финишный спуск. Он, как косой шрам, режет лесистую гору. Первым катился по просеке швед. Его белоснежный костюм потемнел на спине и поясице — пот, обильный пот. Но он все же улыбался.

С интервалом метров в тридцать невозмутимо скользил Мянтюранта. Третьим был Колчин, а норвежец отстал уже безнадежно.

Я не был на чемпионате мира пятьдесят четвертого года в шведском городе Фалуне, когда Владимира Кузину за победу в гонках на 30 и 50 километров нарекли «королем лыж». Но уже через два года, на Олимпийских играх в Кортина д'Ампеццо, позабыв о том, что представляю газету, я до хрипоты кричал Кузину, когда он нес нашей команде золотые медали в эстафете 4×10 километров. В Кортина д'Ампеццо наши мужчины выступали столь же удачно, как и в Фалуне.

А потом, на следующих чемпионатах, вместо золота пошло серебро, потом бронза, да и то в весьма ограниченном количестве.

Помню, в 1958 году в финском городе Лахти я подтрунивал над ребятами, которых миновала удача:

— Как же это получается? Тренируетесь круглый год, столько сил убиваете. А я вот



Лидирует Анатолий Акентьев.

Фото В. Светланова.

несколько месяцев не вставал на лыжи, и все же четвертое место на первенстве мира.

Я действительно был четвертым в Лахти... Как это произошло? Однажды в разгар чемпионата шеф пресс-бюро вручил мне бумажку. Черным по белому там было изложено следующее: «Господин Немухин, мы надеемся, что Вы примете участие в первенстве мира по лыжам среди журналистов, имеющее быть в Лахти на лыжне чемпионата. Дистанция 5 километров. Старт в 8 часов утра».

Я не спал всю ночь: волновался. К месту старта пришел за полчаса и застал там не менее полусотни невыспавшихся коллег. Лыжи мне смазал экс-чемпион Финляндии Ванинен, с которым я познакомился накануне в пресс-баре. И лыжи скользили отлично. Разминаться я побоялся, вполне резонно полагая, что силы следует беречь.

Первый крутой подъем я проехал на «старых дрожжах». Но от вершины первого подъема начинался второй, не менее крутой. Со старта его закрывали елочки. Я все же нашел в себе силы — нет, не обойти — обползти рослого шведа, килограммов эдак на девяносто. И, как пишут в газетах, «между ними завязалась упорная спортивная борьба».

Я, более легкий, уползал от шведа на подъемах, он, пользуясь своим весом, давил меня на спусках. В пылу борьбы мы сбились с дистанции и сделали

лишнюю петлю на поляне. Впрочем, все это я помню весьма туманно. Прозрение наступило на четвертом километре, когда я вдруг преодолел «мертвую точку». Последний километр прошел, как в лучших своих снах, — молодцом, самому вспомнить приятно.

Могу сказать по секрету, что сейчас тренируюсь снова. В этом году в Югославии состоится очередное первенство мира среди журналистов. А я не расстался с мечтой стать чемпионом и обойти тех трех финнов, которые испортили мне настроение в Лахти. Впрочем, я буду вполне удовлетворен, если всех финнов обойдет хотя бы один из наших гонщиков на предстоящем чемпионате мира.

Посудите сами. Лыжным спортом у нас занимаются более пяти миллионов, что равно населению Финляндии. А обыграть финнов мы не можем. Наши лыжники все увеличивают и увеличивают нагрузки, но продолжают проигрывать скандинавам. Я знаю, что наши тренеры допускали кое-какие просчеты при подготовке сборной команды. Но ведь такое случается и у наших соперников. Порой и они выступают неважно. Но почти всегда у финнов, шведов и норвежцев находится гонщик, который золотой медалью покрывает неудачи своих товарищей.

Я не стану касаться специфических вопросов подготовки наших лыжников — об этом пишу в своей газете «Советский спорт». Сейчас мне хочется поговорить о другом, о чувстве радости гонки, которое в какой-то мере утеряли многие наши спортсмены. Все чаще и чаще тренеры, да и сами лыжники, заменяют слова «тренировка» и «соревнования» словом «работа». Сегодня такой-то отработал столько-то. Завтра ему нужно работать пятьдесят километров. Кстати, это типично не только для лыжников. В прошлом году Лев Яшин уже писал в «Юности»: «Мы не играем, а «работаем», и я, ей-богу, не удивлюсь, если когда-нибудь в газетах появится: «В воскресенье состоялась работа двух команд...»

Я на собственной шкуре испытал, что в лыжах даже маленький прогресс дается ценой большого пота. Но я, да и лыжники моего поколения не работали, а соревновались.

Смушает меня, конечно, не само слово «работа», а тот смысл, который вкладывают в него. Это уже не тот труд, которому отдаешься всей душой. Это работа, тяжелая и часто безрадостная.

Я сам ратую за трудолюбие в спорте, но, мне кажется, оно должно идти параллельно с творчеством. У нас же в последние годы вся ставка делалась на работу.

Безусловно, увеличение объема тренировок принесло свои плоды: общий уровень мастерства лыжников стал несравнимо выше. Но волна трудолюбивых середнячков захлестнула при этом подлинные таланты, хотя она должна была нести их на своем гребне.

Вспоминается один разговор с Игорем Ворончихиным. Это было в Златоусте, где проходили два тура отборочных соревнований перед Олимпийскими играми в Инсбруке. Ворончихин не особенно удачно выступил в первом туре, и я хотел утешить его.

— Есть еще неделя. Есть время наверстать упущенное.

— Зачем? Я, конечно, могу форсировать подготовку, наверстать упущенное и отстоять свое место в сборной. Но я загоню себя, потеряю чувство свежести, желание соревноваться. В Инсбруке тогда мне будет делать нечего.

Игорь не стал ломать тренировку, он не стал подлаживать себя под тех соперников, которые из кожи лезли, лишь бы показать себя на отборочных соревнованиях (потом их форма резко падала). Он все же сумел выиграть гонку во втором туре. А в Инсбруке лишь Ворончихин и занял призовое место в личных соревнованиях.

Каюсь, может быть, я несколько пристрастен к Игорю Ворончихину. Мне он нравится. Нравится мягким характером, застенчивостью, педантичной аккуратностью одежды. Нравится даже противоречивостью характера. Игорь мнителен и, говорят, боится перегрузок в тренировках. Но именно он и оказался бойцом, настоящим бойцом на олимпийской трассе. И я уверен, что помогла ему та свежесть, которую он сумел сохранить в Златоусте.

И еще один разговор прошлой зимой — с Иваном Утробинным. В начале сезона он выиграл

гонку на 70 километров, потом удачно выступал весь сезон. Под занавес он завоевал еще две золотые медали чемпиона страны.

— В следующем сезоне победишь семьдесят? — спросил я Ивана.

— Если заставят...

Вот этого я понять не могу. Я был юношей, когда в сороковом году под Москвой на станции Сходня была разыграна гонка на 100 километров. Проходила она в ужасную погоду: шел мокрый снег, скольжение было отвратительное. Я знаю, что участники этой гонки — и победитель, и призеры, и те, кто пришел в конце, — вспоминают ее с великим удовольствием. А ведь сейчас нередко и членов сборной команды страны приходится уговаривать выступить на 50 километров.

Придирчивый читатель, может быть, найдет здесь некоторое противоречие. Ворончихин не хотел форсировать тренировку в Златоусте, почему в таком случае должны другие «мучить» себя в длинных гонках?

Отвечу. Тренировка и соревнование не одно и то же. Тяжелые тренировки, не окрашенные эмоциональностью соревнований, действительно могут сорвать всю подготовку. И этого не учитывают порой многие тренеры. Они делают ставку на работягу-сердничка, который звезд с неба не хватает, но безропотно отрабатывает любую тренировку.

Один из таких тренеров говорил мне в Златоусте:

— Ворончихин? Да нет, ничего он на Олимпийских играх не сделает. Слишком интеллигентен для лыж...

Не думаю, что человек может быть интеллигентен слишком. Это не недостаток, а достоинство даже в спорте. Но как доказать этому тренеру, что гонщик, который добросовестно «отрабатывает» Олимпийские игры, чемпионом все же не станет.

Мне кажется, что искорки, присущие по-настоящему талантливому спортсмену, не многие тренеры принимают во внимание. На прошлогоднем чемпионате страны очень трудную гонку на 15 километров выиграл молодой и, бесспорно, талантливый армеец Анатолий Аментьев. Соревнования проходили на ледяной, после сильной оттепели, лыжне. Нужно было

обладать большим искусством, чтобы устоять на крутых спусках. Толя устоял.

После соревнований он смеялся:

— Как только у ребят хватает смелости падать! Сегодня снег, как наждак...

Так вот подходит ко мне один из тренеров и говорит:

— Уж очень вы расхваливаете Аментьева. А ведь из парня, наверно, ничего не выйдет. С гордостью он, да и слишком понимает о себе. Все норовит по своему сделать...

Постойте, а может быть, это и хорошо, что по-своему. Ведь он любит лыжи, а значит, думает о них. Может быть, его мысли не всегда совпадают с мыслями тренера. Если он не прав, докажите, убедите. Но не делайте из него работягу от лыж. Он ведь и сам понимает: без труда, но вдохновенного, творческого труда, ничего не добьешься.

Наши тренеры часто и охотно говорят об индивидуальном подходе к спортсмену. Но, как правило, все это сводится к дозировке нагрузок. Видят, руки слабоваты — прописывают упражнения для рук. Отстают ноги — «накачивают» их. Мне же кажется, что тренеры должны индивидуально подходить к спортсмену и с другой меркой. Эта мерка — бескорыстная любовь к лыжному спорту, неумная жажда соревнований. Если гонщик, набравший переходной балл в сборную команду страны, начинает увильнуть от соревнований, потому что они для него не удовольствие, а безрадостный труд, ставьте на нем крест. Он может хорошо выступить на любых соревнованиях, но чемпионом мира и Олимпийских игр не будет никогда.

Почему мне нравится Ворончихин, почему мне импонирует еще более молодой Аментьев? Я вижу в них творческое начало. Будущее за такими гонщиками. Они взбегут, я верю, на лыжный Олимп на гребне высокого мастерства, которым овладели сейчас наши спортсмены. Но покорит Олимп лишь яркая индивидуальность, лишь спортсмен нового, современного типа. И с чемпионами моего времени его должна родниться одна черта: ощущение радости гонки. Ибо зачем тогда спорт, если он не приносит радости?



БАСНИ С ПРОПИСНЫМИ ИСТИНАМИ

Рисунок Н. Оффенгендена.



Иногда настоящая любовь начинается случайной встречей. Однажды овца совершенно случайно встретила волка...
Избегайте случайных встреч!

— Ух, и вредная была у меня зайчиха,— сказал заяц.
— А по-моему, ничего,— возразил волк,— нежна и приятна. О вкусах не спорят.

Заяц вызвал волка на состязание: кто кого обгонит. И обогнал. Волк, в свою очередь, вызвал зайца на... собеседование:
— Ты, уверен, что я тебя не съем?
— Н-нет, н-не ув-верен...
— Правильно.
И съел.
Мораль: не уверен, не обгоняй.

Увидали мыши, в театральном буфете кошка пожирает колбасу, и вывесили объявление:
«Тише, мыши: идет репетиция!».

Карась попал в уху по собственному желанию.
Не верите? А кто в это верит?

— Жизнь — это сплошной праздник,— сказала бабочка-однодневка.

Ей повезло: она родилась в воскресенье.

Математик чертил на песке формулы: он искал решение. А щенок носился вокруг: тоже что-то искал.
— Ну,— спросил щенок,— нашел?

— Нет,— вздохнул математик,
— А я нашел... столбик!

Кенгуру гуляла с кенгуренком. И вдруг почувала опасность.

— Надо бежать! — закричала она.— Немедленно полезай в мою сумку!..

— Не полезу,— отвечал кенгуренок,— она старомодная.

Головка сыра закатилась в угол и закрыла мышиную нору.

— Не пиццать! — воскликнул счастливый молодой мышонок.— Мы будем грызть этот сыр до тех пор, пока он не кончится, и тогда нам снова засияет солнце!

— Так оно и будет,— сказала его старая бабушка,— но я бы предпочла, чтобы сыр никогда не кончался.

А говорят, несбыточные мечты — свойство молодости...

•ПЫЛЕСОС •ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС



КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ!

Из переписки Галки Галкиной

г. Рига. Светлана Р-цева.
«У меня очень сложно сложилась личная жизнь. Сначала я дружила с К. Но потом за мной стал ухаживать Р., хотя мне лично в то время уже больше нравился П. Но П. оказался плохим юношей, мы с ним поссорились, и я теперь дружу с Ю. Но Р. продолжает за мной упорно ухаживать и говорит, что любит меня больше, чем Ю. Помогите мне разобраться в своих чувствах...»

«Милая Светлана!

К сожалению, разобраться в этом нет никакой возможности, поскольку вы дружите не в порядке алфавита».

г. Брянск. Семен Александрович Кров.

«Как-то в вашем журнале были напечатаны стихи Инны Лиснянской, в которых есть такие строчки:

«И мелется зерно,
И тесто месится,
И созревают яблоки в саду.
Но не хватает мне
Тринадцатого месяца,
Тринадцатого месяца в году».

Спрашивается, на что это намекает поэтесса?!»

«Уважаемый Семен Александрович!

Нам кажется, что поэтесса намекает на то, что мелется зерно, и тесто месится, и созревают яблоки в саду, но не хватает ей тринадцатого месяца, тринадцатого месяца в году. Вот такой намек! А что?..»

г. Свердловск.
Виктор П-хов.

«Дорогая редакция! Недавно я внимательно прочитал книгу «Занимательная психология» и научился угадывать мысли на расстоянии. Теперь собираюсь сразу после 8-го класса стать профессиональным артистом, типа Вольфа Мессинга. Что вы об этом думаете?»

«Дорогой Виктор!

Мы собирались написать вам, что мы об этом думаем, но потом решили, что вы легко угадаете это на расстоянии. Только у нас маленькая просьба: когда угадаете, — не обижайтесь!..»

г. Смоленск. Ира С-на.
«...Многие ребята из нашего класса опаздывают в школу на занятия. Мы с ними боремся, но пока никакого результата. Очень просим вас, помогите нам в этой борьбе...»

«Дорогая Ира!

Если уж у вас самих ничего не получается, то сообщите нам адреса опаздывающих ребят. Будем всей редакцией будить их по утрам!»

г. Подольск. Андрей Кар-ин.
«Я решил в дальнейшем жить на литературный заработок. Скажите с точки зрения денег, что лучше — стихи или проза?»

«Уважаемый Андрей!

С точки зрения денег лучше всего выиграть «Волгу» по денежно-вещевой лотерее...»

Рисунок И. Бронникова.



● И. Виноградский,
О. Милявский

ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ

(Юмореска)

Приходит однажды Заяц ко Льву и говорит:

— Я к тебе, Левушка, по жилищному вопросу. Жить, понимаешь, негде...

— Как это негде?! — возмутился Лев. — Во вверенном мне лесу каждый отдельно взятый заяц имеет право на свою отдельную площадку! Со всеми удобствами. Сейчас мы позвоним куда следует и скажем, чтобы дали тебе жилплощадь... конечно, в порядке живой очереди.

И действительно, тут же позвонил Лев куда следует и сказал что следует кому следует, и тут же поставили Зайца в очередь на жилплощадь. И стал Заяц 1234-м в этой самой живой очереди.

● ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС.

«1 234-й! — подумал Заяц. — Почти год ждать!» И решил схитрить. Приходит опять ко Льву и говорит:

— А я к тебе, Левушка, опять по жилищному вопросу. Я в этой самой живой очереди 1 234-й!

— Ну и что, — говорит Лев, — что ты 1 234-й?

— А то, — говорит Заяц, — что очередь моя подойдет, я чувствую, через пять лет, а мы, зайцы, живем всего три года!

— Смотри-ка ты, — говорит Лев, — глупость какая получается!

— Вот именно, — говорит Заяц, — давай переводы меня из очереди на без очереди.

— Сейчас мы позвоним куда следует, — согласился Лев.

И действительно тут же позвонил куда следует и сказал, что следует кому следует, и тут же перевели Заяца из очереди на «без очереди». И стал Заяц из 1 234—4 567-м в очереди на без очереди в той же самой живой очереди. И опять решил Заяц схитрить. Опять приходит ко Льву:

— Слушай, Львище, нехорошо получается! Я теперь 4 657-й в очереди на без очереди в той самой живой очереди! Теперь очередь моя подойдет, я думаю, через десять лет, а мы, зайцы, столько и не живем!

— Вот это да! — говорит Лев. — Вот глупость-то получается!

— Конечно! — говорит Заяц. — Давай переводы меня вне очереди на без очереди в той живой очереди!

И позвонил Лев, и перевели Заяца.

И тут же стал Заяц с 4 567-го 7 899-м в очереди на вне очереди в очереди на без очереди в той же самой живой очереди.

Хотел опять идти проситься, чтоб его обратно, в свою прежнюю очередь, поставили, а она, оказывается, уже прошла! Очередь-то была живая! Что, она хитрых зайцев ждать будет? Как бы не так!

● Л. Марташвили

И Н Ф А Р К Т

...Только и увидели абитуриенты, сидевшие в саду Тбилисского университета, как некий гражданин передал ректору Нико Малхазидзе маленькую записку и как Нико Малхазидзе растянулся на университетской лестнице, привести в себя его не смогли и...

...и Нико умчала машина «Скорой помощи».

В больнице, лишь стали снимать с него одежду, как из карманов посыпалось множество записок.

«Нико, смотри, не испортишь дело моему племяннику Кола. Твой Гиги».

«Дружище, знаешь ли ты, что бабушка этого юноши была сестрой твоей бабушки? Словом, сам знаешь. Сандро».

«Твой предмет он хорошо знает, но ты все же понимаешь, что... Павло».

«Лучше зарежь меня, если не устроишь этого юношу. Вера».

«Не лишай меня надежды. Это мой шурин. Седьмой год срезается, сидит на моей шее. Помоги как-нибудь. Друг твоего детства К. Качакишвили».

«Отец этого юноши погиб на войне, надеюсь, ты не дашь ему почувствовать, что он сирота, и поддержишь его страдающую мать... Твой Миха».

«Надеюсь, вы помните меня? В первом классе мы учились вместе, однажды вы не знали урока,

и я подсказал вам, вследствие чего учительница Нуну поставила мне двойку. Податель этого письма — мой сын. Не лишайте меня надежды. Заранее благодарю вас и пожимаю вашу руку. Д. Р. Тевзадзе».

«Рамишвили Павло помогите по диктанту. Шалико».

«Думаю, что вы найдете общий язык. Не опозорь меня. Р. С. Про-

сти, что пишу на коробке «Примы», в ресторане я, бумаги нигде не нашел. Ш. Т. Р.»

☆

Врач прервал чтение — Нико Малхазидзе вздохнул.

— Инфаркт, — сказала сиделка по-русски и вышла из комнаты.

Перевод с грузинского В. КУГОВА.



Рисунок М. Лисогорского.

• ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС •



Х. ЛАРЕТЕЙ. Чайка (гравюра).

На стендах
«ЮНОСТИ»

С выставки работ
молодых графиков
Эстонии.



В. ТОЛЛИ

Легенда о морской
царевне
(офорт).



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120.